

ДВОЙНИК

Петербургская поэма

ГЛАВА I

Было без малого восемь часов утра, когда титулярный советник Яков Петрович Голядкин очнулся после долгого сна, зевнул, потянулся и открыл, наконец, совершенно глаза свои. Минуты с две, впрочем, лежал он неподвижно на своей постели, как человек, не вполне еще уверенный, проснулся ли он, или все еще спит, наяву ли и в действительности ли все, что около него теперь совершается, или — продолжение его беспорядочных сонных грез. Вскоре, однако ж, чувства господина Голядкина стали яснее и отчетливее принимать свои привычные, обыденные впечатления. Знакомо глянули на него зелено-грязноватые, закоптелые, пыльные стены его маленькой комнатки, его комод красного дерева, стулья под красное дерево, стол, окрашенный красною краскою, клеенчатый турецкий диван красноватого цвета, с зелененькими цветочками и, наконец, вчера впопыхах снятое платье и брошенное комком на диване. Наконец серый осенний день, мутный и грязный, так сердито и с такой кислой гримасою заглянул к нему сквозь тусклое окно в комнату, что господин Голядкин никаким уже образом не мог более сомневаться, что он находится не в тридесятom царстве каком-нибудь, а в городе Петербурге, в столице, в Шестилавочной улице, в четвертом этаже одного весьма большого, капитального дома, в собственной квартире своей. Сделав такое важное открытие, господин Голядкин судорожно закрыл глаза, как бы сожалея о недавнем сне и желая его воротить на минутку. Но через минуту он одним скачком выпрыгнул из постели, вероятно попав, наконец, в ту идею, около которой вертелись до сих пор рассеянные, не приведенные в надлежащий порядок мысли его. Выпрыгнув из постели, он тотчас же подбежал к небольшому кругленькому зеркальцу, стоящему на комоде. Хотя отразившаяся в зеркале заспанная, подслеповатая и довольно оплешивевшая фигура была именно такого незначительного свойства, что с первого взгляда не останавливала на себе решительно ничего исключительного внимания, но, по-видимому, обладатель ее остался совершенно доволен всем тем, что увидел

в зеркале. «Вот бы штука была, — сказал господин Голядкин вполголоса, — вот бы штука была, если б я сегодня манкировал в чем-нибудь, если б вышло, например, что-нибудь не так, — прыщик там какой-нибудь вскочил посторонний или произошла бы другая какая-нибудь неприятность; впрочем, покамест недурно; покамест все идет хорошо». Очень обрадовавшись тому, что все идет хорошо, господин Голядкин поставил зеркало на прежнее место, а сам, несмотря на то что был босиком и сохранял на себе тот костюм, в котором имел обыкновение отходить ко сну, подбежал к окошку и с большим участием начал что-то отыскивать глазами на дворе дома, на который выходили окна квартиры его.

По-видимому, и то, что он отыскал на дворе, совершенно его удовлетворило; лицо его просияло самодовольной улыбкою. Потом, — заглянув, впрочем, сначала за перегородку в каморку Петрушки, своего камердинера, и уверившись, что в ней нет Петрушки, — на цыпочках подошел к столу, отпер в нем один ящик, пошарил в самом заднем уголку этого ящика, вынул, наконец, из-под старых пожелтевших бумаг и кой-какой дряни зеленый истертый бумажник, открыл его осторожно, — и бережно и с наслаждением заглянул в самый дальний, потаенный карман его. Вероятно, пачка зелененьких, сереньких, синеньких, красненьких и разных пестреньких бумажек тоже весьма приветливо и одобрительно глянула на господина Голядкина: с просиявшим лицом положил он перед собою на стол раскрытый бумажник и крепко потер руки в знак величайшего удовольствия. Наконец он вынул ее, свою утешительную пачку государственных ассигнаций, и в сотый раз, впрочем считая со вчерашнего дня, начал пересчитывать их, тщательно перетирая каждый листок между большим и указательным пальцами. «Семьсот пятьдесят рублей ассигнациями! — окончил он, наконец, полушепотом. — Семьсот пятьдесят рублей... знатная сумма! Это приятная сумма, — продолжал он дрожащим, немного ослабленным от удовольствия голосом, сжимая пачку в руках и улыбаясь значительно, — это весьма приятная сумма! Хоть кому приятная сумма! Желал бы я видеть теперь человека, для которого эта сумма была бы ничтожною суммою? Такая сумма может далеко повести человека...»

«Однако что же это такое? — подумал господин Голядкин. — Да где же Петрушка?» Все еще сохраняя тот же костюм, заглянул он другой раз за перегородку. Петрушки опять не нашлось за перегородкой, а сердился, горячился и выходил из себя лишь один поставленный там на полу самовар, беспрерывно угрожая сбежать, и что-то с жаром, быстро болтал на своем мудреном языке, картавя и шепелявя господину Голядкину, — вероятно, то, что, дескать, возьмите же меня, добрые люди, ведь я совершенно поспел и готов.

«Черти бы взяли! — подумал господин Голядкин. — Эта ленивая бестия может, наконец, вывести человека из последних границ; где он шатается?» В справедливом негодовании вошел он в переднюю, состоявшую из маленького коридора, в конце которого находилась дверь в сени, крошечку приотворил эту дверь и увидел своего служителя, окруженного порядочной кучкой всякого лакейского, домашнего и случайного сброда. Петрушка что-то рассказывал, прочие слушали. По-видимому, ни тема разговора, ни самый разговор не понравились господину Голядкину. Он немедленно кликнул Петрушку и возвратился в комнату совсем недовольный, даже расстроенный. «Эта бестия ни за грош готова продать человека, а тем более барина, — подумал он про себя, — и продал, непременно продал, пари готов держать, что ни за копейку продал. Ну, что?..»

— Ливрею принесли, сударь.

— Надень и пошел сюда.

Надев ливрею, Петрушка, глупо улыбаясь, вошел в комнату барина. Костюмирован он был странно донельзя. На нем была зеленая, сильно подержанная лакейская ливрея, с золотыми обсыпавшимися галунами, и, по-видимому, шитая на человека, ростом на целый аршин выше Петрушки. В руках он держал шляпу, тоже с галунами и с зелеными перьями, а при бедре имел лакейский меч в кожаных ножнах.

Наконец, для полноты картины, Петрушка, следуя любимому своему обыкновению ходить всегда в неглиже, по-домашнему, был и теперь босиком. Господин Голядкин осмотрел Петрушку кругом и, по-видимому, остался доволен. Ливрея, очевидно, была взята напрокат для какого-то торжественного случая. Заметно было еще, что во время осмотра Петрушка глядел с каким-то странным ожиданием на барина и с необыкновенным любопытством следил за всяким движением его, что крайне смущало господина Голядкина.

— Ну, а карета?

— И карета приехала.

— На весь день?

— На весь день. Двадцать пять, ассигнацией.

— И сапоги принесли?

— И сапоги принесли.

— Болван! Не можешь сказать принесли-с. Давай их сюда.

Изъявив свое удовольствие, что сапоги пришлись хорошо, господин Голядкин спросил чаю, умываться и бриться. Обрился он весьма тщательно и таким же образом вымылся, хлебнул чаю наскоро и приступил к своему главному, окончательному облачению: надел панталоны почти совершенно новые; потом манишку с бронзовыми пуговицами, жилетку с весьма яркими и приятными цветочками; на шею повязал пестрый шелковый галстук и, наконец, натянул вишмундир, тоже новехонький и тщательно вычищенный. Одеваясь, он несколько раз с

любовью взглядывал на свои сапоги, поминутно приподымал то ту, то другую ногу, любовался фасоном и что-то все шептал себе под нос, изредка подмигивая своей думке выразительною гримаскою. Впрочем, в это утро господин Голядкин был крайне рассеян, потому что почти не заметил улыбочек и гримас на свой счет помогавшего ему одеваться Петрушки. Наконец, справив все, что следовало, совершенно одевшись, г-н Голядкин положил в карман свой бумажник, полюбовался окончательно на Петрушку, надевшего сапоги и бывшего, таким образом, тоже в совершенной готовности, и, заметив, что все уже сделано и ждать уже более нечего, торопливо, суетливо, с маленьким трепетанием сердца сбежал с своей лестницы. Голубая извозничья карета, с какими-то гербами, с громом подкатилась к крыльцу. Петрушка, перемигиваясь с извозчиком и с кое-какими зеваками, усадил своего барина в карету; непривычным голосом и едва сдерживая дурацкий смех, крикнул: «*Пошел!*», вскочил на запятки, и все это, с шумом и громом, звеня и треща, покатилося на Невский проспект. Только что голубой экипаж успел выехать за ворота, как господин Голядкин судорожно потер себе руки и залился тихим, неслышным смехом, как человек веселого характера, которому удалось сыграть славную штуку и которой штуке он сам рад-радехонек. Впрочем, тотчас же после припадка веселости смех сменился каким-то странным озабоченным выражением в лице господина Голядкина. Несмотря на то что время было сырое и пасмурное, он опустил оба окна кареты и заботливо начал высматривать направо и налево прохожих, тотчас принимая приличный и степенный вид, как только замечал, что на него кто-нибудь смотрит. На повороте с Литейной на Невский проспект он вздрогнул от одного самого неприятного ощущения и, сморщась, как бедняга, которому наступили нечаянно на мозоль, торопливо, даже со страхом прижался в самый темный уголок своего экипажа. Дело в том, что он встретил двух сослуживцев своих, двух молодых чиновников того ведомства, в котором сам состоял на службе. Чиновники же, как показалось господину Голядкину, были тоже, с своей стороны, в крайнем недоумении, встретив таким образом своего сотоварища; даже один из них указал пальцем на г-на Голядкина. Господину Голядкину показалось даже, что другой кликнул его громко по имени, что, разумеется, было весьма неприлично на улице. Герой наш притаялся и не отозвался. «Что за мальчишки! — начал он рассуждать сам с собою. — Ну, что же такого тут странного? Человек в экипаже; человеку нужно быть в экипаже, вот он и взял экипаж. Просто дрянь! Я их знаю, — просто мальчишки, которых еще нужно посечь! Им бы только в орлянку при жалованье да где-нибудь потаскаться, вот это их дело. Сказал бы им всем кое-что, да уж только...» Господин Голядкин не докончил и обер. Бойкая пара казанских лошадок, весьма знакомая г-ну Голядкину, запряженных в щегольские дрожки,

быстро обгоняла с правой стороны его экипаж. Господин, сидевший на дрожках, нечаянно увидев лицо господина Голядкина, довольно неосторожно высунувшего свою голову из окошка кареты, тоже, по видимому, крайне был изумлен такой неожиданной встречей и, нагнувшись сколько мог, с величайшим любопытством и участием стал заглядывать в тот угол кареты, куда герой наш поспешил было спрятаться. Господин на дрожках был Андрей Филиппович, начальник отделения в том служебном месте, в котором числился и господин Голядкин в качестве помощника своего столоначальника. Господин Голядкин, видя, что Андрей Филиппович узнал его совершенно, что глядит во все глаза и что спрятаться никак невозможно, покраснел до ушей. «Поклониться иль нет? Отозваться иль нет? Признаться иль нет? — думал в неописанной тоске наш герой. — Или прикинуться, что не я, а что кто-то другой, разительно схожий со мною, и смотреть как ни в чем не бывало? Именно не я, не я, да и только! — говорил господин Голядкин, снимая шляпу пред Андреем Филипповичем и не сводя с него глаз. — Я, я ничего, — шептал он через силу, — я совсем ничего, это вовсе не я, Андрей Филиппович, это вовсе не я, не я, да и только». Скоро, однако ж, дрожки обогнали карету, и магнетизм начальнических взоров прекратился. Однако он все еще краснел, улыбаясь, что-то бормотал про себя... «Дурак я был, что не отозвался, — подумал он наконец, — следовало бы просто на смелую ногу и с откровенностью, не лишенною благородства: дескать, так и так, Андрей Филиппович, тоже приглашен на обед, да и только!» Потом, вдруг вспомнив, что срезался, герой наш вспыхнул, как огонь, нахмурил брови и бросил страшный вызывающий взгляд в передний угол кареты, взгляд так и назначенный, с тем чтоб испепелить разом в прах всех врагов его. Наконец вдруг, по вдохновению какому-то, дернул он за шнурок, привязанный к локтю извозчика-кучера, остановил карету и приказал повернуть назад, на Литейную. Дело в том, что господину Голядкину немедленно понадобилось, для собственного же спокойствия, вероятно, сказать что-то самое интересное доктору его, Крестьяну Ивановичу. И хотя с Крестьяном Ивановичем был он знаком с весьма недавнего времени, именно посетил его всего один раз на прошлой неделе, вследствие кой-каких надобностей, но ведь доктор, как говорят, что духовник, — скрываться было бы глупо, а знать пациента — его же обязанность. «Так ли, впрочем, будет все это, — продолжал наш герой, выходя из кареты у подъезда одного пятиэтажного дома на Литейной, возле которого приказал остановить свой экипаж, — так ли будет все это? Приличнo ли будет? Кстaти ли будет? Впрoчем, ведь что же, — продолжал он, подымаясь на лестницу, переводя дух и сдерживая биение сердца, имевшего у него привычку биться на всех чужих лестницах. — Что же? Ведь я про свое, и предосудительного здесь ничего не имеется... Скрываться было бы глупо. Я вот таким-то

образом и сделаю вид, что я ничего, а что так, мимоездом... Он и увидит, что так тому и следует быть».

Так рассуждая, господин Голядкин поднялся до второго этажа и остановился перед квартирою пятого номера, на дверях которого помещена была красивая медная дощечка с надписью:

КРЕСТЬЯН ИВАНОВИЧ РУТЕНШПИЦ,
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ И ХИРУРГИИ

Остановившись, герой наш поспешил придать своей физиономии приличный, развязный, не без некоторой любезности вид и приготовился дернуть за шнурок колокольчика. Приготовившись дернуть за шнурок колокольчика, он немедленно и довольно кстати рассудил, что не лучше ли завтра и что теперь покамест надобности большой не имеется. Но так как господин Голядкин услышал вдруг на лестнице чьи-то шаги, то немедленно переменил новое решение свое и уже так, заодно, впрочем, с самым решительным видом, позвонил у дверей Крестьяна Ивановича.

ГЛАВА II

Доктор медицины и хирургии, Крестьян Иванович Рутеншпиц, весьма здоровый, хотя уже и пожилой человек, одаренный густыми седеющими бровями и бакенбардами, выразительным, сверкающим взглядом, которым одним, по-видимому, прогонял все болезни, и, наконец, значительным орденом, — сидел в это утро у себя в кабинете, в покойных креслах своих, пил кофе, принесенный ему собственноручно его докторшей, курил сигару и прописывал от времени до времени рецепты своим пациентам. Прописав последний пузырек одному старичку, страдавшему геморроем, и выпроводив страждущего старичка в боковые двери, Крестьян Иванович уселся в ожидании следующего посещения. Вошел господин Голядкин.

По-видимому, Крестьян Иванович несколько не ожидал, да и не желал видеть пред собою господина Голядкина, потому что он вдруг на мгновение смутился и невольно выразил на лице своем какую-то странную, даже, можно сказать, недовольную мину. Так как, с своей стороны, господин Голядкин почти всегда как-то некстати опадал и терялся в те мгновения, в которые случалось ему абординовать¹ кого-нибудь ради собственных делишек своих, то и теперь, не приготовив первой фразы, бывшей для него в таких случаях настоящим камнем преткновения, сконфузился препорядочно, что-то пробормотал, — впрочем, кажется, извинение, — и, не зная, что далее делать, взял стул и сел. Но, вспомнив, что уселся без приглашения, тотчас же

¹ Абординовать (*франц.* aborder) — подступать вплотную.

почувствовал свое неприличие и поспешил поправить ошибку свою в незнании света и хорошего тона, немедленно встав с занятого им без приглашения места. Потом, опомнившись и смутно заметив, что сделал две глупости разом, решился, нимало не медля, на третью, то есть попробовал было принести оправдание, пробормотал кое-что, улыбаясь, покраснел, сконфузился, выразительно замолчал и, наконец, сел окончательно и уже не вставал более, а так только на всякий случай обеспечил себя тем же самым вызывающим взглядом, который имел необычайную силу мысленно испепелять и разгромлять в прах всех врагов господина Голядкина. Сверх того, этот взгляд вполне выражал независимость господина Голядкина, то есть говорил ясно, что господин Голядкин совсем ничего, что он сам по себе, как и все, и что его изба во всяком случае с краю. Крестьян Иванович каплянул, крикнул, по-видимому в знак одобрения и согласия своего на все это, и устремил инспекторский, вопросительный взгляд на господина Голядкина.

— Я, Крестьян Иванович, — начал господин Голядкин с улыбкою, — пришел вас беспокоить вторично и теперь вторично осмеливаюсь просить вашего снисхождения... — Господин Голядкин, очевидно, затруднялся в словах.

— Гм... да! — проговорил Крестьян Иванович, выпустив изо рта струю дыма и кладя сигару на стол, — но вам нужно предписаний держаться; я ведь вам объяснял, что пользование ваше должно состоять в изменении привычек... Ну, развлечения; ну, там, друзей и знакомых должно посещать, а вместе с тем и бутылки врагом не бывать; равномерно держаться веселой компании.

Господин Голядкин, все еще улыбаясь, поспешил заметить, что ему кажется, что он, как и все, что он у себя, что развлечения у него, как и у всех... что он, конечно, может ездить в театр, ибо тоже, как и все, средства имеет, что днем он в должности, а вечером у себя, что он совсем ничего; даже заметил тут же мимоходом, что он, сколько ему кажется, не хуже других, что он живет дома, у себя на квартире, и что, наконец, у него есть Петрушка. Тут господин Голядкин запнулся.

— Гм, нет, такой порядок не то, и я вас совсем не то хотел спрашивать. Я вообще знать интересуюсь, что вы, большой ли любитель веселой компании, пользуетесь ли весело временем... Ну, там, меланхолический или веселый образ жизни теперь продолжаете?

— Я, Крестьян Иванович...

— Гм... я говорю, — перебил доктор, — что вам нужно коренное преобразование всей вашей жизни иметь и в некотором смысле переломить свой характер. (Крестьян Иванович сильно ударил на слово «переломить» и остановился на минуту с весьма значительным видом.) Не чуждаться жизни веселой; спектакли и клуб посещать и во всяком случае бутылки врагом не бывать. Дома сидеть не годится... вам дома сидеть никак невозможно.

— Я, Крестьян Иванович, люблю тишину, — проговорил господин Голядкин, бросая значительный взгляд на Крестьяна Ивановича и, очевидно, ища слов для удачейшего выражения мысли своей, — в квартире только я да Петрушка... я хочу сказать: мой человек, Крестьян Иванович. Я хочу сказать, Крестьян Иванович, что я иду своей дорогой, особой дорогой, Крестьян Иванович. Я себе особо и, сколько мне кажется, ни от кого не завишу. Я, Крестьян Иванович, тоже гулять выхожу.

— Как?.. Да! Ну, нынче гулять не составляет никакой приятности; климат весьма нехороший.

— Да-с, Крестьян Иванович. Я, Крестьян Иванович, хоть и смиренный человек, как я уже вам, кажется, имел честь объяснить, но дорога моя отдельно идет, Крестьян Иванович. Путь жизни широк... Я хочу... я хочу, Крестьян Иванович, сказать этим... Извините меня, Крестьян Иванович, я не мастер красно говорить.

— Гм... вы говорите...

— Я говорю, чтоб вы меня извинили, Крестьян Иванович, в том, что я, сколько мне кажется, не мастер красно говорить, — сказал господин Голядкин полубожиженным тоном, немного сбиваясь и путаясь. — В этом отношении я, Крестьян Иванович, не так, как другие, — прибавил он с какою-то особенною улыбкою, — и много говорить не умею; придавать слогу красоту не учился. Зато я, Крестьян Иванович, действую; зато я действую, Крестьян Иванович!

— Гм... Как же это... вы действуете? — отозвался Крестьян Иванович. Затем, на минутку, последовало молчание. Доктор как-то странно и недоверчиво взглянул на господина Голядкина. Господин Голядкин тоже в свою очередь довольно недоверчиво покосился на доктора.

— Я, Крестьян Иванович, — стал продолжать господин Голядкин все в прежнем тоне, немного раздраженный и озадаченный крайним упорством Крестьяна Ивановича, — я, Крестьян Иванович, люблю спокойствие, а не светский шум. Там у них, я говорю, в большом свете, Крестьян Иванович, нужно уметь паркету лощить сапогами... (тут господин Голядкин немного пришаркнул по полу ножкой), там это спрашивают-с, и каламбур тоже спрашивают... комплимент раздушенный нужно уметь составлять-с... вот что там спрашивают. А я этому не учился, Крестьян Иванович, — хитростям этим всем я не учился; некогда было. Я человек простой, незатейливый, и блеска наружного нет во мне. В этом, Крестьян Иванович, я полагаю оружие; я кладу его, говоря в этом смысле. — Все это господин Голядкин проговорил, разумеется, с таким видом, который ясно давал знать, что герой наш вовсе не жалеет о том, что кладет в этом смысле оружие и что он хитростям не учился, но что даже совершенно напротив. Крестьян Иванович, слушая его, смотрел вниз с весьма неприятной гримасой в

лице и как будто заранее что-то предчувствовал. За тирадою господина Голядкина последовало довольно долгое и значительное молчание.

— Вы, кажется, немного отвлеклись от предмета, — сказал, наконец, Крестьян Иванович вполголоса, — я, признаюсь вам, не мог вас совершенно понять.

— Я не мастер красно говорить, Крестьян Иванович; я уже вам имел честь доложить, Крестьян Иванович, что я не мастер красно говорить, — сказал господин Голядкин, на этот раз резким и решительным тоном.

— Гм...

— Крестьян Иванович! — начал опять господин Голядкин тихим, но многозначащим голосом, отчасти в торжественном роде и оставаясь на каждом пункте. — Крестьян Иванович! вошедши сюда, я начал извинениями. Теперь повторяю прежнее и опять прошу вашего снисхождения на время. Мне, Крестьян Иванович, от вас скрывать нечего. Человек я маленький, сами вы знаете; но, к счастью моему, не жалею о том, что я маленький человек. Даже напротив, Крестьян Иванович; и, чтоб все сказать, я даже горжусь тем, что не большой человек, а маленький. Не интригант, — и этим тоже горжусь. Действую не втихомолку, а открыто, без хитростей, и хотя бы мог вредить в свою очередь, и очень бы мог, и даже знаю, над кем и как это сделать, Крестьян Иванович, но не хочу замарать себя и в этом смысле умываю руки. В этом смысле, говорю, я их умываю, Крестьян Иванович! — Господин Голядкин на мгновение выразительно замолчал; говорил он с кротким одушевлением.

— Иду я, Крестьян Иванович, — стал продолжать наш герой, — прямо, открыто и без окольных путей, потому что их презираю и предоставляю это другим. Не стараюсь унижить тех, которые, может быть, нас с вами почище... то есть я хочу сказать нас с ними, Крестьян Иванович, я не хотел сказать с вами. Полуслов не люблю; мизерных двуличностей не жалею; клеветой и сплетней гнушаюсь. Маску надеваю лишь в маскарад, а не хожу с нею перед людьми каждодневно. Спрошу я вас только, Крестьян Иванович, как бы стали вы мстить врагу своему, злейшему врагу своему, — тому, кого бы вы считали таким? — заключил г-н Голядкин, бросив вызывающий взгляд на Крестьяна Ивановича.

Хотя господин Голядкин проговорил все это донельзя отчетливо, ясно, с уверенностью, взвешивая слова и рассчитывая на вернейший эффект, но между тем с беспокойством, с большим беспокойством, с крайним беспокойством смотрел теперь на Крестьяна Ивановича. Теперь он обратился весь в зрение и робко, с досадным, тоскливым нетерпением ожидал ответа Крестьяна Ивановича. Но, к изумлению и к совершенному поражению господина Голядкина, Крестьян Иванович что-то пробормотал себе под нос; потом придвинул кресла к сто-

лу и довольно сухо, но, впрочем, учтиво объявил ему что-то вроде того, что ему время дорого, что он как-то не совсем понимает; что, впрочем, он, чем может, готов служить, по силам, но что все дальнейшее и до него не касающееся он оставляет. Тут он взял перо, придвинул бумагу, выкроил из нее докторской формы лоскутик и объявил, что тотчас пропишет что следует.

— Нет-с, не следует, Крестьян Иванович! нет-с, это вовсе не следует! — проговорил господин Голядкин, привстав с места и хватая Крестьяна Ивановича за правую руку. — Этого, Крестьян Иванович, здесь вовсе не надобно...

А между тем, покамест говорил это все господин Голядкин, в нем произошла какая-то странная перемена. Серые глаза его как-то странно блеснули, губы его задрожали, все мускулы, все черты лица его заходили, задвигались. Сам он весь дрожал. Последовав первому движению своему и остановив руку Крестьяна Ивановича, господин Голядкин стоял теперь неподвижно, как будто сам не доверяя себе и ожидая вдохновения для дальнейших поступков.

Тогда произошла довольно странная сцена.

Немного озадаченный, Крестьян Иванович на мгновение будто прирос к своему креслу и, потерявшись, смотрел во все глаза господину Голядкину, который таким же образом смотрел на него. Наконец Крестьян Иванович встал, придерживаясь немного за лацкан вицмундира господина Голядкина. Несколько секунд стояли они таким образом оба, неподвижно и не сводя глаз друг с друга. Тогда, впрочем, необыкновенно странным образом разрешилось и второе движение господина Голядкина. Губы его затряслись, подбородок запрыгал, и герой наш заплакал совсем неожиданно. Всклипывая, кивая головой и ударяя себя в грудь правой рукою, а левой схватив тоже за лацкан домашней одежды Крестьяна Ивановича, хотел было он говорить и в чем-то немедленно объясниться, но не мог и слова сказать. Наконец Крестьян Иванович опомнился от своего изумления.

— Полноте, успокойтесь, садитесь! — проговорил он, наконец, стараясь посадить господина Голядкина в кресла.

— У меня есть враги, Крестьян Иванович, у меня есть враги; у меня есть злые враги, которые меня погубить поклялись... — отвечал господин Голядкин боязливо и шепотом.

— Полноте, полноте; что враги! не нужно врагов поминать! это совершенно не нужно. Садитесь, садитесь, — продолжал Крестьян Иванович, усаживая господина Голядкина окончательно в кресла.

Господин Голядкин уселся, наконец, не сводя глаз с Крестьяна Ивановича. Крестьян Иванович с крайне недовольным видом стал шагать из угла в угол своего кабинета. Последовало долгое молчание.

— Я вам благодарен, Крестьян Иванович, весьма благодарен и весьма чувствую все, что вы для меня теперь сделали. По гроб не за-

буду я ласки вашей, Крестьян Иванович, — сказал, наконец, господин Голядкин, с обиженным видом вставая со стула.

— Полноте, полноте! я вам говорю, полноте! — отвечал довольно строго Крестьян Иванович на выходку господина Голядкина, еще раз усаживая его на место. — Ну, что у вас? расскажите мне, что у вас есть там теперь неприятного, — продолжал Крестьян Иванович, — и о каких врагах говорите вы? Что у вас есть там такое?

— Нет, Крестьян Иванович, мы лучше это оставим теперь, — отвечал господин Голядкин, опустив глаза в землю, — лучше отложим все это в сторону, до времени... до другого времени, Крестьян Иванович, до более удобного времени, когда все обнаружится, и маска спадет с некоторых лиц, и кое-что обнажится. А теперь покамест, разумеется, после того, что с нами случилось... вы согласитесь сами, Крестьян Иванович... Позвольте пожелать вам доброго утра, Крестьян Иванович, — сказал господин Голядкин, в этот раз решительно и серьезно вставая с места и хватаясь за шляпу.

— А, ну... как хотите... гм... (Последовало минутное молчание.) Я, с моей стороны, вы знаете, что могу... и искренно вам добра желаю.

— Понимаю вас, Крестьян Иванович, понимаю; я вас совершенно понимаю теперь... Во всяком случае, извините меня, что я вас обеспокоил, Крестьян Иванович.

— Гм... Нет, я вам не то хотел говорить. Впрочем, как угодно. Медикаменты по-прежнему продолжайте...

— Буду продолжать медикаменты, как вы говорите, Крестьян Иванович, буду продолжать и в той же аптеке брать буду... Нынче и аптекарем быть, Крестьян Иванович, уже важное дело...

— Как? в каком смысле вы хотите сказать?

— В весьма обыкновенном смысле, Крестьян Иванович. Я хочу сказать, что нынче так свет пошел...

— Гм...

— И что всякий мальчишка, не только аптекарский, перед порядочным человеком нос задирает теперь.

— Гм... Как же вы это понимаете?

— Я говорю, Крестьян Иванович, про известного человека... про общего нам знакомого, Крестьян Иванович, например, хоть про Владимира Семеновича...

— А!..

— Да, Крестьян Иванович; и я знаю некоторых людей, Крестьян Иванович, которые не слишком-то держатся общего мнения, чтоб иногда правду сказать.

— А!.. Как же это?

— Да уж так-с; это, впрочем, постороннее дело; умеют этак иногда поднести коку с соком.

— Что? что поднести?

— Коку с соком, Крестьян Иванович; это пословица русская. Умеют иногда кстати поздравить кого-нибудь, например; есть такие люди, Крестьян Иванович.

— Поздравить?

— Да-с, поздравить, Крестьян Иванович, как сделал на днях один из моих коротких знакомых...

— Один из ваших коротких знакомых... а! как же это? — сказал Крестьян Иванович, внимательно взглянув на господина Голядкина.

— Да-с, один из моих близких знакомых поздравил с чином, с получением ассессорского чина, другого весьма близкого тоже знакомого, и вдобавок приятеля, как говорится, сладчайшего друга. Этак к слову пришлось. «Чувствительно, дескать, говорит, рад случаю принести вам, Владимир Семенович, мое поздравление, *искреннее* мое поздравление в получении чина. И тем более рад, что нынче, как всему свету известно, вывелись бабушки, которые ворожат». — Тут господин Голядкин плутовски кивнул головой и, прищурясь, посмотрел на Крестьяна Ивановича...

— Гм... Так это сказал...

— Сказал, Крестьян Иванович, сказал, да тут же и взглянул на Андрея Филипповича, на дядю-то нашего нещечка, Владимира Семеновича. Да что мне, Крестьян Иванович, что он ассессором сделан? Мне-то что тут? Да жениться хочет, когда еще молоко, с позволения сказать, на губах не обсохло. Так-таки и сказал. Дескать, говорю, Владимир Семенович! Я теперь все сказал; позвольте же мне удалиться.

— Гм...

— Да, Крестьян Иванович, позвольте же мне теперь, говорю, удалиться. Да тут, чтоб уж разом двух воробьев одним камнем убить, — как срезал молодца-то на бабушках, и обращаюсь к Кларе Олсуфьевне (дело-то было третьего дня у Олсуфья Ивановича), а она только что романс пропела чувствительный, — говорю, дескать, «чувствительно пропеть вы романсы изволили, да только слушают-то вас не от чистого сердца». И намекаю тем ясно, понимаете, Крестьян Иванович, намекаю тем ясно, что ищут-то теперь не в ней, а подальше...

— А! ну что же он?..

— Лимон съел, Крестьян Иванович, как по пословице говорится.

— Гм...

— Да-с, Крестьян Иванович. Тоже и старику самому говорю, — дескать, Олсуфий Иванович, говорю, я знаю, чем обязан я вам, ценю вполне благодеяния ваши, которыми почти с детских лет моих вы осыпали меня. Но откройте глаза, Олсуфий Иванович, говорю. Посмотрите. Я сам дело начистоту и открыто веду, Олсуфий Иванович.

— А, вот как!

— Да, Крестьян Иванович. Оно вот как...

— Что ж он?

— Да что он, Крестьян Иванович! мямлит; и того, и сего, и я тебя знаю, и что его превосходительство благодетельный человек — и пошел, и размазлся... Да ведь что ж? от старости, как говорится, покачнулся порядком.

— А! так вот как теперь!

— Да, Крестьян Иванович. И все-то мы так, чего! старикашка! в гроб смотрит, дышит на ладан, как говорится, а сплетню бабью заплетут какую-нибудь, так он уж тут слушает; без него невозможно...

— Сплетню, вы говорите?

— Да, Крестьян Иванович, заплели они сплетню. Замешал свою руку сюда и наш медведь и племянник его, наше нещечко; связались они с старухами, разумеется, и состряпали дело. Как бы вы думали? Что они выдумали, чтоб убить человека?..

— Чтоб убить человека?

— Да, Крестьян Иванович, чтоб убить человека, нравственно убить человека. Распустили они... я все про моего близкого знакомого говорю...

Крестьян Иванович кивнул головою.

— Распустили они насчет его слух... Признаюсь вам, мне даже совестно говорить, Крестьян Иванович...

— Гм...

— Распустили они слух, что он уже дал подписку жениться, что он уже жених с другой стороны... И как бы вы думали, Крестьян Иванович, на ком?

— Право?

— На кухмистерше, на одной неблагопристойной немке, у которой обеды берет; вместо заплаты долгов руку ей предлагает.

— Это они говорят?

— Верите ли, Крестьян Иванович? Немка, подлая, гадкая, бесстыдная немка, Каролина Ивановна, если известно вам...

— Я признаюсь, с моей стороны...

— Понимаю вас, Крестьян Иванович, понимаю, и с своей стороны это чувствую...

— Скажите мне, пожалуйста, где вы живете теперь?

— Где я живу теперь, Крестьян Иванович?

— Да... я хочу... вы прежде, кажется, жили...

— Жил, Крестьян Иванович, жил, жил и прежде. Как же не жить! — отвечал господин Голядкин, сопровождая слова свои маленьким смехом и немного смутив ответом своим Крестьяна Ивановича.

— Нет, вы не так это приняли; я хотел с своей стороны...

— Я тоже хотел, Крестьян Иванович, с своей стороны, я тоже хотел, — смеясь, продолжал господин Голядкин. — Однако ж я, Кре-

стьян Иванович, у вас засиделся совсем. Вы, надеюсь, позволите мне теперь... пожелать вам доброго утра...

— Гм...

— Да, Крестьян Иванович, я вас понимаю; я вас теперь вполне понимаю, — сказал наш герой, немного рисуясь перед Крестьяном Ивановичем. — Итак, позвольте вам пожелать доброго утра...

Тут герой наш шаркнул ножкой и вышел из комнаты, оставив в крайнем изумлении Крестьяна Ивановича. Сходя с докторской лестницы, он улыбался и радостно потирал себе руки. На крыльце,дохнув свежим воздухом и почувствовав себя на свободе, он даже действительно готов был признать себя счастливейшим смертным и потом прямо отправиться в департамент, — как вдруг у подъезда загремела его карета; он взглянул и все вспомнил. Петрушка отворял уже дверцы. Какое-то странное и крайне неприятное ощущение охватило всего господина Голядкина. Он как будто бы покраснел на мгновение. Что-то кольнуло его. Он уже стал было заносить свою ногу на подножку кареты, как вдруг обернулся и посмотрел на окна Крестьяна Ивановича. Так и есть! Крестьян Иванович стоял у окна, поглаживал правой рукой свои бакенбарды и довольно любопытно смотрел на героя нашего.

«Этот доктор глуп, — подумал господин Голядкин, забиваясь в карету, — крайне глуп. Он, может быть, и хорошо своих больных лечит, а все-таки... глуп, как бревно». Господин Голядкин уселся. Петрушка крикнул: *«Пошел!»* — и карета покатилаь опять на Невский проспект.

ГЛАВА III

Все это утро прошло в страшных хлопотах у господина Голядкина. Попав на Невский проспект, герой наш приказал остановиться у Гостиного двора. Выпрыгнув из своего экипажа, побежал он под аркаду, в сопровождении Петрушки, и пошел прямо в лавку серебряных и золотых изделий. Заметно было уже по одному виду господина Голядкина, что у него хлопот полон рот и дел страшная куча. Сторговав полный обеденный и чайный сервиз с лишком на тысячу пятьсот рублей ассигнациями и выторговав себе в эту же сумму затейливой формы сигарочницу и полный серебряный прибор для бритья бороды, приценившись, наконец, еще к кое-каким в своем роде полезным и приятным вещичкам, господин Голядкин кончил тем, что обещал завтра же зайти непременно или даже сегодня прислать за сторгованным, взял номер лавки и, выслушав внимательно купца, хлопотавшего о задаточке, обещал в свое время и задаточек. После чего он поспешно распростился с недоумевавшим купцом и пошел вдоль по линии, преследуемый целой стаей сидельцев, поминутно оглядываясь назад на Петрушку и тщательно отыскивая какую-то новую лавку. Мимоходом забежал он в меняльную лавочку и разменял всю свою крупную бума-

гу на мелкую, и хотя потерял на промене, но зато все-таки разменял, и бумажник его значительно потолстел, что, по-видимому, доставило ему крайнее удовольствие. Наконец, остановился он в магазине разных дамских материй. Наторговав опять на знатную сумму, господин Голядкин и здесь обещал купцу зайти непременно, взял номер лавки и, на вопрос о задаточке, опять повторил, что будет в свое время и задаточек. Потом посетил и еще несколько лавок; во всех торговал, приценился к разным вещцам, спорил иногда долго с купцами, уходил из лавки и раза по три возвращался, — одним словом, оказывал необыкновенную деятельность. Из Гостиного двора герой наш отправился в один известный мебельный магазин, где сторговал мебели на шесть комнат, полюбовался одним модным и весьма затейливым дамским туалетом в последнем вкусе и, уверив купца, что приплет за всем непременно, вышел из магазина, по своему обычаю, с обещанием задаточка, потом заехал еще кое-куда и поторговал кое-что. Одним словом, не было, по-видимому, конца его хлопотам. Наконец все это, кажется, сильно стало надоедать самому господину Голядкину. Даже, и бог знает по какому случаю, стали его терзать ни с того ни с сего угрызения совести. Ни за что бы не согласился он теперь встретиться, например, с Андреем Филипповичем или хоть с Крестьяном Ивановичем. Наконец городские часы пробили три пополудни. Когда господин Голядкин сел окончательно в карету, из всех приобретений, сделанных им в это утро, оказалась в действительности лишь одна пара перчаток и склянка духов в полтора рубля ассигнациями. Так как для господина Голядкина было еще довольно рано, то он и приказал своему кучеру остановиться возле одного известного ресторана на Невском проспекте, о котором доселе он знал лишь понаслышке, вышел из кареты и побежал закусить, отдохнуть и выждать известное время.

Закусив так, как закусывает человек, у которого в перспективе богатый званный обед, то есть перехватив кое-что, чтобы, как говорится, червячка заморить, и выпив одну рюмочку водки, господин Голядкин уселся в креслах и, скромно осмотревшись кругом, мирно пристроился к одной тощей национальной газетке. Прочтя строчки две, он встал, посмотрелся в зеркало, оправился и сгладился; потом подошел к окну и поглядел, тут ли его карета... потом опять сел на место и взял газету. Заметно было, что герой наш был в крайнем волнении. Взглянув на часы и видя, что еще только четверть четвертого, следовательно, еще остается порядочно ждать, а вместе с тем и рассудив, что так сидеть неприлично, господин Голядкин приказал подать себе шоколаду, к которому, впрочем, в настоящее время большой охоты не чувствовал. Выпив шоколад и заметив, что время немного подвинулось, вышел он расплатиться. Вдруг кто-то ударил его по плечу.

Он обернулся и увидел пред собою двух своих сослуживцев-товарищей, тех самых, с которыми встретился утром на Литейной, —

ребят еще весьма молодых и по летам и по чину. Герой наш был с ними ни то ни се, ни в дружбе, ни в открытой вражде. Разумеется, соблюдалось приличие с обеих сторон; дальнейшего же сближения не было, да и быть не могло. Встреча в настоящее время была крайне неприятна господину Голядкину. Он немного поморщился и на минутку смеялся.

— Яков Петрович, Яков Петрович! — защебетали оба регистратора. — Вы здесь? по какому...

— А! это вы, господа! — перебил поспешно господин Голядкин, немного сконфузясь и скандализируясь изумлением чиновников и вместе с тем кроткостию их обращения, но, впрочем, делая развязного и молодца поневоле. — Дезертировали, господа, хе, хе, хе!.. — Тут даже, чтоб не уронить себя и снизить до канцелярского юношества, с которым всегда был в должных границах, он попробовал было потрепать одного юношу по плечу; но популярность в этом случае не удалась господину Голядкину, и, вместо прилично-короткого жеста, вышло что-то совершенно другое.

— Ну, а что, медведь наш сидит?..

— Кто это, Яков Петрович?

— Ну, медведь-то, будто не знаете, кого медведем зовут?.. — Господин Голядкин засмеялся и отвернулся к приказчику взять с него сдачу. — Я говорю про Андрея Филипповича, господа, — продолжал он, кончив с приказчиком и на этот раз с весьма серьезным видом обратившись к чиновникам. Оба регистратора значительно перемигнулись друг с другом.

— Сидит еще и вас спрашивал, Яков Петрович, — отвечал один из них.

— Сидит, а! В таком случае пусть его сидит, господа. И меня спрашивал, а?

— Спрашивал, Яков Петрович; да что это с вами, раздушены, распомажены, франтом таким?..

— Так, господа, это так! Полноте... — отвечал господин Голядкин, смотря в сторону и напряженно улыбнувшись. Видя, что господин Голядкин улыбается, чиновники расхохотались. Господин Голядкин немного надулся.

— Я вам скажу, господа, по-дружески, — сказал, немного помолчав, наш герой, как будто (так уж и быть) решившись открыть что-то чиновникам, — вы, господа, все меня знаете, но до сих пор знали только с одной стороны. Пенять в этом случае не на кого, и отчасти, сознаюсь, я был сам виноват.

Господин Голядкин сжал губы и значительно взглянул на чиновников. Чиновники снова перемигнулись.

— До сих пор, господа, вы меня не знали. Объясняться теперь и здесь будет не совсем-то кстати. Скажу вам только кое-что мимоходом

и вскользь. Есть люди, господа, которые не любят окольных путей и маскируются только для маскарада. Есть люди, которые не видят прямого человеческого назначения в ловком умении лощить паркет сапогами. Есть и такие люди, господа, которые не будут говорить, что счастливы и живут вполне, когда, например, на них хорошо сидят панталоны. Есть, наконец, люди, которые не любят скакать и вертеться по-пустому, заигрывать и подлизываться, а главное, господа, совать туда свой нос, где его вовсе не спрашивают... Я, господа, сказал почти все; позвольте ж мне теперь удалиться...

Господин Голядкин остановился. Так как господа регистраторы были теперь удовлетворены вполне, то вдруг оба крайне неучтиво покатались со смеха. Господин Голядкин вспыхнул.

— Смейтесь, господа, смейтесь покамест! Поживете — увидите, — сказал он с чувством оскорбленного достоинства, взяв свою шляпу и ретируясь к дверям.

— Но скажу более, господа, — прибавил он, обращаясь в последний раз к господам регистраторам, — скажу более — оба вы здесь со мной глаз на глаз. Вот, господа, мои правила: не удастся — креплюсь, удастся — держусь и во всяком случае никого не подкапываю. Не интригант — и этим горжусь. В дипломаты бы я не годился. Говорят еще, господа, что птица сама летит на охотника. Правда, и готов согласиться: но кто здесь охотник, кто птица? Это еще вопрос, господа!

Господин Голядкин красноречиво умолк и с самой значительной миной, то есть подняв брови и сжав губы донельзя, раскланялся с господами чиновниками и потом вышел, оставя их в крайнем изумлении.

— Куда прикажете? — спросил довольно сурово Петрушка, которому уже наскучило, вероятно, таскаться по холоду. — Куда прикажете? — спросил он господина Голядкина, встречая его страшный, всеуничтожающий взгляд, которым герой наш уже два раза обеспечивал себя в это утро и к которому прибегнул теперь в третий раз, сходя с лестницы.

— К Измайловскому мосту.

— К Измайловскому мосту! Пошел!

«Обед у них начнется не раньше как в пятом или даже в пять часов, — думал господин Голядкин, — не рано ль теперь? Впрочем, ведь я могу и пораньше; да к тому же и семейный обед. Я этак могу сан-фасон¹, как между порядочными людьми говорится. Отчего же бы мне нельзя сан-фасон? Медведь наш тоже говорил, что будет все сан-фасон, а потому и я тоже...» Так думал господин Голядкин; а между тем волнение его все более и более увеличивалось. Заметно было, что он готовился к чему-то весьма хлопотливому, чтоб не сказать более, шептал про себя, жестикулировал правой рукой, беспрерывно поглядывал в окна кареты, так что, смотря теперь на господина Голядкина, право

¹ Сан-фасон (*франц.* sans facon) — без церемоний.

бы, никто не сказал, что он собирается хорошо пообедать, запросто, да еще в своем семейном кругу, — сан-фасон, как между порядочными людьми говорится. Наконец у самого Измайловского моста господин Голядкин указал на один дом; карета с громом вкатилась в ворота и остановилась у подъезда правого фаса. Заметив одну женскую фигуру в окне второго этажа, господин Голядкин послал ей рукой поцелуй. Впрочем, он не знал сам, что делает, потому что решительно был ни жив ни мертв в эту минуту. Из кареты он вышел бледный, растерянный; взошел на крыльцо, снял свою шляпу, машинально оправился и, чувствуя, впрочем, маленькую дрожь в коленках, пустился по лестнице.

— Олсуфий Иванович? — спросил он отворившего ему человека.

— Дома-с, то есть нет-с, их нет дома-с.

— Как? что ты, мой милый? Я — я на обед, братец. Ведь ты меня знаешь?

— Как не знать-с! Принимать вас не велено-с.

— Ты... ты, братец... ты, верно, ошибаешься, братец. Это я. Я, братец, приглашен; я на обед, — проговорил господин Голядкин, сбрасывая шинель и показывая очевидное намерение отправиться в комнаты.

— Позвольте-с, нельзя-с. Не велено принимать-с, вам отказывать велено. Вот как!

Господин Голядкин побледнел. В это самое время дверь из внутренних комнат отворилась и вошел Герасимыч, старый камердинер Олсуфия Ивановича.

— Вот они, Емельян Герасимович, войти хотят, а я...

— А вы дурак, Алексеич. Ступайте в комнаты, а сюда приплатите подлеца Семеныча. Нельзя-с, — сказал он учтиво, но решительно обращаясь к господину Голядкину. — Никак невозможно-с. Просят извинить-с; не могут принять-с.

— Они так и сказали, что не могут принять? — нерешительно спросил господин Голядкин. — Вы извините, Герасимыч. Отчего же никак невозможно?

— Никак невозможно-с. Я докладывал-с; сказали: проси извинить. Не могут, дескать, принять-с.

— Отчего же? как же это? как...

— Позвольте, позвольте!..

— Однако как же это так? Так нельзя! Доложите... Как же это так? я на обед...

— Позвольте, позвольте!..

— А, ну, впрочем, это дело другое — извинить просят; однако ж позвольте, Герасимыч, как же это, Герасимыч?

— Позвольте, позвольте! — возразил Герасимыч, весьма решительно отстраняя рукой господина Голядкина и давая широкую дорогу двум господам, которые в это самое мгновение входили в прихожую.

Входившие господа были: Андрей Филиппович и племянник его, Владимир Семенович. Оба они с недоумением посмотрели на господина Голядкина. Андрей Филиппович хотел было что-то заговорить, но господин Голядкин уже решился; он уже выходил из прихожей Олсуфия Ивановича, опустив глаза, покраснев, улыбаясь, с совершенно потерянной физиономией.

— Я зайду после, Герасимыч; я объяснюсь; я надеюсь, что все это не замедлит своевременно объясниться, — проговорил он на пороге и отчасти на лестнице.

— Яков Петрович, Яков Петрович!.. — послышался голос следовавшего за господином Голядкиным Андрея Филипповича.

Господин Голядкин находился тогда уже на первой забежной площадке. Он быстро оборотился к Андрею Филипповичу.

— Что вам угодно, Андрей Филиппович? — сказал он довольно решительным тоном.

— Что это с вами, Яков Петрович? Каким образом?..

— Ничего-с, Андрей Филиппович. Я здесь сам по себе. Это моя частная жизнь, Андрей Филиппович.

— Что такое-с?

— Я говорю, Андрей Филиппович, что это моя частная жизнь и что здесь, сколько мне кажется, ничего нельзя найти предосудительного касательно официальных отношений моих.

— Как! касательно официальных... Что с вами, сударь, такое?

— Ничего, Андрей Филиппович, совершенно ничего; дерзкая девчонка, больше ничего...

— Что!.. что?! — Андрей Филиппович потерялся от изумления. Господин Голядкин, который доселе, разговаривая снизу лестницы с Андреем Филипповичем, смотрел так, что, казалось, готов был ему прыгнуть прямо в глаза, — видя, что начальник отделения немного смешался, сделал, почти неведомо себе, шаг вперед. Андрей Филиппович подался назад. Господин Голядкин переступил еще и еще ступеньку. Андрей Филиппович беспокойно осмотрелся кругом. Господин Голядкин вдруг быстро поднялся на лестницу. Еще быстрее прыгнул Андрей Филиппович в комнату и захлопнул дверь за собою. Господин Голядкин остался один. В глазах у него потемнело. Он сбился совсем и стоял теперь в каком-то бестолковом раздумье, как будто припоминая о каком-то тоже крайне бестолковом обстоятельстве, весьма недавно случившемся. «Эх, эх!» — прошептал он, улыбаясь с натуги. Между тем на лестнице, внизу, послышались голоса и шаги, вероятно новых гостей, приглашенных Олсуфьем Ивановичем. Господин Голядкин отчасти опомнился, поскорее поднял повыше свой енотовый воротник, прикрылся им по возможности и стал, ковыляя, семена, торопясь и спотыкаясь, сходить с лестницы. Чувствовал он в себе какое-то ослабление и онемение. Смушение его было в такой

сильной степени, что, вышед на крыльцо, он не подождал и кареты, а сам пошел прямо через грязный двор до своего экипажа. Подойдя к своему экипажу и приготовляясь в нем поместиться, господин Голядкин мысленно обнаружил желание провалиться сквозь землю или спрятаться хоть в мышиную щелочку вместе с каретой. Ему казалось, что все, что ни есть в доме Олсуфия Ивановича, вот так и смотрит теперь на него из всех окон. Он знал, что непременно тут же на месте умрет, если обернется назад.

— Что ты смеешься, болван? — сказал он скороговоркой Петрушке, который приготовился было его посадить в карету.

— Да что мне смеяться-то? я ничего; куда теперь ехать?

— Ступай домой, поезжай...

— Пошел домой! — крикнул Петрушка, взмогаясь на запятки.

«Экое горло воронье!» — подумал господин Голядкин. Между тем карета уже довольно далеко отъехала за Измайловский мост. Вдруг герой наш из всей силы дернул шнурок и закричал своему кучеру немедленно воротиться назад. Кучер поворотил лошадей и через две минуты въехал опять во двор к Олсуфию Ивановичу. «Не нужно, дурак, не нужно; назад!» — прокричал господин Голядкин, — и кучер словно ожидал такого приказа: не возражая ни на что, не останавливаясь у подъезда и объехав кругом весь двор, выехал снова на улицу.

Домой господин Голядкин не поехал, а, миновав Семеновский мост, приказал поворотить в один переулок и остановиться возле трактира довольно скромной наружности. Вышед из кареты, герой наш расплатился с извозчиком и, таким образом, избавился, наконец, от своего экипажа. Петрушке приказал идти домой и ждать его возвращения, сам же вошел в трактир, взял особенный номер и приказал подать себе пообедать. Чувствовал он себя весьма дурно, а голову свою в полнейшем разброде и в хаосе. Долго ходил он в волнении по комнате; наконец сел на стул, подпер себе лоб руками и начал всеми силами стараться обсудить и разрешить кое-что относительно настоящего своего положения...

ГЛАВА IV

День, торжественный день рождения Клары Олсуфьевны, единородной дочери статского советника Берендеева, в это время благодетеля господина Голядкина, — день, ознаменовавшийся блистательным, великолепным званым обедом, таким обедом, какого давно не видали в стенах чиновничьих квартир у Измайловского моста и около, — обедом, который походил более на какой-то пир вальтасаровский, чем на обед, — который отзывался чем-то вавилонским в отношении блеска, роскоши и приличия с шампанским-кликко, с устрицами и плодами Елисея и Милютиных лавок, со всякими ушпанными

тельцами и чиновною табелью о рангах, — этот торжественный день, ознаменовавшийся таким торжественным обедом, заключился блистательным балом, семейным, маленьким, родственным балом, но все-таки блистательным в отношении вкуса, образованности и приличия. Конечно, я совершенно согласен, такие балы бывают, но редко. Такие балы, более похожие на семейные радости, чем на балы, могут лишь даваться в таких домах, как, например, дом статского советника Берендеева. Скажу более: я даже сомневаюсь, чтоб у всех статских советников могли даваться такие балы. О, если бы я был поэт! — разумеется, по крайней мере такой, как Гомер или Пушкин; с меньшим талантом соваться нельзя, — я бы непременно изобразил вам яркими красками и широкою кистью, о читатели! весь этот высокоторжественный день. Нет, я бы начал свою поэму обедом, я особенно бы налег на то поразительное и вместе с тем торжественное мгновение, когда поднялась первая задравная чаша в честь царицы праздника. Я изобразил бы вам, во-первых, этих гостей, погруженных в благоговейное молчание и ожидание, более похожее на демосфеновское красноречие, чем на молчание. Я изобразил бы вам потом Андрея Филипповича, как старшего из гостей, имеющего даже некоторое право на первенство, украшенного сединами и приличными сединой орденами, вставшего с места и поднявшего над головою задравный бокал с искрометным вином, — вином, нарочно привозимым из одного отдаленного королевства, чтоб запивать им подобные мгновения, вином, более похожим на божественный нектар, чем на вино. Я изобразил бы вам гостей и счастливых родителей царицы праздника, поднявших тоже свои бокалы вслед за Андреем Филипповичем и устремивших на него полные ожидания очи. Я изобразил бы вам, как этот часто поминаемый Андрей Филиппович, уронив сначала слезу в бокал, проговорил поздравление и пожелание, провозгласил тост и выпил за здравие... Но, сознаюсь, вполне сознаюсь, не мог бы я изобразить всего торжества — той минуты, когда сама царица праздника, Клара Олсуфьевна, краснея, как вешняя роза, румянцем блаженства и стыдливости, от полноты чувств упала в объятия нежной матери, как прослезилась нежная мать и как зарыдал при сем случае сам отец, маститый старец и статский советник Олсуфий Иванович, лишившийся употребления ног на долговременной службе и вознагражденный судьбою за такое усердие капиталцем, домком, деревеньками и красавицей дочерью, — зарыдал, как ребенок, и провозгласил сквозь слезы, что его превосходительство благодетельный человек. Я бы не мог, да, именно не мог бы изобразить вам и неукоснительно последовавшего за сей минутой всеобщего увлечения сердец — увлечения, ясно выразившегося даже поведением одного юного регистратора (который в это мгновение походил более на статского советника, чем на регистратора), тоже прослезившегося, внимая Андрею Филипповичу. В свою

очередь Андрей Филиппович в это торжественное мгновение вовсе не походил на коллежского советника и начальника отделения в одном департаменте, — нет, он казался чем-то другим... я не знаю только, чем именно, но не коллежским советником. Он был выше! Наконец... о! для чего я не обладаю тайною слога высокого, сильного, слога торжественного, для изображения всех этих прекрасных и назидательных моментов человеческой жизни, как будто нарочно устроенных для доказательства, как иногда торжествует добродетель над неблагонамеренностью, вольнодумством, пороком и завистью! Я ничего не скажу, но молча — что будет лучше всякого красноречия — укажу вам на этого счастливого юношу, вступающего в свою двадцать шестую весну, — на Владимира Семеновича, племянника Андрея Филипповича, который встал в свою очередь с места, который провозглашает в свою очередь тост и на которого устремлены слезящиеся очи родителей царицы праздника, гордые очи Андрея Филипповича, стыдливые очи самой царицы праздника, восторженные очи гостей и даже прилично завистливые очи некоторых молодых сослуживцев этого блестящего юноши. Я не скажу ничего, хотя не могу не заметить, что все в этом юноше, — который более похож на старца, чем на юношу, говоря в выгодном для него отношении, — все, начиная с цветущих ланит до самого ассессорского, на нем лежавшего чина, все это в сию торжественную минуту только что не проговаривало, что, дескать, до такой-то высокой степени может благонравие довести человека! Я не буду описывать, как, наконец, Антон Антонович Сеточкин, столоначальник одного департамента, сослуживец Андрея Филипповича и некогда Олсуфья Ивановича, вместе с тем старинный друг дома и крестный отец Клары Олсуфьевны, — старичок, как лунь седенький, в свою очередь предлагая тост, пропел петухом и проговорил веселые вирши; как он таким приличным забвением приличия, если можно так выразиться, рассмешил до слез целое общество и как сама Клара Олсуфьевна за такую веселость и любезность поцеловала его, по приказанию родителей. Скажу только, что, наконец, гости, которые после такого обеда, естественно, должны были чувствовать себя друг другу родными и братьями, встали из-за стола; как потом старички и люди солидные, после недолгого времени, употребленного на дружеский разговор и даже на кое-какие, разумеется, весьма приличные и любезные откровенности, чинно прошли в другую комнату и, не теряя золотого времени, разделившись на партии, с чувством собственного достоинства сели за столы, обтянутые зеленым сукном; как дамы, усевшись в гостиной, стали вдруг все необыкновенно любезны и начали разговаривать о разных материях; как, наконец, сам высокоуважаемый хозяин дома, лишившийся употребления ног на службе верою и правдою и награжденный за это всем, чем выше упомянуто было, стал рассказывать на костылях между гостями своими, поддерживаемый Владимиром Семе-

новичем и Кларой Олсуфьевной, и как, вдруг сделавшись тоже необыкновенно любезным, решился импровизировать маленький скромный бал, несмотря на издержки; как для сей цели командирован был один расторопный юноша (тот самый, который за обедом более похож был на статского советника, чем на юношу) за музыкантами; как потом прибыли музыканты в числе целых одиннадцати штук и как, наконец, ровно в половине девятого раздались призывные звуки французской кадрили и прочих различных танцев... Нечего уже и говорить, что перо мое слабо, вяло и тупо для приличного изображения бала, импровизированного необыкновенною любезностью седовласого хозяина. Да и как, спрошу я, как могу я, скромный повествователь весьма, впрочем, любопытных в своем роде приключений господина Голядкина, — как могу я изобразить эту необыкновенную и благопристойную смесь красоты, блеска, приличия, веселости, любезной солидности и солидной любезности, резвости, радости, все эти игры и смехи всех этих чиновных дам, более похожих на фей, чем на дам, — говоря в выгодном для них отношении, — с их лилейно-розовыми плечами и личиками, с их воздушными станами, с их резво-игривыми, гомеопатическими, говоря высоким слогом, ножками? Как изображу я вам, наконец, этих блестящих чиновных кавалеров, веселых и солидных, юношей и степенных, радостных и прилично туманных, курящих в антрактах между танцами в маленькой отдаленной зеленой комнате трубку и не курящих в антрактах трубки, — кавалеров, имевших на себе, от первого до последнего, приличный чин и фамилию, — кавалеров, глубоко проникнутых чувством изящного и чувством собственного достоинства; кавалеров, говорящих большего частью на французском языке с дамами, а если на русском, то выражениями самого высокого тона, комплиментами и глубокими фразами, — кавалеров, разве только в трубочной позволявших себе некоторые любезные отступления от языка высшего тона, некоторые фразы дружеской и любезной короткости, вроде таких, например: «что, дескать, ты, такой-сякой, Петька, славно польку откалывал», или: «что, дескать, ты, такой-сякой, Вася, пришпандорил-таки свою дамочку, как хотел». На все это, как уже выше имел я честь объяснить вам, о читатели! недостает пера моего, и потому я молчу. Обратимся лучше к господину Голядкину, единственному, истинному герою весьма правдивой повести нашей.

Дело в том, что он находится теперь в весьма странном, чтоб не сказать более, положении. Он, господа, тоже здесь, то есть не на бале, но почти что на бале; он, господа, ничего; он хотя и сам по себе, но в эту минуту стоит на дороге не совсем-то прямой; стоит он теперь — даже странно сказать — стоит он теперь в сенях, на черной лестнице квартиры Олсуфья Ивановича. Но это ничего, что он тут стоит; он так себе. Он, господа, стоит в уголку, забившись в местечко хоть не поте-

плее, но зато потемнее, закрывшись отчасти огромным шкафом и старыми ширмами, между всяким дрязгом, хламом и рухлядью, скрываясь до времени и покамест только наблюдая за ходом общего дела в качестве постороннего зрителя. Он, господа, только наблюдает теперь; он, господа, тоже ведь может войти... почему же не войти? Стоит только шагнуть, и войдет, и весьма ловко войдет. Сейчас только, — выставляя, впрочем, уже третий час на холоде, между шкафом и ширмами, между всяким хламом, дрязгом и рухлядью, — цитировал он, в собственное оправдание свое, одну фразу блаженной памяти французского министра Виллеля, что «все, дескать, придет своим чередом, если выждать есть сметка». Фразу эту вычитал господин Голядкин когда-то из совершенно посторонней, впрочем, книжки, но теперь весьма кстати привел ее себе на память. Фраза, во-первых, очень хорошо шла к настоящему его положению, а во-вторых, чего же не придет в голову человеку, выжидающему счастливой развязки обстоятельств своих почти битые три часа в сених, в темноте и на холоде? Цитируя, как уже сказано было, весьма кстати фразу бывшего французского министра Виллеля, господин Голядкин тут же, неизвестно почему, припомнил и о бывшем турецком визире Марцимирисе, равно как и о прекрасной маркграфине Луизе, историю которых читал он тоже когда-то в книжке. Потом пришло ему на память, что иезуиты поставили даже правилом своим считать все средства годящимися, лишь бы цель могла быть достигнута. Обнадежив себя немного подобным историческим пунктом, господин Голядкин сказал сам себе, что, дескать, что иезуиты? Иезуиты все до одного были величайшие дураки, что он сам их всех заткнет за пояс, что вот только бы хоть на минуту опустела буфетная (та комната, которой дверь выходила прямо в сени, на черную лестницу, и где господин Голядкин находился теперь), так он, несмотря на всех иезуитов, возьмет — да прямо и пройдет, сначала из буфетной в чайную, потом в ту комнату, где теперь в карты играют, а там прямо в залу, где теперь полку танцуют. И пройдет, непременно пройдет, ни на что не смотря пройдет, проскользнет, да и только, и никто не заметит; а там уж он сам знает, что ему делать. Вот в таком-то положении, господа, находим мы теперь героя совершенно правдивой истории нашей, хотя, впрочем, трудно объяснить, что именно делалось с ним в настоящее время. Дело-то в том, что он до сеней и до лестницы добраться умел, по той причине, что, дескать, почему ж не добраться, что все добираются; но далее проникнуть не смел, явно этого сделать не смел... не потому, чтоб чего-нибудь не смел, а так, потому что сам не хотел, потому что ему лучше хотелось быть втихомолочку. Вот он, господа, и выжидает теперь тихомолочки, и выжидает ее ровно два часа с половиною. Отчего ж и не выждать? И сам Виллель выжидал. «Да что тут Виллель! — думал господин Голядкин. — Какой тут Виллель? А вот как бы мне теперь того... взять да и проникнуть?.. Эх

ты, фигурант ты этакой! — сказал господин Голядкин, ущипнув себя окоченевшею рукою за окоченевшую щеку, — дурашка ты этакой, Голядка ты этакой — фамилия твоя такова!..» Впрочем, это ласкательство собственной особе своей в настоящую минуту было лишь так себе, мимоходом, без всякой видимой цели. Вот было он сунулся и подался вперед; минута настала; буфетная опустела, и в ней нет никого; господин Голядкин видел все это в окошко; в два шага очутился он у двери и уже стал отворять ее. «Идти или нет? Ну, идти или нет? Пойду... отчего ж не пойти? Смелому дорога везде!» Обнадежив себя таким образом, герой наш вдруг и совсем неожиданно ретировался за пирмы. «Нет, — думал он, — а ну как войдет кто-нибудь? Так и есть, вошли; чего ж я зевал, когда народу не было? Этак бы взять да и проникнуть!.. Нет, уж что проникнуть, когда характер у человека такой! Эка ведь тенденция подлая! Струсил, как курица. Струсить-то наше дело, вот оно что! Нагадить-то всегда наше дело: об этом вы нас и не спрашивайте. Вот и стой здесь, как чурбан, да и только! Дома бы чаю теперь выпить чашечку... Оно бы и приятно этак было, выпить бы чашечку. Позже прийти, так Петрушка будет, пожалуй, ворчать. Не пойти ли домой? Черти бы взяли все это! Иду, да и только!» Разрешив таким образом свое положение, господин Голядкин быстро подался вперед, словно пружину какую кто тронул в нем; с двух шагов очутился в буфетной, сбросил шинель, снял свою шляпу, поспешно сунул это все в угол, оправился и огладился; потом... потом двинулся в чайную, из чайной юркнул еще в другую комнату, скользнул почти незаметно между вошедшими в азарт игроками; потом... потом... тут господин Голядкин позабыл все, что вокруг него делается, и, прямо как снег на голову, явился в танцевальную залу.

Как нарочно, в это время не танцевали. Дамы гуляли по зале живописными группами. Мужчины сбивались в кружки или шныряли по комнате, ангажируя дам. Господин Голядкин не замечал этого ничего. Видел он только Клару Олсуфьевну; возле нее Андрея Филипповича, потом Владимира Семеновича, да еще двух или трех офицеров, да еще двух или трех молодых людей, тоже весьма интересных, подающих или уже осуществивших, как можно было по первому взгляду судить, кое-какие надежды... Видел он и еще кой-кого. Или нет; он уже никого не видал, ни на кого не глядел... а,двигаемый тою же самой пружиной, посредством которой вскочил на чужой бал непрощенный, подался вперед, потом и еще вперед, и еще вперед; наткнулся мимоходом на какого-то советника, отдал ему ногу; кстати уже наступил на платье одной почтенной старушки и немного порвал его, толкнул человека с подносом, толкнул и еще кой-кого и, не заметив всего этого, или, лучше сказать, заметив, но уж так, заодно, не глядя ни на кого, пробираясь все далее и далее вперед, вдруг очутился перед самой Кларой Олсуфьевной. Без всякого сомнения, глазком не мигнув, он с

величайшим бы удовольствием провалился в эту минуту сквозь землю; но, что сделано было, того не воротить... ведь уж никак не воротить. Что же было делать? «Не удастся — держись, а удастся — крепись. Господин Голядкин, уж разумеется, был не интригант и лопчить паркет сапогами не мастер...» Так уж случилось. К тому же и иезуиты как-то тут подмешались... Но не до них, впрочем, было господину Голядкину! Все, что ходило, шумело, говорило, смеялось, вдруг, как бы по мановению какому, затихло и мало-помалу столпилось около господина Голядкина. Господин Голядкин, впрочем, как бы ничего не слышал, ничего не видал, он не мог смотреть... он ни на что не мог смотреть; он опустил глаза в землю да так и стоял себе, дав себе, впрочем, мимоходом, честное слово каким-нибудь образом застрелиться в эту же ночь. Дав себе такое честное слово, господин Голядкин мысленно сказал себе: «Была не была!» — и, к собственному своему величайшему изумлению, совсем неожиданно начал вдруг говорить.

Начал господин Голядкин поздравлениями и приличными пожеланиями. Поздравления прошли хорошо, а на пожеланиях герой наш запнулся. Чувствовал он, что если запнется, то все сразу к черту пойдет. Так и вышло — запнулся и завяз... завяз и покраснел; покраснел и потерялся; потерялся и поднял глаза; поднял глаза и обвел их кругом; обвел их кругом и — и обмер... Все стояло, все молчало, все выжидало; немного подальше зашептало; немного поближе захохотало. Господин Голядкин бросил покорный, потерянный взор на Андрея Филипповича. Андрей Филиппович ответил господину Голядкину таким взглядом, что если б герой наш не был уже убит вполне, совершенно, то был бы непременно убит в другой раз, — если б это было только возможно. Молчание длилось.

— Это более относится к домашним обстоятельствам и к частной жизни моей, Андрей Филиппович, — едва слышным голосом проговорил полумертвый господин Голядкин, — это не официальное приключение, Андрей Филиппович...

— Стыдитесь, сударь, стыдитесь! — проговорил Андрей Филиппович полупшепотом, с невыразимою миной негодования, — проговорил, взял за руку Клару Олсуфьевну и отвернулся от господина Голядкина.

— Нечего мне стыдиться, Андрей Филиппович, — отвечал господин Голядкин так же полупшепотом, обводя свои несчастные взоры кругом, потерявшись и стараясь по сему случаю отыскать в недоумевающей толпе средину и социального своего положения.

— Ну, и ничего, ну, и ничего, господа! ну, что ж такое? ну, и со всяким может случиться, — шептал господин Голядкин, сдвигаясь понемногу с места и стараясь выбраться из окружавшей его толпы. Ему дали дорогу. Герой наш кое-как прошел между двумя рядами любопытных и недоумевающих наблюдателей. Рок увлекал его. Господин

Голядкин сам это чувствовал, что рок-то его увлекал. Конечно, он бы дорого дал за возможность находиться теперь, без нарушения приличий, на прежней стоянке своей в сенях, возле черной лестницы; но так как это было решительно невозможно, то он и начал стараться улизнуть куда-нибудь в уголок да так и стоять себе там — скромно, прилично, особо, никого не затрагивая, не обращая на себя исключительного внимания, но вместе с тем снискав благорасположение гостей и хозяина. Впрочем, господин Голядкин чувствовал, что его как будто бы подмывает что-то, как будто он колеблется, падает. Наконец он добрался до одного уголка и стал в нем, как посторонний, довольно равнодушный наблюдатель, опершись руками на спинки двух стульев, захватив их, таким образом, в свое полное обладание и стараясь по возможности взглянуть бодрым взглядом на сгруппировавшихся около него гостей Олсуфья Ивановича. Ближе всех стоял к нему какой-то офицер, высокий и красивый мальи, пред которым господин Голядкин почувствовал себя настоящей букашкой.

— Эти два стула, поручик, назначены: один для Клары Олсуфьевны, а другой для танцующей здесь же княжны Чевчехановой; я их, поручик, теперь для них берегу, — задыхаясь, проговорил господин Голядкин, обращая умоляющий взор на господина поручика. Поручик молча и с убийственной улыбкой отворотился. Осекшись в одном месте, герой наш попробовал было попытать счастье где-нибудь с другой стороны и обратился прямо к одному важному советнику, с значительным крестом на шее. Но советник обмерил его таким холодным взглядом, что господин Голядкин ясно почувствовал, что его вдруг окатили целым уплатом холодной воды. Господин Голядкин затих. Он решил лучше смолчать, не заговаривать, показать, что он так себе, что он тоже так, как и все, и что положение его, сколько ему кажется, по крайней мере тоже приличное. С этою целью он приковал свой взгляд к обшлагам своего вицмундира, потом поднял глаза и остановил их на одном весьма почтенной наружности господине. «На этом господине парик, — подумал господин Голядкин, — а если снять этот парик, так будет голая голова, точь-в-точь как ладонь моя голая». Сделав такое важное открытие, господин Голядкин вспомнил и о арабских эмирах, у которых, если снять с головы зеленую чалму, которую они носят в знак родства своего с пророком Мухаммедом, то останется тоже голая, безволосая голова. Потом, и, вероятно, по особенному столкновению идей относительно турков в голове своей, господин Голядкин дошел и до туфлей турецких и тут же кстати вспомнил, что Андрей Филиппович носит сапоги, похожие больше на туфли, чем на сапоги. Заметно было, что господин Голядкин отчасти освоился с своим положением. «Вот если б эта люстра, — мелькнуло в голове господина Голядкина, — вот если б эта люстра сорвалась теперь с места и упала на общество, то я бы тотчас бросился спасать

Клару Олсуфьевну. Спасши ее, сказал бы ей: «Не беспокойтесь, сударыня; это ничего-с, а спаситель ваш я». Потом...» Тут господин Голядкин повернул глаза в сторону, отыскивая Klarу Олсуфьевну, и увидел Герасимыча, старого камердинера Олсуфия Ивановича. Герасимыч с самым заботливым, с самым официально-торжественным видом пробирался прямо к нему. Господин Голядкин вздрогнул и поморщился от какого-то безотчетного и вместе с тем самого неприятного ощущения. Машинально осмотрелся кругом: ему пришло было на мысль как-нибудь, этак под рукой, бочком, втихомолку улизнуть от греха, этак взять — да и ступешаться, то есть сделать так, как будто бы он ни в одном глазу, как будто бы вовсе не в нем было и дело. Однако, прежде чем наш герой успел решиться на что-нибудь, Герасимыч уже стоял перед ним.

— Видите ли, Герасимыч, — сказал наш герой, с улыбочкой обращаясь к Герасимычу, — вы возьмите да и прикажите, — вот видите, свечка там в канделябре, Герасимыч, — она сейчас упадет: так вы, знаете ли, прикажите поправить ее; она, право, сейчас упадет, Герасимыч...

— Свечка-с? нет-с, свечка прямо стоит-с; а вот вас кто-то там спрашивает-с.

— Кто же это там меня спрашивает, Герасимыч?

— А уж, право, не знаю-с, кто именно-с. Человек от каких-то-с. Здесь, дескать, находится Яков Петрович Голядкин? Так вызовите, говорит, его по весьма нужному и спешному делу... вот как-с.

— Нет, Герасимыч, вы ошибаетесь; в этом вы, Герасимыч, ошибаетесь.

— Сумнительно-с...

— Нет, Герасимыч, не сумнительно; тут, Герасимыч, ничего нет сумнительного. Никто меня не спрашивает, Герасимыч, меня некому спрашивать, а я здесь у себя, то есть на своем месте, Герасимыч.

Господин Голядкин перевел дух и осмотрелся кругом. Так и есть! Все, что ни было в зале, все так и устремились на него взором и слухом в каком-то торжественном ожидании. Мужчины толпились поближе и прислушивались. Подальше тревожно перешептывались дамы. Сам хозяин явился в весьма недалеком расстоянии от господина Голядкина, и хотя по виду его нельзя было заметить, что он тоже в свою очередь принимает прямое и непосредственное участие в обстоятельствах господина Голядкина, потому что все это делалось на деликатную ногу, но тем не менее все это дало ясно почувствовать герою повести нашей, что минута для него настала решительная. Господин Голядкин ясно видел, что настало время удара смелого, время посрамления врагов его. Господин Голядкин был в волнении. Господин Голядкин почувствовал какое-то вдохновение и дрожащим, торжественным голосом начал снова, обращаясь к ожидавшему Герасимычу:

— Нет, мой друг, меня никто не зовет. Ты ошибаешься. Скажу более, ты ошибался и утром сегодня, уверяя меня... осмеливаясь уверять меня, говорю я (господин Голядкин возвысил голос), что Олсуфий Иванович, благодетель мой с незапамятных лет, заменивший мне в некотором смысле отца, закажет для меня дверь свою в минуту семейной и торжественнейшей радости для его сердца родительского. (Господин Голядкин самодовольно, но с глубоким чувством осмотрелся кругом. На ресницах его навернулись слезы.) Повторяю, мой друг, — заключил наш герой, — ты ошибался, ты жестоко, непростительно ошибался...

Минута была торжественная. Господин Голядкин чувствовал, что эффект был вернейший. Господин Голядкин стоял, скромно потупив глаза и ожидая объятий Олсуфия Ивановича. В гостях заметно было волнение и недоумение; даже сам непоколебимый и ужасный Герасимыч занкнулся на слове «сумнительно-с»... как вдруг беспощадный оркестр ни с того ни с сего грянул польку. Все пропало, все на ветер пошло. Господин Голядкин вздрогнул, Герасимыч отшатнулся назад, все, что ни было в зале, заволновалось, как море, и Владимир Семенович уже неся в первой паре с Кларой Олсуфьевной, а красивый поручик с княжной Чевчихановой. Зрители с любопытством и восторгом теснились взглянуть на танцующих польку — танец интересный, новый, модный, круживший всем головы. Господин Голядкин был на время забыт. Но вдруг все заволновалось, замешалось, засуетилось; музыка умолкла... случилось странное происшествие. Утомленная танцем, Клара Олсуфьевна, едва переводя дух от усталости, с пылающими щеками и глубоко волнуемою грудью упала, наконец, в изнеможении сил в кресла. Все сердца устремились к прелестной очаровательнице, все спешили наперерыв приветствовать ее и благодарить за оказанное удовольствие, — вдруг перед нею очутился господин Голядкин. Господин Голядкин был бледен, крайне расстроен; казалось, он тоже был в каком-то изнеможении, он едва двигался. Он отчего-то улыбался, он просительно протягивал руку. Клара Олсуфьевна в изумлении не успела отдернуть руки своей и машинально встала на приглашение господина Голядкина. Господин Голядкин покачнулся вперед, сперва один раз, потом другой, потом поднял ножку, потом как-то пришаркнул, потом как-то притопнул, потом споткнулся... он тоже хотел танцевать с Кларой Олсуфьевной. Клара Олсуфьевна вскрикнула; все бросились освобождать ее руку из руки господина Голядкина, и разом герой наш был оттеснен толпою едва ли не на десять шагов расстояния. Вокруг него сгруппировался тоже кружок. Понесся визг и крик двух старух, которых господин Голядкин едва не опрокинул в ретиреде. Смятение было ужасное; все спрашивало, все кричало, все рассуждало. Оркестр умолк. Герой наш вертелся в кружке своем и машинально, отчасти улыбаясь, что-то бормотал про

себя, что, «дескать, отчего ж и нет, и что, дескать, полька, сколько ему по крайней мере кажется, танец новый и весьма интересный, созданный для утешения дам... но что если так дело пошло, то он, пожалуй, готов согласиться». Но согласия господина Голядкина, кажется, никто и не спрашивал. Герой наш почувствовал, что вдруг чья-то рука упала на его руку, что другая рука немного оперлась на спину его, что его с какою-то особенною заботливостью направляют в какую-то сторону. Наконец он заметил, что идет прямо к дверям.

Господин Голядкин хотел было что-то сказать, что-то сделать... Но нет, он уже ничего не хотел. Он только машинально отсмеивался. Наконец он почувствовал, что на него надевают шинель, что ему нахлобучили на глаза шляпу; что, наконец, — он почувствовал себя в сенях, в темноте и на холоде, наконец и на лестнице. Наконец он споткнулся, ему казалось, что он падает в бездну; он хотел было вскрикнуть — и вдруг очутился на дворе. Свежий воздух пахнул на него, он на минутку приостановился; в самое это мгновение до него долетели звуки вновь грянувшего оркестра. Господин Голядкин вдруг вспомнил все; казалось, все опавшие силы его возвратились к нему опять. Он сорвался с места, на котором доселе стоял, как прикованный, и стремглав бросился вон, куда-нибудь, на воздух, на волю, куда глаза глядят...

ГЛАВА V

На всех петербургских башнях, показывающих и бьющих часы, пробило ровно полночь, когда господин Голядкин, вне себя, выбежал на набережную Фонтанки, близ самого Измайловского моста, спасаясь от врагов, от преследований, от града щелчков, на него занесенных, от крика встревоженных старух, от оханья и аханья женщин и от убийственных взглядов Андрея Филипповича. Господин Голядкин был убит — убит вполне, в полном смысле слова, и если сохранил в настоящую минуту способность бежать, то единственно по какому-то чуду, по чуду, которому он сам, наконец, верить отказывался. Ночь была ужасная, — ноябрьская, мокрая, туманная, дождливая, снежливая, чреватая флюсами, насморками, лихорадками, жабами, горячками всех возможных родов и сортов, одним словом всеми дарами петербургского ноября. Ветер выл в опустелых улицах, вздымая выше колец черную воду Фонтанки и задорно потрогивая толстые фонари набережной, которые в свою очередь вторили его завываниям тоненьким, пронзительным скрипом, что составляло бесконечный, пискливый, дребезжащий концерт, весьма знакомый каждому петербургскому жителю. Шел дождь и снег разом. Прорываемые ветром струи дождевой воды прыскали чуть-чуть не горизонтально, словно из пожарной трубы, и кололи и секли лицо несчастного господина Голядкина, как

тысячи булавок и шпилек. Среди ночного безмолвия, прерываемого лишь отдаленным гулом карет, воем ветра и скрипом фонарей, уныло слышались хлест и журчание воды, стекавшей со всех крыш, крылец, желобов и карнизов на гранитный помост тротуара. Ни души не было ни вблизи, ни вдали, да казалось, что и быть не могло в такую пору и в такую погоду. Итак, один только господин Голядкин, один с своим отчаянием, трусил в это время по тротуару Фонтанки своим обыкновенным мелким и частым шажком, спеша добежать как можно скорее в свою Шестилавочную улицу, в свой четвертый этаж, к себе на квартиру.

Хотя снег, дождь и все то, чему даже имени не бывает, когда разыграется вьюга и хмара под петербургским ноябрьским небом, разом вдруг атаковали и без того убитого несчастьями господина Голядкина, не давая ему ни малейшей пощады и отдыха, пронимая его до костей, залепляя глаза, продувая со всех сторон, сбивая с пути и с последнего толка, хоть все это разом опрокинулось на господина Голядкина, как бы нарочно сообщась и согласясь со всеми врагами его отработать ему денек, вечерок и ночьку на славу, — несмотря на все это, господин Голядкин остался почти нечувствителен к этому последнему доказательству гонения судьбы: так сильно потрясло и поразило его все происшедшее с ним несколько минут назад у господина статского советника Берендеева! Если б теперь посторонний, неинтересованный какой-нибудь наблюдатель взглянул бы так себе, сбоку, на тоскливую побегку господина Голядкина, то и тот бы разом проникнулся всем страшным ужасом его бедствий и непременно сказал бы, что господин Голядкин глядит теперь так, как будто сам от себя куда-то спрятаться хочет, как будто сам от себя убежать куда-нибудь хочет. Да! оно было действительно так. Скажем более: господин Голядкин не только желал теперь убежать от себя самого, но даже совсем уничтожиться, не быть, в прах обратиться. В настоящие минуты он не внимал ничему окружающему, не понимал ничего, что вокруг него делается, и смотрел так, как будто бы для него не существовало на самом деле ни неприятностей ненастной ночи, ни долгого пути, ни дождя, ни снега, ни ветра, ни всей крутой непогоды. Калоша, отставшая от сапога с правой ноги господина Голядкина, тут же и осталась в грязи и снегу, на тротуаре Фонтанки, а господин Голядкин и не подумал воротиться за нею и не приметил пропажи ее. Он был так озадачен, что несколько раз, вдруг, несмотря ни на что окружающее, проникнутый вполне идеей своего недавнего страшного падения, останавливался неподвижно, как столб, посреди тротуара; в это мгновение он умирал, исчезал; потом вдруг срывался как бешеный с места и бежал, бежал без оглядки, как будто спасаясь от чьей-то погони, от какого-то еще более ужасного бедствия...

Действительно, положение было ужасное!.. Наконец, в истощении сил, господин Голядкин остановился, оперся на перила набережной

в положении человека, у которого вдруг, совсем неожиданно, потекла носом кровь, и пристально стал смотреть на мутную, черную воду Фонтанки. Неизвестно, сколько именно времени проведено было им в этом занятии. Известно только, что в это мгновение господин Голядкин дошел до такого отчаяния, так был истерзан, так был измучен, до того изнемог и опал и без того уже слабыми остатками духа, что позабыл обо всем — и об Измайловском мосте, и о Шестилавочной улице, и о настоящем своем... Что ж в самом деле? ведь ему было все равно: дело сделано, кончено, решение скреплено и подписано; что ж ему?.. Вдруг... вдруг он вздрогнул всем телом и невольно отскочил шага на два в сторону. С неизъяснимым беспокойством начал он озираться кругом; но никого не было, ничего не случилось особенного, — а между тем... между тем ему показалось, что кто-то сейчас, сию минуту, стоял здесь, около него, рядом с ним, тоже облокотясь на перила набережной, и — чудное дело! — даже что-то сказал ему, что-то скоро сказал, отрывисто, не совсем понятно, но о чем-то весьма к нему близком, до него относящемся. «Что ж, это мне почудилось, что ли? — сказал господин Голядкин, еще раз озираясь кругом. — Да я-то где же стою?.. Эх, эх!» — заключил он, покачав головою, а между тем с беспокойным, тоскливым чувством, даже со страхом стал вглядываться в мутную, влажную даль, напрягая всеми силами зрение и всеми силами стараясь пронзить близоруким взором своим мокрую средину, перед ним расстилающуюся. Однако ж ничего не было нового, ничего особенного не бросилось в глаза господину Голядкину. Казалось, все было в порядке, как следует, то есть снег валил еще сильнее, крупнее и гуще; на расстоянии двадцати шагов не было видно ни зги; фонари скрипели еще пронзительнее прежнего, и ветер, казалось, еще плачевнее, еще жалостнее затягивал тоскливую песню свою, словно неотвязчивый нищий, вымаливающий медный грош на свое пропитание. «Эх, эх! да что ж это со мною такое?» — повторил опять господин Голядкин, пускаясь снова в дорогу и все слегка озираясь кругом. А между тем какое-то новое ощущение отозвалось во всем существе господина Голядкина: тоска не тоска, страх не страх... лихорадочный трепет пробежал по жилам его. Минута была невыносимо неприятная! «Ну, ничего, — проговорил он, чтоб себя ободрить, — ну, ничего; может быть, это и совсем ничего, и чести ничьей не марает. Может быть, оно так и надобно было, — продолжал он, сам не понимая, что говорит, — может быть, все это в свое время устроится к лучшему, и претендовать будет не на что, и всех оправдает». Таким образом говоря и словами себя облегчая, господин Голядкин отряхнулся немного, стряхнул с себя снежные хлопья, навалившиеся густою корою ему на шляпу, на воротник, на шинель, на галстук, на сапоги и на все, — но странного чувства, странной темной тоски своей все еще не мог оттолкнуть от себя, сбросить с себя. Где-то далеко раздался пу-

шечный выстрел. «Эка погодка, — подумал герой наш, — чу! не будет ли наводнения? видно, вода поднялась слишком сильно». Только что сказал или подумал это господин Голядкин, как увидел впереди себя идущего ему навстречу прохожего, тоже, вероятно, как и он, по какому-нибудь случаю запоздалого. Дело бы, кажется, пустое, случайное; но, неизвестно почему, господин Голядкин смутился и даже струсил, потерялся немного. Не то чтоб он боялся недоброго человека, а так, может быть... «Да и кто его знает, этого запоздалого, — промелькнуло в голове господина Голядкина, — может быть, и он то же самое, может быть, он-то тут и самое главное дело, и не даром идет, а с целью идет, дорогу мою переходит и меня задевает». Может быть, впрочем, господин Голядкин и не подумал именно этого, а так только ощутил мгновенно что-то подобное и весьма неприятное. Думать-то и ощущать, впрочем, некогда было; прохожий уже был в двух шагах. Господин Голядкин тотчас, по всегдашнему обыкновению своему, поспешил принять вид совершенно особенный, вид, ясно выражавший, что он, Голядкин, сам по себе, что он ничего, что дорога для всех довольно широкая и что ведь он, Голядкин, сам никого не затрогивает. Вдруг он остановился как вкопанный, как будто молнией пораженный, и быстро потом обернулся назад, вслед прохожему, едва только его миновшему, — обернулся с таким видом, как будто что его дернуло сзади, как будто ветер повернул его флюгер. Прохожий быстро исчезал в снежной метелице. Он тоже шел торопливо, тоже, как и господин Голядкин, был одет и укутан с головы до ног и так же, как и он, дробил и семенял по тротуару Фонтанки частым, мелким шажком, немного с притрусочкой.

«Что, что это?» — шептал господин Голядкин, недоверчиво улыбаясь, — однако ж дрогнул всем телом. Морозом подернуло у него по спине. Между тем прохожий исчез совершенно, не стало уже слышно и шагов его, а господин Голядкин все еще стоял и глядел ему вслед. Однако ж, наконец, он мало-помалу опомнился. «Да что ж это такое, — подумал он с досадою, — что ж это я, с ума, что ли, в самом деле сошел?» — обернулся и пошел своею дорогою, ускоряя и частя более и более шаги и стараясь уж лучше вовсе ни о чем не думать. Даже и глаза, наконец, закрыл с сею целью. Вдруг, сквозь завывания ветра и шум непогоды, до слуха его долетел опять шум чьих-то весьма недалеких шагов. Он вздрогнул и открыл глаза. Перед ним опять, шагах в двадцати от него, чернелся какой-то быстро приближавшийся к нему человек. Человек этот спешил, частил, торопился; расстояние быстро уменьшалось. Господин Голядкин уже мог даже совсем разглядеть своего нового запоздалого товарища, — разглядел и вскрикнул от изумления и ужаса; ноги его подкосились. Это был тот самый знакомый ему пешеход, которого он, минут с десять назад, пропустил мимо себя и который вдруг, совсем неожиданно, теперь

опять перед ним появился. Но не одно это чудо поразило господина Голядкина, — а поражен господин Голядкин был так, что остановился, вскрикнул, хотел было что-то сказать — и пустился догонять незнакомца, даже закричал ему что-то, вероятно желая остановить его поскорее. Незнакомец остановился действительно, так шагах в десяти от господина Голядкина, и так, что свет близ стоявшего фонаря совершенно падал на всю фигуру его, — остановился, обернулся к господину Голядкину и с нетерпеливо озабоченным видом ждал, что он скажет. «Извините, я, может, и ошибся», — дрожащим голосом проговорил наш герой. Незнакомец молча и с досадою повернулся и быстро пошел своею дорогою, как будто спеша нагнать потерянные две секунды с господином Голядкиным. Что же касается до господина Голядкина, то у него задрожали все жилки, колени его подогнулись, ослабли, и он со стоном присел на тротуарную тумбочку. Впрочем, действительно, было от чего прийти в такое смущение. Дело в том, что незнакомец этот показался ему теперь как-то знакомым. Это бы еще все ничего. Но он узнал, почти совсем узнал теперь этого человека. Он его часто видывал, этого человека, когда-то видывал, даже недавно весьма; где же бы это? уж не вчера ли? Впрочем, и опять не в том было главное дело, что господин Голядкин его видывал часто; да и особенного-то в этом человеке почти не было ничего, — особенного внимания решительно ничего не возбуждал с первого взгляда этот человек. Так, человек был, как и все, порядочный, разумеется, как и все люди порядочные, и, может быть, имел там кое-какие и даже довольно значительные достоинства, — одним словом, был сам по себе человек. Господин Голядкин не питал даже ни ненависти, ни вражды, ни даже никакой самой легкой неприязни к этому человеку, даже напротив, казалось бы, — а между тем (и в этом-то вот обстоятельстве была главная сила), а между тем ни за какие сокровища мира не желал бы встретиться с ним и особенно встретиться так, как теперь, например. Скажем более: господин Голядкин знал вполне этого человека; он даже знал, как зовут его, как фамилия этого человека; а между тем ни за что, и опять-таки ни за какие сокровища в мире, не захотел бы назвать его, согласиться признать, что вот, дескать, его так-то зовут, что он так-то по батюшке и так по фамилии. Много ли, мало ли продолжалось недоразумение господина Голядкина, долго ли именно он сидел на тротуарном столбу, — не могу сказать, но только, наконец, маленько очнувшись, он вдруг пустился бежать без оглядки, что силы в нем было; дух его занимался; он споткнулся два раза, чуть не упал, — и при этом обстоятельстве осиротел другой сапог господина Голядкина, тоже покинутый своею каалошею. Наконец господин Голядкин сбавил шагу немножко, чтоб дух перевести, торопливо осмотрелся кругом и увидел, что уже перебежал, не замечая того, весь свой путь по Фонтанке, перешел Анничков мост, миновал часть Нев-

ского и теперь стоит на повороте в Литейную. Господин Голядкин поворотил в Литейную. Положение его в это мгновение походило на положение человека, стоящего над страшной стремниной, когда земля под ним обрывается, уж покачнулась, уж двинулась, в последний раз колышется, падает, увлекает его в бездну, а между тем у несчастного нет ни силы, ни твердости духа отскочить назад, отвести свои глаза от зияющей пропасти; бездна тянет его, и он прыгает, наконец, в нее сам, сам ускоряя минуту своей же гибели.

Господин Голядкин знал, чувствовал и был совершенно уверен, что с ним непременно совершится дорогой еще что-то недоброе, что разразится над ним еще какая-нибудь неприятность, что, например, он встретит опять своего незнакомца; но — странное дело, он даже желал этой встречи, считал ее неизбежною и просил только, чтоб поскорее все это кончилось, чтоб положение-то его разрешилось хоть как-нибудь, но только б скорее. А между тем он все бежал да бежал, и словно двигаемый какою-то постороннею силою, ибо во всем существе своем чувствовал какое-то ослабление и онемение; думать ни о чем он не мог, хотя идеи его цеплялись за все, как терновник. Какая-то затерянная собачонка, вся мокрая и издрогная, увязалась за господином Голядкиным и тоже бежала около него бочком, торопливо, поджав хвост и уши, по временам робко и понятиливо на него поглядывая. Какая-то далекая, давно уж забытая идея, — воспоминание о каком-то давно случившемся обстоятельстве, — пришла теперь ему в голову, стучала, словно молоточком в его голове, досаждала ему, не отвязывалась прочь от него. «Эх, эта скверная собачонка!» — шептал господин Голядкин, сам не понимая себя. Наконец он увидел своего незнакомца на повороте в Итальянскую улицу. Только теперь незнакомец уже шел не навстречу ему, а в ту же самую сторону, как и он, и тоже бежал, несколько шагов впереди. Наконец вошли в Шестилавочную. У господина Голядкина дух захватило. Незнакомец остановился прямо перед тем домом, в котором квартировал господин Голядкин. Послышался звон колокольчика и почти в то же время скрип железной задвижки. Калитка отворилась, незнакомец нагнулся, мелькнул и исчез. Почти в то же самое мгновение поспел и господин Голядкин и, как стрелка, влетел под ворота. Не слушая заворчавшего дворника, запыхавшись, вбежал он на двор и тотчас же увидел своего интересного спутника, на минуту потерянного. Незнакомец мелькнул при входе на ту лестницу, которая вела в квартиру господина Голядкина. Господин Голядкин бросился вслед за ним. Лестница была темная, сырая и грязная. На всех поворотах нагромождена была бездна всякого жилецкого хлама, так что чужой, не бывалый человек, попавши на эту лестницу в темное время, принуждаем был по ней с полчаса путешествовать, рискуя сломать себе ноги и проклиная вместе с лестницей и знакомых своих, неудобно так поселившихся. Но спутник господина Голядкина был

словно знакомый, словно домашний; взбегал легко, без затруднений и с совершенным знанием местности. Господин Голядкин почти совсем нагонял его; даже раза два или три подол шинели незнакомца ударил его по носу. Сердце в нем замирало. Таинственный человек остановился прямо против дверей квартиры господина Голядкина, стукнул, и (что, впрочем, удивило бы в другое время господина Голядкина) Петрушка, словно ждал и спать не ложился, тотчас отворил дверь и пошел за вошедшим человеком со свечою в руках. Вне себя вбежал в жилище свое герой нашей повести; не снимая шинели и шляпы, прошел он коридорчик и, словно громом пораженный, остановился на пороге своей комнаты. Все предчувствия господина Голядкина сбылись совершенно. Все, чего опасался он и что предугадывал, совершилось теперь наяву. Дыхание его порвалось, голова закружилась. Незнакомец сидел перед ним, тоже в шинели и в шляпе, на его же постели, слегка улыбаясь, и, прищурясь немного, дружески кивал ему головою. Господин Голядкин хотел закричать, но не мог, — протестовать каким-нибудь образом, но сил не хватило. Волосы встали на голове его дыбом, и он присел без чувств на месте от ужаса. Да и было от чего, впрочем. Господин Голядкин совершенно узнал своего ночного приятеля. Ночной приятель его был не кто иной, как он сам, — сам господин Голядкин, другой господин Голядкин, но совершенно такой же, как и он сам, — одним словом, что называется, двойник его во всех отношениях.

ГЛАВА VI

На другой день, ровно в восемь часов, господин Голядкин очнулся на своей постели. Тотчас же все необыкновенные вещи вчерашнего дня и вся невероятная, дикая ночь, с ее почти невозможными приключениями, разом, вдруг, во всей ужасающей полноте, явились его воображению и памяти. Такая ожесточенная адская злоба врагов его и особенно последнее доказательство этой злобы оледенили сердце господина Голядкина. Но и вместе с тем все это было так странно, непонятно, дико, казалось так невозможным, что действительно трудно было веру дать всему этому делу; господин Голядкин даже сам готов был признать все это несбыточным бредом, мгновенным расстройством воображения, отемнением ума, если б, к счастью своему, не знал по горькому житейскому опыту, до чего иногда злоба может довести человека, до чего может иногда дойти ожесточенность врага, мстящего за честь и амбицию. К тому же разбитые члены господина Голядкина, чадная голова, изломанная поясница и злокачественный насморк сильно свидетельствовали и отстаивали всю вероятность вчерашней ночной прогулки, а частью и всего прочего, приключившегося во время этой прогулки. Да и, наконец, господин Голядкин уже давным-давно знал, что у них там что-то готовится, что у них там есть

кто-то другой. Но — что же? Хорошенько раздумав, господин Голядкин решил смолчать, покориться и не протестовать по этому делу до времени. «Так, может быть, только попутать меня вздумали, а как увидят, что я ничего, не протестую и совершенно смиряюсь, с смирением переносу, так и отступятся, сами отступятся, да еще первые отступятся».

Так вот такие-то мысли были в голове господина Голядкина, когда он, потягиваясь в постели своей и расправляя разбитые члены, ждал, этот раз, обычного появления Петрушки в своей комнате. Ждал он уже с четверть часа; слышал, как ленивец Петрушка возится за перегородкой с самоваром, а между тем никак не репался позвать его. Скажем более: господин Голядкин даже немного боялся теперь очной ставки с Петрушкою. «Ведь бог знает, — думал он, — ведь бог знает, как теперь смотрит на все это дело этот мошенник. Он там молчит-молчит, а сам себе на уме». Наконец дверь закрипела, и явился Петрушка с подносом в руках. Господин Голядкин робко на него покосился, с нетерпением ожидая, что будет, ожидая, не скажет ли он, наконец, чего-нибудь насчет известного обстоятельства. Но Петрушка ничего не сказал, а, напротив, был как-то молчаливее, суровее и сердитее обыкновенного, косился на все исподлобья; вообще видно было, что он чем-то крайне недоволен; даже ни разу не взглянул на своего барина, что, мимоходом сказать, немного кольнуло господина Голядкина; поставил на стол все, что принес с собой, повернулся и ушел молча за свою перегородку. «Знает, знает, все знает, бездельник!» — ворчал господин Голядкин, принимаясь за чай. Однако ж герой наш ровно ничего не расспросил у своего человека, хотя Петрушка несколько раз потом входил в его комнату за разными надобностями. В самом тревожном положении духа был господин Голядкин. Жутко было еще идти в департамент. Сильное предчувствие было, что вот именно там-то что-нибудь да не так. «Ведь вот пойдешь, — думал он, — да как наткнешься на что-нибудь? Не лучше ли теперь потерпеть? Не лучше ли теперь подождать? Они там — пускай себе как хотят; а я бы сегодня здесь подождал, собрался бы с силами, оправился бы, размыслил получше обо всем этом деле, да потом улучил бы минутку, да всем им как снег на голову, а сам ни в одном глазу». Раздумывая таким образом, господин Голядкин выкуривал трубку за трубкой; время летело; было уже почти половина десятого. «Ведь вот уже половина десятого, — думал господин Голядкин, — и являться-то поздно. Да к тому же я болен, разумеется, болен, непременно болен; кто же скажет, что нет? Что мне! А припшлют свидетельствовать, а пусть придет экзекутор; да и что же мне, в самом деле? У меня вот спина болит, кашель, насморк; да и, наконец, и нельзя мне идти, никак нельзя по этой погоде; я могу заболеть, а потом и умереть, пожалуй; нынче особенно смертность такая...» Такими резонами господин Голядкин успокоил, нако-

нец, вполне свою совесть и заранее оправдался сам перед собою в нагоняе, ожидаемом от Андрея Филипповича за нерадение по службе. Вообще во всех подобных обстоятельствах крайне любил наш герой оправдывать себя в собственных глазах своих разными неотразимыми резонами и успокаивать таким образом вполне свою совесть. И так, успокоив теперь вполне свою совесть, взялся он за трубку, набил ее и, только что начал порядочно раскуривать, — быстро вскочил с дивана, трубку отбросил, живо умылся, обрился, пригладился, натянул на себя вицмундир и все прочее, захватил кое-какие бумаги и полетел в департамент.

Вошел господин Голядкин в свое отделение робко, с трепещущим ожиданием чего-то весьма нехорошего, — ожиданием хотя бессознательным, темным, но вместе с тем и неприятным; робко присел он на свое всегдашнее место возле столоначальника, Антона Антоновича Сеточкина. Ни на что не глядя, не развлекаясь ничем, вникнул он в содержание лежавших перед ним бумаг. Решился он и дал себе слово как можно сторониться от всего вызывающего, от всего могущего сильно его компрометировать, как-то: от нескромных вопросов, от чьих-нибудь шуточек и неприличных намеков насчет всех обстоятельств вчерашнего вечера; решился даже отстраниться от обычных учтивостей с сослуживцами, то есть вопросов о здоровье и прочее. Но очевидно тоже, что так оставаться было нельзя, невозможно. Беспокойство и неведение о чем-нибудь, близко его задевающим, всегда его мучило более, нежели самое задевающее. И вот почему, несмотря на данное себе слово не входить ни во что, что бы ни делалось, и сторониться от всего, что бы ни было, господин Голядкин изредка, украдкой, тихонько-тихонько приподымал голову и исподтишка поглядывал на стороны, направо, налево, заглядывал в физиономии своих сослуживцев и по ним уже старался заключить, нет ли чего нового и особенно-го, до него относящегося и от него с какими-нибудь неблагоприятными целями скрываемого. Предполагал он непременно связь всего своего вчерашнего обстоятельства со всем теперь его окружающим. Наконец, в тоске своей, он начал желать, чтоб хоть бог знает как, да только разрешилось бы все поскорее, хоть и бедой какой-нибудь — нужды нет! Как тут судьба поймала господина Голядкина: не успел он пожелать, как сомнения его вдруг разрешились, но зато самым странным и самым неожиданным образом.

Дверь из другой комнаты вдруг скрипнула тихо и робко, как бы рекомендуя тем, что входящее лицо весьма незначительно, и чья-то фигура, впрочем весьма знакомая господину Голядкину, застенчиво явилась перед самым тем столом, за которым помещался герой наш. Герой наш не подымал головы, — нет, он глядел на эту фигуру лишь вскользь, самым маленьким взглядом, но уже все узнал, понял все, до малейших подробностей. Он сгорел от стыда и уткнул в бумагу свою

победную голову, совершенно с тою же самою целью, с которою страус, преследуемый охотником, прячет свою в горячий песок. Новоприбывший поклонился Андрею Филипповичу, и вслед за тем послышался голос форменно-ласковый, такой, каким говорят начальники во всех служебных местах с новопоступившими подчиненными. «Сядьте вот здесь, — проговорил Андрей Филиппович, указывая новичку на стол Антона Антоновича, — вот здесь, напротив господина Голядкина, а делом мы вас тотчас займем». Андрей Филиппович заключил тем, что сделал новоприбывшему скорый прилично-увещательный жест, а потом немедленно углубился в сущность разных бумаг, которых перед ним была целая куча.

Господин Голядкин поднял, наконец, глаза, и если не упал в обморок, то единственно оттого, что уже сперва все дело предчувствовал, что уже сперва был обо всем предуведомлен, угадав пришельца в душе. Первым движением господина Голядкина было быстро осмотреться кругом, — нет ли там какого шушуканья, не отливается ли на этот счет какая-нибудь острота канцелярская, не искривилось ли чье лицо удивлением, не упал ли, наконец, кто-нибудь под стол от испуга. Но, к величайшему удивлению господина Голядкина, ни в ком не обнаружилось ничего подобного. Поведение господ товарищей и сослуживцев господина Голядкина поразило его. Оно казалось вне здравого смысла. Господин Голядкин даже испугался такого необыкновенного молчания. Существенность за себя говорила; дело было странное, безобразное, дикое. Было от чего шевельнуться. Все это, разумеется, только мелькнуло в голове господина Голядкина. Сам же он горел на мелком огне. Да и было от чего, впрочем. Тот, кто сидел теперь напротив господина Голядкина, был — ужас господина Голядкина, был — стыд господина Голядкина, был — вчерашний кошмар господина Голядкина, одним словом был сам господин Голядкин, — не тот господин Голядкин, который сидел теперь на стуле с разинутым ртом и с застывшим пером в руке; не тот, который служил в качестве помощника своего столоначальника; не тот, который любит стушеваться и зарываться в толпе; не тот, наконец, чья походка ясно выговаривает: «не троньте меня, и я вас трогать не буду», или: «не троньте меня, ведь я вас не затрагиваю», — нет, это был другой господин Голядкин, совершенно другой, но вместе с тем и совершенно похожий на первого, — такого же роста, такого же склада, так же одетый, с такой же лысиной, — одним словом, ничего, решительно ничего не было забыто для совершенного сходства, так что если б взять да поставить их рядом, то никто, решительно никто не взял бы на себя определить, который именно настоящий Голядкин, а который поддельный, кто старенький и кто новенький, кто оригинал и кто копия.

Герой наш, если возможно сравнение, был теперь в положении человека, над которым забавлялся проказник какой-нибудь, для шутки на-

водя на него исподтишка зажигательное стекло. «Что же это, сон или нет, — думал он, — настоящее или продолжение вчерашнего. Да как же? по какому же праву все это делается? кто разрешил такого чиновника, кто дал право на это? Сплю ли я, грежу ли я?» Господин Голядкин попробовал ущипнуть самого себя, даже попробовал вознамериться ущипнуть другого кого-нибудь... Нет, не сон, да и только. Господин Голядкин почувствовал, что пот с него градом льется, что сбывается с ним небывалое и доселе невиданное, и по тому самому, к довершению несчастья, неприличное, ибо господин Голядкин понимал и ощущал всю невыгоду быть в таком пасквильном деле первым примером. Он даже стал, наконец, сомневаться в собственном существовании своем, и хотя заранее был ко всему приготовлен и сам желал, чтоб хоть каким-нибудь образом разрешились его сомнения, но самая-то сущность обстоятельства, уж конечно, стояла неожиданности. Тоска его давила и мучила. Порой он совершенно лишался и смысла и памяти. Очнувшись после такого мгновения, он замечал, что машинально и бессознательно водит пером по бумаге. Не доверяя себе, он начинал проверять все написанное — и не понимал ничего. Наконец другой господин Голядкин, сидевший до сих пор чинно и смиренно, встал и исчез в дверях другого отделения за каким-то делом. Господин Голядкин оглянулся кругом, — ничего, все тихо; слышен лишь скрип перьев, шум переворачиваемых листов и говор в уголках поотдаленнее от седалища Андрея Филипповича. Господин Голядкин взглянул на Антона Антоновича, и так как, по всей вероятности, физиономия нашего героя вполне отзывалась его настоящим и гармонировала со всем смыслом дела, следовательно в некотором отношении была весьма замечательна, то добрый Антон Антонович, отложив перо в сторону, с каким-то необыкновенным участием осведомился о здоровье господина Голядкина.

— Я, Антон Антонович, славу богу, — заикаясь, проговорил господин Голядкин. — Я, Антон Антонович, совершенно здоров; я, Антон Антонович, теперь ничего, — прибавил он нерешительно, не совсем еще доверяя часто поминаемому им Антону Антоновичу.

— А! А мне показалось, что вы нездоровы; впрочем, немудрено, чего доброго! Нынче же, особенно, все такие поветрия. Знаете ли...

— Да, Антон Антонович, я знаю, что существуют такие поветрия... Я, Антон Антонович, не оттого, — продолжал господин Голядкин, пристально вглядываясь в Антона Антоновича, — я, видите ли, Антон Антонович, даже не знаю, как вам, то есть я хочу сказать, с которой стороны за это дело приняться, Антон Антонович...

— Что-с? Я вас... знаете ли... я, признаюсь вам, не так-то хорошо понимаю; вы... знаете, вы объяснитесь подробнее, в каком отношении вы здесь затрудняетесь, — сказал Антон Антонович, сам затрудняясь немножко, видя, что у господина Голядкина даже слезы на глазах выступили.

— Я, право... здесь, Антон Антонович... тут — чиновник, Антон Антонович...

— Ну-с! Все еще не понимаю.

— Я хочу сказать, Антон Антонович, что здесь есть новопоступивший чиновник.

— Да-с, есть-с; однофамилец ваш.

— Как? — вскрикнул господин Голядкин.

— Я говорю: ваш однофамилец; тоже Голядкин. Не братец ли ваш?

— Нет-с, Антон Антонович, я...

— Гм! скажите пожалуйста, а мне показалось, что, должно быть, близкий ваш родственник. Знаете ли, есть такое, фамильное в некотором роде, сходство.

Господин Голядкин остолебел от изумления, и на время у него язык отнялся. Так легко трактовать такую безобразную, невиданную вещь, вещь действительно редкую в своем роде, вещь, которая поразила бы даже самого неинтересованного наблюдателя, говорить о фамильном сходстве тогда, когда тут видно, как в зеркале!

— Я, знаете ли, что посоветую вам, Яков Петрович, — продолжал Антон Антонович. — Вы сходите-ка к доктору да посоветуйтесь с ним. Знаете ли, вы как-то *выглядите* совсем нездорово. У вас глаза особенно... знаете, особенное какое-то выражение есть.

— Нет-с, Антон Антонович, я, конечно, чувствую... то есть я хочу все спросить, как же этот чиновник?

— Ну-с?

— То есть вы не замечали ли, Антон Антонович, чего-нибудь в нем особенного... слишком чего-нибудь выразительного?

— То есть?

— То есть я хочу сказать, Антон Антонович, поразительного сходства такого с кем-нибудь, например, то есть со мной, например. Вы вот сейчас, Антон Антонович, сказали про фамильное сходство, замечание вскользь сделали... Знаете ли, этак иногда близнецы бьются, то есть совершенно как две капли воды, так что и отличить нельзя? Ну, вот я про это-с.

— Да-с, — сказал Антон Антонович, немного подумав и как будто в первый раз пораженный таким обстоятельством, — да-с! справедливо-с. Сходство в самом деле разительное, и вы безошибочно рассудили, так что и действительно можно принять одного за другого, — продолжал он, более и более открывая глаза. — И знаете ли, Яков Петрович, это даже чудесное сходство, фантастическое, как иногда говорится, то есть совершенно, как вы... Вы заметили ли, Яков Петрович? Я даже сам хотел просить у вас объяснения, да, признаюсь, не обратил должного внимания сначала. Чудо, действительно чудо! А знаете ли, Яков Петрович, вы ведь не здешний родом, я говорю?

— Нет-с.

— Он также ведь не из здешних. Может быть, из одних с вами мест. Ваша матушка, смею спросить, где большею частию проживала?

— Вы сказали... вы сказали, Антон Антонович, что он не из здешних?

— Да-с, не из здешних мест. А, и в самом деле, как же это чудно, — продолжал словоохотливый Антон Антонович, которому поболтать о чем-нибудь было истинным праздником, — действительно способно завлечь любопытство; и ведь как часто мимо пройдешь, заденешь, толкнешь его, а не заметишь. Впрочем, вы не смущайтесь. Это бывает. Это, знаете ли — вот я вам расскажу, то же самое случилось с моей тетушкой с матерней стороны; она тоже перед смертью себя вдвойне видела...

— Нет-с, я, — извините, что прерываю вас, Антон Антонович, — я, Антон Антонович, хотел бы узнать, как же этот чиновник, то есть на каком он здесь основании?

— А на место Семена Ивановича покойника, на вакантное место; вакансия открылась, так вот и заместили. Ведь вот, право, сердечный этот Семен-то Иванович покойник троих детей, говорят, оставил — мал мала меньше. Вдова падала к ногам его превосходительства. Говорят, впрочем, она таит: у ней есть деньжонки, да она их таит...

— Нет-с, я, Антон Антонович, я вот все о том обстоятельстве.

— То есть? Ну, да! да что же вы-то так интересуетесь этим? Говорю вам: вы не смущайтесь. Это все временное отчасти. Что ж? ведь вы сторона; это уж так сам Господь Бог устроил, это уж его воля была, и роптать на это грешно. На этом его премудрость видна. А вы же тут, Яков Петрович, сколько я понимаю, не виноваты нисколько. Мало ли чудес есть на свете! Мать-природа щедра; а с вас за это ответа не спросят, отвечать за это не будете. Ведь вот, для примера, кстати сказать, слышали, надеюсь, как их, как бишь их там, да, сямские близнецы, срослись себе спинами, так и живут, и едят, и спят вместе; деньги, говорят, большие берут.

— Позвольте, Антон Антонович...

— Понимаю вас, понимаю! Да! ну да что ж? — ничего! Я говорю по крайнему моему разумению, что смущаться тут нечего. Что ж? он чиновник как чиновник, кажется, что деловой человек. Говорит, что Голядкин; не из здешних мест, говорит, титулярный советник. Лично с его превосходительством объяснялся.

— А ну, как же-с?

— Ничего-с; говорят, что достаточно объяснился, резоны представил; говорит, что вот, дескать, так и так, ваше превосходительство, и что нет состояния, а желаю служить и особенно под вашим лестным начальством... ну, и там все, что следует, знаете ли, ловко все выразил.

Умный человек, должно быть. Ну, разумеется, явился с рекомендацией; без нее ведь нельзя...

— Ну-с, от кого же-с... то есть я хочу сказать, кто тут именно в это срамное дело руку свою замешал?

— Да-с. Хорошая, говорят, рекомендация; его превосходительство, говорят, посмеялись с Андреем Филипповичем.

— Посмеялись с Андреем Филипповичем?

— Да-с; только так улыгнулись и сказали, что хорошо, и пожалуй, и что они с их стороны не прочь, только бы верно служил...

— Ну-с, дальше-с. Вы меня оживляете отчасти, Антон Антонович; умоляю вас — дальше-с.

— Позвольте, я опять что-то вас... Ну-с, да-с; ну, и ничего-с; обстоятельство немудреное; вы, я вам говорю, не смущайтесь, и сумнительного в этом нечего находить...

— Нет-с. Я, то есть, хочу спросить вас, Антон Антонович, что его превосходительство ничего больше не прибавили... насчет меня, например?

— То есть как же-с! Да-с! Ну, нет, ничего; можете быть совершенно спокойны. Знаете, оно, конечно, разумеется, обстоятельство довольно разительное, и сначала... да вот я, например, сначала я и не заметил почти. Не знаю, право, отчего не заметил до тех пор, покамест вы не напомнили. Но, впрочем, можете быть совершенно спокойны. Ничего особенного, ровно ничего не сказали, — прибавил добренький Антон Антонович, вставая со стула.

— Так вот-с я, Антон Антонович...

— Ах, вы меня извините-с. Я и так о пустяках проболтал, а вот дело есть важное, спешное. Нужно вот справиться.

— Антон Антонович! — раздался учтиво-призывный голос Андрея Филипповича. — Его превосходительство спрашивал.

— Сейчас, сейчас, Андрей Филиппович, сейчас иду-с. — И Антон Антонович, взяв в руки кучку бумаг, полетел сначала к Андрею Филипповичу, а потом в кабинет его превосходительства.

«Так как же это? — думал про себя господин Голядкин. — Так вот у нас игра какова! Так вот у нас какой ветерок теперь подует... Это недурно; это, стало быть, наиприятнейший оборот дела приняли, — говорил про себя герой наш, потирая руки и не слыша под собою стула от радости. — Так дело-то наше — обыкновенное дело. Так все пустячками кончается, ничем разрешается. В самом деле, никто ничего, и не пикнут, разбойники, сидят и делами занимаются; славно, славно! я доброго человека люблю, любил и всегда готов уважать... Впрочем, ведь оно и того, как подумать, этот Антон-то Антонович... доверяться-то страшно: сед чересчур и от старости покачнулся порядком. Самое, впрочем, славное и громадное дело то, что его превосходительство ничего не сказали и так пропустили: оно хорошо! одо-

бряю! Только Андрей-то Филиппович чего ж тут с своими смешками мешается? Ему-то тут что? Старая петля! всегда на пути моем, всегда черной кошкой норовит перебежать человеку дорогу, всегда-то поперек да в пику человеку; человеку-то в пику да поперек...»

Господин Голядкин опять оглянулся крутом и опять оживился надеждой. Чувствовал он, впрочем, что его все-таки смущает одна отдаленная мысль, какая-то недобрая мысль. Ему даже пришло было в голову самому как-нибудь подбиться к чиновникам, забежать вперед зайцем, даже (там как-нибудь при выходе из должности или подойдя как будто бы за делами) между разговором, и намекнуть, что вот, дескать, господа, так и так, вот такое-то сходство разительное, обстоятельство странное, комедия пасквильная, — то есть подтрунить самому над всем этим, да и зондировать таким образом глубину опасности. А то ведь в тихом-то омуте черти водятся, мысленно заключил наш герой. Впрочем, господин Голядкин это только подумал; зато одумался вовремя. Понял он, что это значит махнуть далеко. «Натура-то твоя такова! — сказал он про себя, щелкнув себя легонько по лбу рукою. — Сейчас заиграешь, обрадовался! душа ты правдивая! Нет, уж лучше мы с тобой потерпим, Яков Петрович, подождем да потерпим!» Тем не менее, и как мы уже упомянули, господин Голядкин возродился полной надеждой, точно из мертвых воскрес. «Ничего, — думал он, — словно пятьсот пудов с груди сорвалось! Ведь вот обстоятельство! А ларчик-то просто ведь открывался. Крылов-то и прав, Крылов-то и прав... дока, петля этот Крылов и баснописец великий! А что до того, так пусть его служит, пусть его служит себе на здоровье, лишь бы никому не мешал и никого не затрогивал; пусть его служит, — согласен и аппробую!»¹

А между тем часы проходили, летели, и незаметно стукнуло четыре часа. Присутствие закрылось; Андрей Филиппович взялся за шляпу, и, как водится, все последовали его примеру. Господин Голядкин помедлил немножко, нужное время, и вышел нарочно позже всех, самым последним, когда уже все разбрелись по разным дорогам. Вышел на улицу, он почувствовал себя точно в раю, так, что даже ощутил желание хоть и крюку дать, а пройтись по Невскому. «Ведь вот судьба! — говорил наш герой. — Неожиданный переворот всего дела. И погода-то разгулялась, и морозец, и саночки. А мороз-то годится русскому человеку, славно уживается с морозом русский человек! Я люблю русского человека. И снежок и первая пороша, как сказал бы охотник; вот бы тут зайца по первой пороше! Эхма! да ну, ничего!»

Так-то выражался восторг господина Голядкина, а между тем что-то все еще щекотало у него в голове, тоска не тоска, — а порой так сердце насыщало, что господин Голядкин не знал, чем утешить себя.

¹ Аппробую (*франц.* approbation) — одобряю.

«Впрочем, подождем-ка мы дня, и тогда будем радоваться. А впрочем, ведь что же такое? Ну, рассудим, посмотрим. Ну, давай рассуждать, молодой друг мой, ну, давай рассуждать. Ну, такой же, как и ты, человек, во-первых, совершенно такой же. Ну, да что ж тут такого? Коли такой человек, так мне и плакать? Мне-то что? Я в стороне; свищу себе, да и только! На то пошел, да я только! Пусть его служит! Ну, чудо и странность, там говорят, что сямские близнецы... Ну, да зачем их, сямских-то? положим, они близнецы, но ведь и великие люди подчас чудаками смотрели. Даже из истории известно, что знаменитый Суворов пел петухом... Ну, да он там это все из политики; и великие полководцы... да, впрочем, что ж полководцы? А вот я сам по себе, да и только, и знать никого не хочу, и в невинности моей врага презираю. Не интригант, и этим горжусь. Чист, прямодушен, опрятен, приятен, незлобив...»

Вдруг господин Голядкин умолк, осекся и как лист задрожал, даже закрыл глаза на мгновение. Надеясь, впрочем, что предмет его страха просто иллюзия, открыл он, наконец, глаза и робко покосился направо. Нет, не иллюзия!.. Рядом с ним семенил утренний знакомец его, улыбался, заглядывал ему в лицо и, казалось, ждал случая начать разговор. Разговор, впрочем, не начинался. Оба они прошли шагов пятьдесят таким образом. Все старание господина Голядкина было как можно плотнее закутаться, зарыться в шинель и нахлобучить на глаза шляпу до последней возможности. К довершению обиды даже и шинель и шляпа его приятеля были точно такие же, как будто сейчас с плеча господина Голядкина.

— Милостивый государь, — произнес, наконец, наш герой, стараясь говорить почти шепотом и не глядя на своего приятеля, — мы, кажется, идем по разным дорогам... Я даже уверен в этом, — сказал он, помолчав немножко. — Наконец, я уверен, что вы меня поняли совершенно, — довольно строго прибавил он в заключение.

— Я бы желал, — проговорил, наконец, приятель господина Голядкина, — я бы желал... вы, вероятно, великодушно извините меня... я не знаю, к кому обратиться здесь... мои обстоятельства, — я надеюсь, что вы извините мне мою дерзость, — мне даже показалось, что вы, движимые состраданием, принимали во мне сегодня утром участие. С своей стороны, я с первого взгляда почувствовал к вам влечение, я... — Тут господин Голядкин мысленно пожелал своему новому сослуживцу провалиться сквозь землю. — Если бы я смел надеяться, что вы, Яков Петрович, меня снисходительно изволите выслушать...

— Мы — мы здесь — мы... лучше пойдемте ко мне, — отвечал господин Голядкин, — мы теперь перейдем на ту сторону Невского, там нам будет удобнее с вами, а потом переулочком... мы лучше возьмем переулочком.

— Хорошо-с. Пожалуй, возьмем переулочком-с, — робко сказал смиренный спутник господина Голядкина, как будто намекая тоном ответа, что где ему разбирать и что, в его положении, он и переулочком готов удовольствоваться. Что же касается до господина Голядкина, то он совершенно не понимал, что с ним делалось. Он не верил себе. Он еще не опомнился от своего изумления.

ГЛАВА VII

Опомнился он немного на лестнице, при входе в квартиру свою. «Ах, я баран-голова! — ругнул он себя мысленно. — Ну, куда ж я веду его? Сам я голову в петлю кладу. Что же подумает Петрушка, увидя нас вместе? Что этот мерзавец теперь подумать осмелится? а он подозрителен...» Но уже поздно было раскаиваться; господин Голядкин постучался, дверь отворилась, и Петрушка начал снимать шинели с гостя и барина. Господин Голядкин посмотрел вскользь, так только бросил мельком взгляд на Петрушку, стараясь проникнуть в его физиономию и разгадать его мысли. Но, к величайшему своему удивлению, увидел он, что служитель его и не думает удивляться и даже, напротив, словно ждал чего-то подобного. Конечно, он и теперь смотрел волком, косил на сторону и как будто кого-то съесть собирался. «Уж не околдовал ли их кто всех сегодня, — думал герой наш, — бес какой-нибудь обежал! Непременно что-нибудь особенное должно быть во всем народе сегодня. Черт возьми, экая мука какая!» Вот все-то таким образом думая и раздумывая, господин Голядкин ввел гостя к себе в комнату и пригласил покорно садиться. Гость был в крайнем, по-видимому, замешательстве, очень робел, покорно следил за всеми движениями своего хозяина, ловил его взгляды и по ним, казалось, старался угадать его мысли. Что-то униженное, забитое и запутанное выражалось во всех жестах его, так что он, если позволит сравнение, довольно походил в эту минуту на того человека, который, за неимением своего платья, оделся в чужое: рукава лезут наверх, талия почти на затылке, а он то поминутно оправляет на себе короткий жилетик, то виляет бочком и сторонится, то норовит куда-нибудь спрятаться, то заглядывает всем в глаза и прислушивается, не говорят ли чего люди о его обстоятельствах, не смеются ли над ним, не стыдятся ли его, — и краснеет человек, и теряется человек, и страдает амбиция... Господин Голядкин поставил свою шляпу на окно; от неосторожного движения шляпа его слетела на пол. Гость тотчас же бросился ее поднимать, счистил всю пыль, бережно поставил на прежнее место, а свою на полу, возле стула, на краюшке которого смиренно сам поместился. Это маленькое обстоятельство открыло отчасти глаза господину Голядкину; понял он, что нужда в нем великая, и потому не стал более затрудняться, как начать с своим гостем, предоставив это все, как и следовало, ему самому. Гость

же, с своей стороны, тоже не начинал ничего, робел ли, стыдился ли немножко, или из учтивости ждал начина хозяйского, — неизвестно, разобрать было трудно. В это время вошел Петрушка, остановился в дверях и уставился глазами в сторону, совершенно противоположную той, в которой помещались и гость и барин его.

— Обеда две порции прикажете брать? — проговорил он небрежно и сиповатым голосом.

— Я, я не знаю... вы — да, возьми, брат, две порции.

Петрушка ушел. Господин Голядкин взглянул на своего гостя. Гость его покраснел до ушей. Господин Голядкин был добрый человек и потому, по доброте души своей, тотчас же составил теорию:

«Бедный человек, — думал он, — да и на месте-то всего один день; в свое время пострадал, вероятно; может быть, только и добра-то, что приличное платишко, а самому и пообедать-то нечем. Эх его, какой он забитый! Ну, ничего; это отчасти и лучше...»

— Извините меня, что я, — начал господин Голядкин, — впрочем, позвольте узнать, как мне звать вас?

— Я... Я... Яков Петровичем, — почти прошептал гость его, словно совестясь и стыдясь, словно прощения прося в том, что и его зовут тоже Яковом Петровичем.

— Яков Петрович! — повторил наш герой, не в силах будучи скрыть своего смущения.

— Да-с, точно так-с... Тезка вам-с, — отвечал смиренный гость господина Голядкина, осмеливаясь улыбнуться и сказать что-нибудь пошутливее. Но тут же и оселся назад, приняв вид самый серьезный и немного, впрочем, смущенный, замечая, что хозяину его теперь не до шуточек.

— Вы... позвольте же вас спросить, по какому случаю имею я честь...

— Зная ваше великодушие и добродетели ваши, — быстро, но робким голосом прервал его гость, немного приподымаясь со стула, — осмелился я обратиться к вам и просить вашего... знакомства и покровительства... — заключил его гость, очевидно, затрудняясь в своих выражениях и выбирая слова не слишком льстивые и унижительные, чтоб не скомпрометировать себя в отношении амбиции, но и не слишком смелые, отзывающиеся неприличным равенством. Вообще можно сказать, что гость господина Голядкина вел себя как благородный нищий в заштопанном фраке и с благородным паспортом в кармане, не напрактиковавшийся еще как следует протягивать руку.

— Вы смущаете меня, — отвечал господин Голядкин, оглядывая себя, свои стены и гостя, — чем же я мог бы... я, то есть, хочу сказать, в каком именно отношении могу я вам услужить в чем-нибудь?

— Я, Яков Петрович, почувствовал к вам влечение с первого взгляда и, простите меня великодушно, на вас понадеялся, — осмелил-

ся понадеяться, Яков Петрович. Я... я человек здесь затерянный, Яков Петрович, бедный, пострадал весьма много, Яков Петрович, и здесь еще внове. Узнав, что вы, при обыкновенных, врожденных вам качествах вашей прекрасной души, однофамилец мой...

Господин Голядкин поморщился.

— Однофамилец мой и родом из одних со мной мест, решился я обратиться к вам и изложить вам затруднительное мое положение.

— Хорошо-с, хорошо-с; право, я не знаю, что вам сказать, — отвечал смущенным голосом господин Голядкин, — вот, после обеда, мы потолкуем...

Гость поклонился; обед принесли. Петрушка собрал на стол, — и гость вместе с хозяином принялись насыщать себя. Обед продолжался недолго; оба они торопились, — хозяин потому, что был не в обыкновенной тарелке своей, да к тому же и совестился, что обед был дурной, — совестился же отчасти оттого, что хотелось гостя хорошо покормить, а частью оттого, что хотелось показать, что он не как нищий живет. С своей стороны, гость был в крайнем смущении и крайне конфузился. Взяв один раз хлеба и съев свой ломоть, он уже боялся протягивать руку к другому ломтю, совестился брать кусочки получше и поминутно уверял, что он вовсе не голоден, что обед был прекрасный и что он, с своей стороны, совершенно доволен и по гроб будет чувствовать. Когда еда кончилась, господин Голядкин закурил свою трубочку, предложил другую, заведенную для приятеля, гостю, — оба уселись друг против друга, и гость начал рассказывать свои приключения.

Рассказ господина Голядкина-младшего продолжался часа три или четыре. История приключений его была, впрочем, составлена из самых пустейших, из самых мизернейших, если можно сказать, обстоятельств. Дело шло о службе где-то в палате в губернии, о прокурорах и председателях, о кое-каких канцелярских интригах, о разврате души одного из повытчиков, о ревизоре, о внезапной перемене начальства, о том, как господин Голядкин-второй пострадал совершенно безвинно; о престарелой тетушке его, Пелагее Семеновне; о том, как он, по разным интригам врагов своих, места лишился и пешком пришел в Петербург; о том, как он маялся и горе мыкал здесь, в Петербурге, как бесплодно долгое время места искал, прожился, исхарчился, жил чуть не на улице, ел черствый хлеб и запивал его слезами своими, спал на голом полу и, наконец, как кто-то из добрых людей взялся хлопотать о нем, рекомендовал и великодушно к новому месту пристроил. Гость господина Голядкина плакал, рассказывая, и утирал слезы синим клетчатým платком, весьма походившим на клеенку. Заключение же он тем, что открылся вполне господину Голядкину и признался, что ему не только нечем покамест жить и прилично устроиться, но и обмундироваться-то как следует не на что; что вот, включил он, даже

на сапожишки не мог сколотиться и что вицмундир взят им у кого-то на подержание на малое время.

Господин Голядкин был в умилении, был истинно тронут. Впрочем, и даже несмотря на то, что история его гостя была самая пустая история, все слова этой истории ложились на сердце его, словно манна небесная. Дело в том, что господин Голядкин забывал последние сомнения свои, разрешил свое сердце на свободу и радость и, наконец, мысленно сам себя пожаловал в дураки. Все было так естественно! И было от чего сокрушаться, бить такую тревогу! Ну, есть, действительно есть одно щекотливое обстоятельство, — да ведь оно не беда: оно не может замарать человека, амбицию его запятнать и карьеру его загубить, когда не виноват человек, когда сама природа сюда замешалась. К тому же гость просил покровительства, гость плакал, гость судьбу обвинял, казался таким незатейливым, без злобы и хитростей, жалким, ничтожным и, кажется, сам теперь совестился, хотя, может быть, и в другом отношении, странным сходством лица своего с хозяйским лицом. Вел он себя донельзя благонадежно, так и смотрел угодить своему хозяину и смотрел так, как смотрит человек, который терзается угрызениями совести и чувствует, что виноват перед другим человеком. Заходила ли, например, речь о каком-нибудь сомнительном пункте, гость тотчас же соглашался с мнением господина Голядкина. Если же как-нибудь, по ошибке, заходил мнением своим в контру господину Голядкину и потом замечал, что сбился с дороги, то тотчас же поправлял свою речь, объяснялся и давал немедленно знать, что он все понимает точно таким же образом, как хозяин его, мыслит так же, как он, и смотрит на все совершенно такими же глазами, как и он. Одним словом, гость употреблял всевозможные усилия «найти» в господине Голядкине, так что господин Голядкин решил, наконец, что гость его должен быть весьма любезный человек во всех отношениях. Между прочим, подали чай; час был девятый. Господин Голядкин чувствовал себя в прекрасном расположении духа, развеселился, разыгрался, расходился понемножку и пустился, наконец, в самый живой и занимательный разговор с своим гостем. Господин Голядкин, под веселую руку, любил иногда рассказать что-нибудь интересное. Так и теперь: рассказал гостю много о столице, об увеселениях и красотах ее, о театре, о клубах, о картине Брюллова; о том, как два англичанина приехали нарочно из Англии в Петербург, чтоб посмотреть на решетку Летнего сада, и тотчас уехали; о службе, об Олсуфье Ивановиче и об Андрее Филипповиче; о том, что Россия с часу на час идет к совершенству и что тут

Словесные науки днесь цветут;

об анекдотце, прочитанном недавно в «Северной пчеле», и что в Индии есть змея удав необыкновенной силы; наконец, о бароне Брамбеусе и т.д. и т.д. Словом, господин Голядкин вполне был доволен,

во-первых, потому, что был совершенно спокоен; во-вторых, что не только не боялся врагов своих, но даже готов был теперь всех их вызывать на самый решительный бой; в-третьих, что сам своею особою оказывал покровительство и, наконец, делал доброе дело. Сознавался он, впрочем, в душе своей, что еще не совсем счастлив в эту минуту, что сидит в нем еще один червячок, самый маленький, впрочем, и точит даже и теперь его сердце. Мучило крайне его воспоминание о вчерашнем вечере у Олсуфья Ивановича. Много бы дал он теперь, если б не было кой-чего из того, что было вчера. «Впрочем, ведь оно ничего!» — заключил, наконец, наш герой и решил твердо в душе вести себя вперед хорошо и не впадать в подобные промахи. Так как господин Голядкин теперь расходился вполне и стал вдруг почти совершенно счастлив, то вздумалось ему даже и пожуривать жизнь. Принесен был Петрушкою ром, и составилась пунш. Гость и хозяин осушили по стакану и по два. Гость оказался еще любезнее прежнего и с своей стороны показал не одно доказательство прямодушия и счастливого характера своего, сильно входил в удовольствие господина Голядкина, казалось, радовался только одному его радостью и смотрел на него, как на истинного и единственного своего благодетеля. Взяв перо и листочек бумажки, он попросил господина Голядкина не смотреть на то, что он будет писать, и потом, когда кончил, сам показал хозяину своему все написанное. Оказалось, что это было четверостишие, написанное довольно чувствительно, впрочем прекрасным слогом и почерком, и, как видно, сочинение самого любезного гостя. Стишки были следующие:

Если ты меня забудешь,
Не забуду я тебя;
В жизни может все случиться,
Не забудь и ты меня!

Со слезами на глазах обнял своего гостя господин Голядкин и, расчувствовавшись, наконец, вполне, сам посвятил своего гостя в некоторые секреты и тайны свои, причем речь сильно напиралась на Андрея Филипповича и на Клару Олсуфьевну. «Ну, да ведь мы с тобой, Яков Петрович, сойдемся, — говорил наш герой своему гостю, — мы с тобой, Яков Петрович, будем жить, как рыба с водой, как братья родные; мы, дружище, будем хитрить, заодно хитрить будем; с своей стороны будем интригу вести в пику им... в пику-то им интригу вести. А им-то ты никому не вверяйся. Ведь я тебя знаю, Яков Петрович, и характер твой понимаю; ведь ты как раз все расскажешь, душа ты правдивая! Ты, брат, сторонись от них всех». Гость вполне соглашался, благодарил господина Голядкина и тоже, наконец, прослезился. «Ты знаешь ли, Яша, — продолжал господин Голядкин дрожащим, расслабленным голосом, — ты, Яша, поселись

у меня на время или навсегда поселись. Мы сойдемся. Что, брат, тебе, а? А ты не смущайся и не ропщи на то, что вот между нами такое странное теперь обстоятельство: роптать, брат, грешно; это природа! А мать-природа щедра, вот что, брат Яша! Любя тебя, братски любя тебя, говорю. А мы с тобой, Яша, будем хитрить и с своей стороны подкопы вести, и носы им утрем». Пунш, наконец, дошел до третьих и четвертых стаканов на брата, и тогда господин Голядкин стал испытывать два ощущения: одно то, что необыкновенно счастлив, а другое — что уже не может стоять на ногах. Гость, разумеется, был приглашен ночевать. Кровать была кое-как составлена из двух рядов стульев. Господин Голядкин-младший объявил, что под дружеским кровом мягко спать и на голом полу, что, с своей стороны, он заснет, где придется, с покорностью и признательностью; что теперь он в раю и что, наконец, он много перенес на своем веку несчастий и горя, на все посмотрел, всего перетерпел и — кто знает будущность? — может быть, еще перетерпит. Господин Голядкин-старший протестовал против этого и начал доказывать, что нужно возложить всю надежду на Бога. Гость вполне соглашался и говорил, что, разумеется, никто таков, как бог. Тут господин Голядкин-старший заметил, что турки правы в некотором отношении, призывая даже во сне имя божие. Потом, не соглашаясь, впрочем, с иными учеными в иных клеветах, взводимых на турецкого пророка Мухаммеда, и признавая его в своем роде великим политиком, господин Голядкин перешел к весьма интересному описанию алжирской цирюльни, о которой читал в какой-то книжке в смеси. Гость и хозяин много смеялись над простодушием турков; впрочем, не могли не отдать должной дани удивления их фанатизму, возбуждаемому опиумом... Гость стал, наконец, раздеваться, а господин Голядкин вышел за перегородку, частично по доброте души, что, может быть, дескать, у него и рубашки-то порядочной нет, так чтоб не сконфузить и без того уже пострадавшего человека, а частично для того, чтоб увериться по возможности в Петрушке, испытать его, развеселить, если можно, и приласкать человека, чтоб уж все были счастливы и чтоб не оставалось на столе просыпанной соли. Нужно заметить, что Петрушка все еще немного смущал господина Голядкина.

— Ты, Петр, ложись теперь спать, — кротко сказал господин Голядкин, входя в отделение своего служителя, — ты теперь ложись спать, а завтра в восемь часов ты меня и разбуди. Понимаешь, Петруша?

Господин Голядкин говорил необыкновенно мягко и ласково. Но Петрушка молчал. Он в это время возился около своей кровати и даже не обернулся к своему барину, что бы должен был сделать, впрочем, из одного к нему уважения.

— Ты, Петр, меня слышал? — продолжал господин Голядкин. — Ты вот теперь ложись спать, а завтра, Петруша, ты и разбуди меня в восемь часов; понимаешь?

— Да уж помню, уж что тут! — проворчал себе под нос Петрушка.

— Ну, то-то, Петруша; я это только так говорю, чтоб и ты был спокоен и счастлив. Вот мы теперь все счастливы, так чтоб и ты был спокоен и счастлив. А теперь спокойной ночи желаю тебе. Усни, Петруша, усни; мы все трудиться должны... Ты, брат, знаешь, не думай чего-нибудь...

Господин Голядкин начал было, да и остановился. «Не слишком ли будет, — подумал он, — не далеко ли я замахнул? Так-то всегда; всегда-то я пересыпаю». Герой наш вышел от Петрушки весьма довольный собою. К тому же грубостью и неподатливостью Петрушки он немного обиделся. «С шельмецом заигрывают, шельмецу барин честь делает, а он не чувствует, — подумал господин Голядкин. — Впрочем, такая уж тенденция подлая у всего этого рода!» Отчасти покачиваясь, воротился он в комнату и, видя, что гость его улегся совсем, присел на минутку к нему на постель. «А ведь признайся, Яша, — начал он шепотом и курныкая головой, — ведь ты, подлец, предо мной виноват? ведь ты, тезка, знаешь, того...» — продолжал он, довольно фамильярно заигрывая с своим гостем. Наконец, распростившись с ним дружески, господин Голядкин отправился спать. Гость между тем захрапел. Господин Голядкин в свою очередь начал ложиться в постель, а между тем, посмеиваясь, шептал про себя: «Ведь ты пьян сегодня, голубчик мой, Яков Петрович, подлец ты такой, Голядка ты этакой, — фамилья твоа такова!! Ну, чему ты обрадовался? Ведь завтра расплачешься, нюня ты этакая: что мне делать с тобой!» Тут довольно странное ощущение отозвалось во всем существе господина Голядкина, что-то похожее на сомнение или раскаяние. «Расходился ж я, — думал он, — ведь вот теперь шумит в голове, и я пьян; и не удержался, дурачина ты этакая! и вздор с три короба намолол да еще хитрить, подлец, собирался. Конечно, прощение и забвение обид есть первейшая добродетель, но все ж оно плохо! вот оно как!» Тут господин Голядкин привстал, взял свечу и на цыпочках еще раз пошел взглянуть на спящего своего гостя. Долго стоял он над ним в глубоком раздумье. «Картина неприятная! пасквиль, чистейший пасквиль, да и дело с концом!»

Наконец господин Голядкин улегся совсем. В голове у него шумело, трещало, звонило. Он стал забываться-забываться... силился было о чем-то думать, вспомнить что-то такое весьма интересное, разрешить что-то такое весьма важное, какое-то щекотливое дело, — но не мог. Сон налетел на его победную голову, и он заснул так, как обыкновенно спят люди, с непривычки употребившие вдруг пять стаканов пунша на какой-нибудь дружеской вечеринке.

ГЛАВА VIII

Как обыкновенно, на другой день господин Голядкин проснулся в восемь часов; проснувшись же, тотчас припомнил все происшествия вчерашнего вечера, — припомнил и поморщился. «Эк я разыгрался вчера каким дураком!» — подумал он, приподымаясь с постели и взглянув на постель своего гостя. Но каково же было его удивление, когда не только гостя, но даже и постели, на которой спал гость, не было в комнате! «Что ж это такое? — чуть не вскрикнул господин Голядкин. — Что ж бы это было такое? Что же означает теперь это новое обстоятельство?» Покамест господин Голядкин, недоумевая, с раскрытым ртом смотрел на опустелое место, скрипнула дверь, и Петрушка вошел с чайным подносом. «Где же, где же?» — проговорил чуть слышным голосом наш герой, указывая пальцем на вчерашнее место, отведенное гостю. Петрушка сначала не отвечал ничего, даже не посмотрел на своего барина, а поворотил свои глаза в угол направо, так что господин Голядкин сам принужден был взглянуть в угол направо. Впрочем, после некоторого молчания Петрушка, сиповатым и грубым голосом, ответил, «что барина дома нет».

— Дурак ты; да ведь я твой барин, Петрушка, — проговорил господин Голядкин прерывистым голосом и во все глаза смотря на своего служителя.

Петрушка ничего не отвечал, но посмотрел так на господина Голядкина, что тот покраснел до ушей, посмотрел с какою-то оскорбительною укоризною, похожею на чистую брань. Господин Голядкин и руки опустил, как говорится. Наконец Петрушка объявил, что *другой* уж часа с полтора как ушел и не хотел дожидаться. Конечно, ответ был вероятен и правдоподобен; видно было, что Петрушка не лгал, что оскорбительный взгляд его и слово *другой*, употребленное им, были лишь следствием всего известного гнусного обстоятельства, но все-таки он понимал, хоть и смутно, что тут что-нибудь да не так и что судьба готовит ему еще какой-то гостинец, не совсем-то приятный. «Хорошо, мы посмотрим, — думал он про себя, — мы увидим, мы своевременно раскусим все это... Ах ты, господи боже мой! — простонал он в заключение уже совсем другим голосом, — и зачем я это приглашал его, на какой конец я все это делал? ведь истинно сам голову сую в петлю их воровскую, сам эту петлю свиваю. Ах ты голова, голова! ведь и утерпеть-то не можешь ты, чтоб не провраться, как мальчишка какой-нибудь, канцелярист какой-нибудь, как бесчиновная дрянь какая-нибудь, тряпка, ветошка гнилая какая-нибудь, сплетник ты этакой, баба ты этакая!.. Святые вы мои! И стишки, шельмец, написал, и в любви ко мне изъяснился! Как бы этак, того... Как бы ему, шельмecu, приличнее на дверь указать, коли воротится? Разумеется, много есть разных оборотов и способов. Так и так, дескать, при моем ограниченном жалованье... Или там припугнуть его как-нибудь, что, дескать, взяв в соображение вот то-то и то-то, при-

нужден изъясниться... дескать, нужно в половине платить за квартиру и стол и деньги вперед отдавать. Гм! нет, черт возьми, нет! Это меня замарает. Оно не совсем деликатно! Разве как-нибудь там вот этак бы сделать: взять бы да и надоумить Петрушку, чтоб Петрушка ему насолил как-нибудь, неглижировал бы с ним как-нибудь, сгрубил ему, да и выжить его таким образом? Стравить бы их этак вместе... Нет, черт возьми, нет! Это опасно, да и опять, если с этакой точки зрения смотреть — ну, да, вовсе нехорошо! Совсем нехорошо! А ну, если он не придет? и это плохо будет? проврался я ему вчера вечером!.. Эх, плохо, плохо! Эх, дело-то наше как плоховато! Ах, я голова, голова окаянная! взбурить-то ты чего следует не можешь себе, резону-то ввоздить туда не можешь себе! Ну, как он придет и откажется? А дай-то господи, если б пришел! Весьма был бы рад я, если б пришел он; много бы дал я, если б пришел...» Так рассуждал господин Голядкин, глотая свой чай и беспрестанно поглядывая на стенные часы. «Без четверти девять теперь; ведь вот уж пора идти. А что-то будет такое; что-то тут будет? Желал бы я знать, что здесь именно особенного такого скрывается, — этак цель, направление и разные там заваyki. Хорошо бы узнать, на что именно метят все эти народы и каков-то будет их первый шаг...» Господин Голядкин не мог долее вытерпеть, бросил недокуренную трубку, оделся и пустился на службу, желая накрыть, если можно, опасность и во всем удостовериться своим личным присутствием. А опасность была: это уж он сам знал, что опасность была. «А вот мы ее... и раскусим, — говорил господин Голядкин, снимая шинель и калоши в передней, — вот мы и проникнем сейчас во все эти дела». Решившись таким образом действовать, герой наш оправился, принял вид приличный и форменный и только что хотел было проникнуть в соседнюю комнату, как вдруг, в самых дверях, столкнулся с ним вчерашний знакомец, друг и приятель его. Господин Голядкин-младший, кажется, не замечал господина Голядкина-старшего, хотя и сошелся с ним почти носом к носу. Господин Голядкин-младший был, кажется, занят, куда-то спешил, запыхался; вид имел такой официальный, такой деловой, что, казалось, всякий мог прямо прочесть на лице его — «командирован по особому поручению...».

— Ах, это вы, Яков Петрович! — сказал наш герой, хватая своего вчерашнего гостя за руку.

— После, после, извините меня, расскажете после, — закричал господин Голядкин-младший, порываясь вперед.

— Однако позвольте; вы, кажется, хотели, Яков Петрович, того-с...

— Что-с? Объясните скорее-с. — Тут вчерашний гость господина Голядкина остановился как бы через силу и нехотя и подставил ухо свое прямо к носу господина Голядкина.

— Я вам скажу, Яков Петрович, что я удивляюсь приему... приему, какого вовсе, по-видимому, не мог бы я ожидать.

— На все есть известная форма-с. Явитесь к секретарю его превосходительства и потом отнесите, как следует, к господину правителю канцелярии. Просьба есть?..

— Вы, я не знаю, Яков Петрович! вы меня просто изумляете, Яков Петрович! вы, верно, не узнаете меня или шутите, по врожденной веселости характера вашего.

— А, это вы! — сказал господин Голядкин-младший, как будто только что сейчас разглядев господина Голядкина-старшего. — Так это вы? Ну, что ж, хорошо ли вы почивали? — Тут господин Голядкин-младший, улыбнувшись немного, — официально и форменно улыбнувшись, хотя вовсе не так, как бы следовало (потому что ведь во всяком случае он одожен же был благодарностью господину Голядкину-старшему), итак, улыбнувшись официально и форменно, прибавил, что он с своей стороны весьма рад, что господин Голядкин хорошо почивал; потом наклонился немного, посеменил немного на месте, поглядел направо, налево, потом опустил глаза в землю, нацелился в боковую дверь и, прошептав скороговоркой, что он по особому поручению, юркнул в соседнюю комнату. Только его и видели.

— Вот-те и штука!.. — прошептал наш герой, остолбенев на мгновение. — Вот-те и штука! Так вот такое-то здесь обстоятельство!.. — Тут господин Голядкин почувствовал, что у него отчего-то заходили мурашки по телу. — Впрочем, — продолжал он про себя, пробираясь в свое отделение, — впрочем, ведь я уже давно говорил о таком обстоятельстве; я уже давно предчувствовал, что он по особому поручению, — именно вот вчера говорил, что непременно по чьему-нибудь особому поручению употреблен человек...

— Окончили вы, Яков Петрович, вчерашнюю вашу бумагу? — спросил Антон Антонович Сеточкин усевшегося подле него господина Голядкина. — У вас здесь она?

— Здесь, — прошептал господин Голядкин, смотря на своего столоначальника отчасти с потерявшимся видом.

— То-то-с. Я к тому говорю, что Андрей Филиппович уже два раза спрашивал. Того и гляди, что его превосходительство потребует...

— Нет-с, она кончена-с...

— Ну-с, хорошо-с.

— Я, Антон Антонович, всегда, кажется, исполнял свою должность как следует и радую о порученных мне начальством делах-с, занимаюсь ими рачительно.

— Да-с. Ну-с, что же вы хотите этим сказать-с?

— Я ничего-с, Антон Антонович. Я только, Антон Антонович, хочу объяснить, что я... то есть я хотел выразить, что иногда неблагонамеренность и зависть не падают никакого лица, ища своей повседневной отвратительной пищи-с...

— Извините, я вас не совсем-то понимаю. То есть на какое лицо вы теперь намекаете?

— То есть я хотел только сказать, Антон Антонович, что я иду прямым путем, а окольным путем ходить презираю, что я не интригант и что сим, если позволено только будет мне выразиться, могу весьма справедливо гордиться...

— Да-с. Это все так-с, и по крайнему моему разумению отдаю полную справедливость рассуждению вашему; но позвольте же и мне вам, Яков Петрович, заметить, что личности в хорошем обществе не совсем позволительны-с; что за глаза я, например, готов внести, — потому что за глаза и кого ж не бранят! — но в глаза, воля ваша, и я, сударь мой, например, себе дерзостей говорить не позволю. Я, сударь мой, поседел на государственной службе и дерзостей на старости лет говорить себе не позволю-с...

— Нет-с, я, Антон Антонович-с, вы, видите ли, Антон Антонович, — вы, кажется, Антон Антонович, меня не совсем-то уразумели-с. А я, помилуйте, Антон Антонович, я с своей стороны могу только за честь поставить-с...

— Да уж и нас тоже прошу извинить-с. Учены мы по-старинному-с. А по-вашему, по-новому, учиться нам поздно. На службе отечеству разумения доселе нам, кажется, доставало. У меня, сударь мой, как вы сами знаете, есть знак за двадцатипятилетнюю беспорочную службу-с...

— Я чувствую, Антон Антонович, я с моей стороны совершенно все это чувствую-с. Но я не про то-с, я про маску говорил, Антон Антонович-с...

— Про маску-с?

— То есть вы опять... я опасаясь, что вы и тут примете в другую сторону смысл, то есть смысл речей моих, как вы сами говорите, Антон Антонович. Я только тему развиваю, то есть пропускаю идею, Антон Антонович, что люди, носящие маску, стали не редки-с и что теперь трудно под маской узнать человека-с...

— Ну-с, знаете ли-с, оно не совсем-то и трудно-с. Иногда и довольно легко-с, иногда и искать недалеко нужно ходить-с.

— Нет-с, знаете ли-с, я, Антон Антонович, говорю-с, про себя говорю, что я, например, маску надеваю, лишь когда нужна в ней бывает, то есть единственно для карнавала и веселых собраний, говоря в прямом смысле, но что не маскируюсь перед людьми каждодневно, говоря в другом, более скрытном смысле-с. Вот что я хотел сказать, Антон Антонович-с.

— Ну, да мы, покамест, оставим все это; да мне же и некогда-с, — сказал Антон Антонович, привстав с своего места и собирая кой-какие бумаги для доклада его превосходительству. — Дело же ваше, как я полагаю, не замедлит своевременно объясниться. Сами же увидите вы, на кого вам пенять и кого обвинять, а затем прошу вас покорнейше

уволить меня от дальнейших частных и вредящих службе объяснений и толков-с...

— Нет-с, я, Антон Антонович, — начал побледневший немного господин Голядкин вслед удаляющемуся Антону Антоновичу, — я, Антон Антонович, того-с, и не думал-с. — «Что же это такое? — продолжал уже про себя наш герой, оставшись один. — Что же это за ветры такие здесь подувают и что означает этот новый крючок?» В то самое время, как потерянный и полуубитый герой наш готовился было разрешить этот новый вопрос, в соседней комнате послышался шум, обнаружилось какое-то деловое движение, дверь отворилась, и Андрей Филиппович, только что перед тем отлучившийся по делам в кабинет его превосходительства, запыхавшись, появился в дверях и кликнул господина Голядкина. Зная, в чем дело, и не желая заставить ждать Андрея Филипповича, господин Голядкин вскочил с своего места и, как следует, немедленно засуетился на чем свет стоит, обготовляя и обихоливая окончательно требуемую тетрадку, да и сам приготавливаясь отправиться, вслед за тетрадкой и Андреем Филипповичем, в кабинет его превосходительства. Вдруг, и почти из-под руки Андрея Филипповича, стоявшего в то время в самых дверях, юркнул в комнату господин Голядкин-младший, суетясь, запыхавшись, загонявшись на службе, с важным решительно-форменным видом, и прямо подкатился к господину Голядкину-старшему, менее всего ожидавшему подобного нападения...

— Бумаги, Яков Петрович, бумаги... его превосходительство изволили спрашивать, готовы ль у вас? — защебетал вполголоса и скороговоркой приятель господина Голядкина-старшего. — Андрей Филиппович вас ожидает...

— Знаю и без вас, что ожидают, — проговорил господин Голядкин-старший тоже скороговоркой и шепотом.

— Нет, я, Яков Петрович, не то; я, Яков Петрович, совсем не то; я сочувствую, Яков Петрович, и подвигнут душевным участием.

— От которого нижайше прошу вас избавить меня. Позвольте, позвольте-с...

— Вы, разумеется, их обернете оберточкой, Яков Петрович, а третью-то страничку вы заложите закладкой, позвольте, Яков Петрович...

— Да позвольте же вы, наконец...

— Но ведь здесь чернильное пятнышко, Яков Петрович, вы заметили ль чернильное пятнышко?..

Тут Андрей Филиппович второй раз кликнул господина Голядкина.

— Сейчас, Андрей Филиппович; я вот только немножко, вот здесь... Милостивый государь, понимаете ли вы русский язык?

— Лучше всего будет ножичком снять, Яков Петрович, вы лучше на меня положитесь: вы лучше не трогайте сами, Яков Петрович, а на меня положитесь, — я же отчасти тут ножичком...

Андрей Филиппович третий раз кликнул господина Голядкина.

— Да помилуйте, где же тут пятнышко? Ведь, кажется, вовсе нету здесь пятнышка?

— И огромное пятнышко, вот оно! вот позвольте, я здесь его видел; вот позвольте... вы только позвольте мне, Яков Петрович, я отчасти здесь ножичком, я из участия, Яков Петрович, и ножичком от чистого сердца... вот так, вот и дело с концом...

Тут, и совсем неожиданно, господин Голядкин-младший, вдруг ни с того ни с сего, осилив господина Голядкина-старшего в мгновенной борьбе, между ними возникшей, и во всяком случае совершенно против воли его, овладел требуемой начальством бумагой и, вместо того чтоб поскоблить ее ножичком от чистого сердца, как вероломно уверял он господина Голядкина-старшего, — быстро свернул ее, сунул под мышку, в два скачка очутился возле Андрея Филипповича, не заметившего ни одной из проделок его, и полетел с ним в директорский кабинет. Господин Голядкин-старший остался как бы прикованным к месту, держа в руках ножичек и как будто приготавливая что-то скоблить им...

Герой наш еще не совсем понимал свое новое обстоятельство. Он еще не опомнился. Он почувствовал удар, но думал, что это что-нибудь так. В страшной, неописанной тоске сорвался он, наконец, с места и бросился прямо в директорский кабинет, моля, впрочем, небо дорогою, чтоб это устроилось все как-нибудь к лучшему и было бы так, ничего... В последней комнате перед директорским кабинетом сбежался он, прямо нос с носом, с Андреем Филипповичем и с однофамильцем своим. Оба они уже возвращались: господин Голядкин посторонился. Андрей Филиппович говорил улыбаясь и весело. Однофамилец господина Голядкина-старшего тоже улыбался, юлил, семенил в почтительном расстоянии от Андрея Филипповича и что-то с восхищенным видом напештывал ему на ушко, на что Андрей Филиппович самым благосклонным образом кивал головою. Разом понял герой наш все положение дел. Дело в том, что работа его (как он после узнал) почти превзошла ожидания его превосходительства и поспела действительно к сроку и вовремя. Его превосходительство были крайне довольны. Говорили даже, что его превосходительство сказали спасибо господину Голядкину-младшему, крепкое спасибо; сказали, что вспомнят при случае и никак не забудут... Разумеется, что первым делом господина Голядкина было протестовать, протестовать всеми силами, до последней возможности. Почти не помня себя и бледный как смерть, бросился он к Андрею Филипповичу. Но Андрей Филиппович, услышав, что дело господина Голядкина было частное дело, отказался слушать, решительно замечая, что у него нет ни минуты свободной и для собственных надобностей.

Сухость тона и резкость отказа поразили господина Голядкина. «А вот лучше я как-нибудь с другой стороны... вот я лучше к Антону Антоновичу». К несчастию господина Голядкина, и Антона Антоно-

вича не оказалось в наличности: он тоже где-то был чем-то занят. «А ведь не без намерения просил уволить себя от объяснений и толков! — подумал герой наш. — Вот куда метил — старая петля! В таком случае я просто дерзну умолять его превосходительство».

Все еще бледный и чувствуя в совершенном разброде всю свою голову, крепко недоумевая, на что именно нужно решиться, присел господин Голядкин на стул. «Гораздо было бы лучше, если б все это было лишь так только, — беспрерывно думал он про себя. — Действительно, подобное темное дело было даже невероятно совсем. Это, во-первых, и вздор, а во-вторых, и случиться не может. Это, вероятно, как-нибудь там померещилось, или вышло что-нибудь другое, а не то, что действительно было; или, верно, это я сам ходил... и себя как-нибудь там принял совсем за другого... одним словом, это совершенно невозможное дело».

Только что господин Голядкин решил, что это совсем невозможное дело, как вдруг в комнату влетел господин Голядкин-младший с бумагами в обеих руках и под мышкой. Сказав мимоходом какие-то нужные два слова Андрею Филипповичу, перемолвив и еще кое с кем, полюбезничав кое с кем, пофамильярничав кое с кем, господин Голядкин-младший, по-видимому не имевший лишнего времени на бесполезную трату, собирался уже, кажется, выйти из комнаты, но, к счастью господина Голядкина-старшего, остановился в самых дверях и заговорил мимоходом с двумя или тремя случившимися тут же молодыми чиновниками. Господин Голядкин-старший бросился прямо к нему. Только что увидел господин Голядкин-младший маневр господина Голядкина-старшего, тотчас же начал с большим беспокойством осматриваться, куда бы ему поскорей улизнуть. Но герой наш уже держался за рукава своего вчерашнего гостя. Чиновники, окружавшие двух титулярных советников, расступились и с любопытством ожидали, что будет. Старый титулярный советник понимал хорошо, что доброе мнение теперь не на его стороне, понимал хорошо, что под него интригуют: тем более нужно было теперь поддержать себя. Минута была решительная.

— Ну-с? — проговорил господин Голядкин-младший, довольно дерзко смотря на господина Голядкина-старшего.

Господин Голядкин-старший едва дышал.

— Я не знаю, милостивый государь, — начал он, — каким образом вам теперь объяснить странность вашего поведения со мною.

— Ну-с. Продолжайте-с. — Тут господин Голядкин-младший оглянулся кругом и мигнул глазом окружавшим их чиновникам, как бы давая знать, что вот именно сейчас и начнется комедия.

— Дерзость и бесстыдство ваших приемов, милостивый государь мой, со мною в настоящем случае еще более вас обличают... чем все слова мои. Не надейтесь на вашу игру: она плоховата...

— Ну, Яков Петрович, теперь скажите-ка мне, каково-то вы почивали? — отвечал Голядкин-младший, прямо смотря в глаза господину Голядкину-старшему.

— Вы, милостивый государь, забываетесь, — сказал совершенно потерявшийся титулярный советник, едва слыша пол под собою, — я надеюсь, что вы перемените тон...

— Душка мой!! — проговорил господин Голядкин-младший, скорчив довольно неблагопристойную гримасу господину Голядкину-старшему, и вдруг, совсем неожиданно, под видом ласкательства, ухватил его двумя пальцами за довольно пухлую правую щеку. Герой наш вспыхнул, как огонь... Только что приятель господина Голядкина-старшего приметил, что противник его, трясясь всеми членами, немой от иступления, красный как рак и, наконец, доведенный до последних границ, может даже решиться на формальное нападение, то немедленно, и самым бесстыдным образом, предупредил его в свою очередь. Потрепав его еще раза два по щеке, пощекотав его еще раза два, поиграв с ним, неподвижным и обезумевшим от бешенства, еще несколько секунд таким образом, к немалой утехе окружающей их молодежи, господин Голядкин-младший с возмущающим душу бесстыдством щелкнул окончательно господина Голядкина-старшего по крутому брюшку и с самой ядовитой и далеко намекающей улыбкой проговорил ему: «Шалишь, братец, Яков Петрович, шалишь! хитрить мы будем с тобой, Яков Петрович, хитрить». Потом, и прежде чем герой наш успел мало-мальски прийти в себя от последней атаки, господин Голядкин-младший вдруг (предварительно отпустив только улыбочку окружавшим их зрителям) принял на себя вид самый занятой, самый деловой, самый форменный, опустил глаза в землю, съехался, сжался и, быстро проговорив «по особому поручению», лягнул своей коротенькой ножкой и пшмыгнул в соседнюю комнату. Герой наш не верил глазам и все еще был не в состоянии опомниться...

Наконец он опомнился. Сознав в один миг, что погиб, уничтожился в некотором смысле, что замарал себя и запачкал свою репутацию, что осмеян и оплеван в присутствии посторонних лиц, что предательски поруган тем, кого еще вчера считал первейшим и надежнейшим другом своим, что срезался, наконец, на чем свет стоит, — господин Голядкин бросился в погоню за своим неприятелем. В настоящее мгновение он уже и думать не хотел о свидетелях своего поругания. «Это всё в стачке друг с другом, — говорил он сам про себя, — один за другого стоит и один другого на меня натравляет». Однако ж, сделав десять шагов, герой наш ясно увидел, что все преследования остались пустыми и тщетными, и потому воротился. «Не уйдешь, — думал он, — попадешь под сюркуп¹ своевременно, отольются волку овечьи слезы». С яростным хладнокровием и с самою энергическою решимостью

¹ С ю р к у п (*франц. surcouper*) — перекрытие (в карточной игре).

мостью дошел господин Голядкин до стула и уселся на нем. «Не уйдешь!» — сказал он опять. Теперь дело шло не о пассивной обороне какой-нибудь: пахнуло решительным, наступательным, и кто видел господина Голядкина в ту минуту, как он, краснея и едва сдерживая волнение свое, кокнул пером в чернильницу и с какой яростью принялся строчить на бумаге, тот мог уже заранее решить, что дело так не пройдет и простым каким-нибудь бабьим образом не может окончиться. В глубине души своей сложил он одно решение и в глубине сердца своего поклялся исполнить его. По правде-то, он еще не совсем хорошо знал, как ему поступить, то есть, лучше сказать, вовсе не знал; но все равно, ничего! «А самозванством и бесстыдством, милостивый государь, в наш век не берут. Самозванство и бесстыдство, милостивый мой государь, не к добру приводит, а до петли доводит. Гришка Отрепьев только один, сударь вы мой, взял самозванством, обманув слепой народ, да и то ненадолго». Несмотря на это последнее обстоятельство, господин Голядкин положил ждать до тех пор, покамест маска спадет с некоторых лиц и кое-что обнажится. Для сего нужно было, во-первых, чтоб кончились как можно скорее часы присутствия, а до тех пор герой наш положил не предпринимать ничего. Потом же, когда кончатся часы присутствия, он примет меру одну. Тогда же он знает, как ему поступить, приняв эту меру, как расположить весь план своих действий, чтоб сокрушить рог гордыни и раздавить змею, грызущую прах в презрении бессилия. Позволить же затереть себя, как ветошку, об которую грязные сапоги обтирают, господин Голядкин не мог. Согласиться на это не мог он, и особенно в настоящем случае. Не будь последнего посрамления, герой наш, может быть, и решился бы скрепить свое сердце, может быть, он и решился бы смолчать, покориться и не протестовать слишком упорно; так, поспорил бы, попретендовал бы немножко, доказал бы, что он в своем праве, потом бы уступил немножко, потом, может быть, и еще немножко бы уступил, потом согласился бы совсем, потом, и особенно тогда, когда противная сторона признала бы торжественно, что он в своем праве, потом, может быть, и помирился бы даже, даже умилился бы немножко, даже, — кто бы мог знать, — может быть, возродилась бы новая дружба, крепкая, жаркая дружба, еще более широкая, чем вчерашняя дружба, так что эта дружба совершенно могла бы затмить, наконец, неприятность довольно неблагопристойного сходства двух лиц, так, что оба титулярные советника были бы крайне как рады и прожили бы, наконец, до ста лет и т.д. Скажем все, наконец: господин Голядкин даже начинал немного раскаиваться, что вступился за себя и за право свое и тут же получил за то неприятность. «Покорись он, — думал господин Голядкин, — скажи, что пошутил, — простил бы ему, даже более простил бы ему, только бы в этом громко признался. Но как ветошку себя затирать я не дам. И не таким людям не давал я себя затирать, тем более

не позволю покуситься на это человеку развращенному. Я не ветошка; я, сударь мой, не ветошка!» Одним словом, герой наш решился. «Сами вы, сударь вы мой, виноваты!» Решился же он протестовать, и протестовать всеми силами до последней возможности. Такой уж был человек! Позволить обидеть себя он никак не мог согласиться, а тем более дозволить себя затереть, как ветошку, и, наконец, дозволить это совсем развращенному человеку. Не спорим, впрочем, не спорим. Может быть, если б кто захотел, если б уж кому, например, вот так непременно захотелось обратить в ветошку господина Голядкина, то и обратил бы, обратил бы без сопротивления и безнаказанно (господин Голядкин сам в иной раз это чувствовал), и вышла бы ветошка, а не Голядкин, — так, подлая, грязная бы вышла ветошка, но ветошка-то эта была бы не простая, ветошка эта была бы с амбицией, ветошка-то эта была бы с одушевлением и чувствами, хотя бы и с безответной амбицией и с безответными чувствами и — далеко в грязных складках этой ветошки скрытыми, но все-таки с чувствами...

Часы длились невероятно долго; наконец пробило четыре. Спустия немного все встали и вслед за начальником двинулись к себе, по домам. Господин Голядкин вmeshался в толпу; глаз его не дремал и не упускал кого нужно из виду. Наконец наш герой увидел, что приятель его подбежал к канцелярским сторожам, раздававшим шинели, и, по подлому обыкновению своему, юлит около них в ожидании своей. Минута была решительная. Кое-как протеснился господин Голядкин сквозь толпу и, не желая отставать, тоже захолопотал о шинели. Но шинель подалась сперва приятелю и другу господина Голядкина, затем что и здесь успел он по-своему подбиться, приласкаться, нашептать и наподличать.

Накинув шинель, господин Голядкин-младший иронически взглянул на господина Голядкина-старшего, действуя таким образом открыто и дерзко ему в пику, потом, с свойственной ему наглостью, осмотрелся кругом, посеменял окончательно, — вероятно, чтоб оставить выгодное по себе впечатление, — около чиновников, сказал словцо одному, пошептался о чем-то с другим, почтительно полизался с третьим, адресовал улыбку четвертому, дал руку пятому и весело юркнул вниз по лестнице. Господин Голядкин-старший за ним и, к неопisanному своему удовольствию, таки нагнал его на последней ступеньке и схватил за воротник его шинели. Казалось, что господин Голядкин-младший немного оторопел и посмотрел кругом с потеряннм видом.

— Как понимать мне вас? — прошептал он, наконец, слабым голосом господину Голядкину.

— Милостивый государь, если вы только благородный человек, то надеюсь, что вспомните про вчерашние дружеские наши сношения, — проговорил наш герой.

— А, да. Ну, что ж? хорошо ли вы почивали-с?

Бешенство отняло на минуту язык у господина Голядкина-старшего.

— Я-то почивал хорошо-с... Но позвольте же и вам сказать, милостивый мой государь, что игра ваша крайне запутана...

— Кто это говорит? Это враги мои говорят, — отвечал отрывисто тот, кто называл себя господином Голядкиным, и вместе с словом этим неожиданно освободился из слабых рук настоящего господина Голядкина. Освободившись, он бросился с лестницы, оглянулся кругом, увидев извозчика, подбежал к нему, сел на дрожки и в одно мгновение скрылся из глаз господина Голядкина-старшего. Отчаянный и покинутый всеми титулярный советник оглянулся кругом, но не было другого извозчика. Попробовал было он бежать, да ноги подламывались. С опрокинутой физиономией, с разинутым ртом, уничтожившись, съездившись, в бессилии прислонился он к фонарному столбу и остался несколько минут таким образом посреди тротуара. Казалось, что все погибло для господина Голядкина...

ГЛАВА IX

Все, по-видимому, и даже природа сама, вооружилось против господина Голядкина; но он еще был на ногах и не побежден; он это чувствовал, что не побежден. Он готов был бороться. Он с таким чувством и с такою энергией потер себе руки, когда очнулся после первого изумления, что уже по одному виду господина Голядкина заключить можно было, что он не уступит. Впрочем, опасность была на носу, была очевидна; господин Голядкин и это чувствовал; да как за нее взяться, за эту опасность-то? вот вопрос. Даже на мгновение мелькнула мысль в голове господина Голядкина, «что, дескать, не оставить ли все это так, не отступить ли запросто? Ну, что ж? ну, и ничего. Я буду особо, как будто не я, — думал господин Голядкин, — пропускаю все мимо; не я, да и только; он тоже особо, авось и отступится; поюлит, шельмец, поюлит, повертится, да и отступится. Вот оно как! Я смиреннее возьму. Да и где же опасность? ну, какая опасность? Желал бы я, чтоб кто-нибудь указал мне в этом деле опасность? Плевое дело! обыкновенное дело!..» Здесь господин Голядкин осекся. Слова у него на языке замерли; он даже ругнул себя за эту мысль; даже тут же и уличил себя в низости, в трусости за эту мысль; однако дело его все-таки не двинулось с места. Чувствовал он, что решиться на что-нибудь в настоящую минуту было для него сущеею необходимостью; даже чувствовал, что много бы дал тому, кто сказал бы ему, на что именно нужно решиться. Ну, да ведь как угадать? Впрочем, и некогда было угадывать. На всякий случай, чтоб времени не терять, нанял он извозчика и полетел домой. «Что? каково-то ты теперь себя чувствуешь? — подумал он сам в себе. — Каково-то вы себя теперь изволите чувствовать, Яков Петрович? Что-то ты сделаешь? Что-то сделаешь

ты теперь, подлец ты такой, шельмец ты такой! Довел себя до последнего, да и плачешь теперь, да и хнычешь теперь!» Так поддразнивал себя господин Голядкин, подпрыгивая на тряском экипаже своего ваньки. Поддразнивать себя и растравлять таким образом свои раны в настоящую минуту было каким-то глубоким наслаждением для господина Голядкина, даже чуть ли не сладострастием. «Ну, если б там, теперь, — думал он, — волшебник какой бы пришел, или официальным образом как-нибудь этак пришлось, да сказали бы: дай, Голядкин, палец с правой руки — и квиты с тобой; не будет другого Голядкина, и ты будешь счастлив, только пальца не будет, — так отдал бы палец, непременно бы отдал, не поморщась бы отдал. Черти бы взяли все это! — вскрикнул, наконец, отчаянный титулярный советник, — ну, зачем все это? Ну, надобно было всему этому быть; вот непременно этому, вот именно этому, как будто нельзя было другому чему! И все было хорошо сначала, все были довольны и счастливы; так вот нет же, надобно было! Впрочем, ведь словами ничего не возьмешь. Нужно действовать».

Итак, почти решившись на что-то, господин Голядкин, войдя в свою квартиру, нимало не медля схватился за трубку и, насасывая ее из всех сил, раскидывая клочья дыма направо и налево, начал в чрезвычайном волнении бегать взад и вперед по комнате. Между тем Петрушка стал собирать на стол. Наконец господин Голядкин решился совсем, вдруг бросил трубку, накинул на себя шинель, сказал, что дома обедать не будет, и выбежал вон из квартиры. На лестнице нагнал его, запыхавшись, Петрушка, держа в руках забытую им шляпу. Господин Голядкин взял шляпу, хотел было мимоходом маленько оправдаться в глазах Петрушки, чтоб не подумал чего Петрушка особенного, — что вот, дескать, такое-то обстоятельство, что вот шляпу позабыл и т.д., — но так как Петрушка и глядеть не хотел и тотчас ушел, то и господин Голядкин без дальнейших объяснений надел свою шляпу, сбежал с лестницы и, приговаривая, что все, может быть, к лучшему будет и что дело устроится как-нибудь, хотя чувствовал, между прочим, даже у себя в пятках озноб, вышел на улицу, нанял извозчика и полетел к Андрею Филипповичу. «Впрочем, не лучше ли завтра? — думал господин Голядкин, хватаясь за шнурок колокольчика у дверей квартиры Андрея Филипповича, — да и что же я скажу особенного? Особенного-то здесь нет ничего. Дело-то такое мизерное, да оно, наконец, и действительно мизерное, плевое, то есть почти плевое дело... ведь вот оно, как это все, обстоятельство-то...» Вдруг господин Голядкин дернул за колокольчик; колокольчик зазвенел, изнутри послышались чьи-то шаги... Тут господин Голядкин даже проклял себя, отчасти за свою поспешность и дерзость. Недавние неприятности, о которых господин Голядкин едва не позабыл за делами, и контра с Андреем Филипповичем тут же пришли ему на память. Но уже бежать было

поздно: дверь отворилась. К счастью господина Голядкина, отвечали ему, что Андрей Филиппович и домой не приезжал из должности, и не обедает дома. «Знаю, где он обедает: он у Измайловского моста обедает», — подумал герой наш и страх как обрадовался. На вопрос слуги, как об вас доложить, сказал, что, дескать, я, мой друг, хорошо, что, дескать, я, мой друг, после, и даже с некоторою бодростью сбежал вниз по лестнице. Выйдя на улицу, он решился отпустить экипаж и расплатился с извозчиком. Когда же извозчик попросил о прибавке, — дескать, ждал, сударь, долго и рысачка для вашей милости не жалел, — то дал и прибавочки пятак, и даже с большою охотою; сам же пешком пошел.

«Дело-то оно, правда, такое, — думал господин Голядкин, — что ведь так оставить нельзя; однако ж, если так рассудить, этак здраво рассудить, так из чего же по-настоящему здесь хлопотать? Ну, нет, однако ж, я буду все про то говорить, из чего же мне хлопотать? из чего мне маяться, биться, мучиться, себя убивать? Во-первых, дело сделано, и его не воротить... ведь не воротить! Рассудим так: является человек, — является человек с достаточной рекомендацией, дескать, способный чиновник, хорошего поведения, только беден и потерпел разные неприятности, — передряги там этакие, — ну, да ведь бедность не порок; стало быть, я в стороне. Ну, в самом деле, что ж за вздор такой? Ну, пришелся, устроился, самой природой устроился так человек, что как две капли воды похож на другого человека, что совершенная копия с другого человека: так уж его за это и не принимать в департамент?! Коли уж судьба, коли одна судьба, коли одна слепая фортуна тут виновата, — так уж его и затереть, как ветошку, так уж и служить ему не давать... да где же тут после этого справедливость будет? Человек же он бедный, затерянный, запутанный; тут сердце болит, тут сострадание его призреть велит! Да! нечего сказать, хороши бы были начальники, если б так рассуждали, как я, забубенная голова! Эка ведь башка у меня! На десятерых подчас глупости хватит! Нет, нет! и сделали хорошо, и спасибо им, что призрели бедного горемыку... Ну, да, положим, например, что мы близнецы, что вот уж мы так уродились, что братья-близнецы, да и только, — вот оно как! Ну, что же такое? Ну, и ничего! Можно всех чиновников приучить... а посторонний кто, войдя в наше ведомство, уж, верно, не нашел бы ничего неприличного и оскорбительного в таком обстоятельстве. Оно даже тут есть кое-что умиленное; что вот, дескать, мысль-то какая: что, дескать, промысл Божий создал двух совершенно подобных, а начальство благодетельное, видя промысл Божий, приютило двух близнецов. Оно, конечно, — продолжал господин Голядкин, переводя дух и немного понизив голос, — оно, конечно... оно, конечно, лучше бы было, кабы не было ничего этого, умиленного, и близнецов никаких тоже бы не было... Черт бы побрал все это! И на что это нужно

было? И что за надобность тут была такая особенная и никакого отлагательства не терпящая?! Господи бог мой! Эх ведь черти заварили кашу какую! Вот ведь, однако ж, у него и характер такой, нрава он такого игривого, скверного, — подлец он такой, вертлявый такой, лизун, лизоблюд, Голядкин он этакой! Пожалуй, еще дурно себя поведет да фамилию мою замазает, мерзавец. Вот теперь и смотри за ним и ухаживай! Эх ведь наказание какое! Впрочем, что ж? ну, и нужды нет! Ну, он подлец, — ну, пусть он подлец, а другой зато честный. Ну, вот он подлец будет, а я буду честный, — и скажут, что вот этот Голядкин подлец, на него не смотрите, и его с другим не мешайте; а этот вот честный, добродетельный, кроткий, незлобивый, весьма надежный по службе и к повышению чином достойный; вот оно как! Ну, хорошо... а как того... А как они там того... да и перемешают! От него ведь все станется! Ах ты, господи боже мой!.. И подменит человека, подменит, подлец такой, — как ветошку человека подменит и не рассудит, что человек не ветошка. Ах ты, господи боже мой! Эко несчастье какое!..»

Вот таким-то образом рассуждая и сетуя, бежал господин Голядкин, не разбирая дороги и сам почти не зная куда. Очнулся он на Невском проспекте, и то по тому только случаю, что столкнулся с каким-то прохожим так ловко и плотно, что только искры посыпались. Господин Голядкин, не поднимая головы, пробормотал извинение, и только тогда, когда прохожий, проворчав что-то не слишком лестное, отошел уже на расстояние значительное, поднял нос кверху и осмотрелся, где он и как. Осмотревшись и заметив, что находится именно возле того ресторана, в котором отдыхал, приготовляясь к званому обеду у Олсуфия Ивановича, герой наш почувствовал вдруг щипки и щелчки по желудку, вспомнил, что не обедал, званого же обеда не предстояло нигде, и потому, дорогого своего времени не теряя, вбежал он вверх по лестнице в ресторан перехватить что-нибудь поскорее, и как можно торопясь не замешкать. И хотя в ресторане было все дорогонько, но это маленькое обстоятельство не остановило на этот раз господина Голядкина; да и останавливаться-то теперь на подобных безделицах некогда было. В ярко освещенной комнате, у прилавка, на котором лежала разнообразная груда всего того, что потребляется на закуску людьми порядочными, стояла довольно густая толпа посетителей. Конторщик едва успевал наливать, отпускать, сдавать и принимать деньги. Господин Голядкин подождал своей очереди и, выждав, скромно протянул свою руку к пирожку-расстегайчику. Отойдя в уголок, оборотясь спиною к присутствующим и закусив с аппетитом, он воротился к конторщику, поставил на стол блюдечко, зная цену, вынул десять копеек серебром и положил на прилавок монетку, ловя взгляды конторщика, чтоб указать ему: «что вот, дескать, монетка лежит; один расстегайчик» и т.д.

— С вас рубль десять копеек, — процедил сквозь зубы конторщик.

Господин Голядкин порядочно изумился.

— Вы мне говорите?.. Я... я, кажется, взял один пирожок.

— Одиннадцать взяли, — с уверенностью возразил конторщик.

— Вы... сколько мне кажется... вы, кажется, ошибаетесь... Я, право, кажется, взял один пирожок.

— Я считал; вы взяли одиннадцать штук. Когда взяли, так нужно платить; у нас даром ничего не дают.

Господин Голядкин был ошеломлен. «Что ж это, колдовство, что ль, какое надо мной совершается?» — подумал он. Между тем конторщик ожидал решения господина Голядкина; господина Голядкина обступили; господин Голядкин уже полез было в карман, чтоб вынуть рубль серебром, чтоб расплатиться немедленно, чтоб от грехов подальше быть. «Ну, одиннадцать так одиннадцать, — думал он, краснея как рак, — ну, что же такого тут, что съедено одиннадцать пирожков? Ну, голоден человек, так и съел одиннадцать пирожков; ну, и пусть ест себе на здоровье; ну, и дивиться тут нечему и смеяться тут нечему...» Вдруг как будто что-то кольнуло господина Голядкина; он поднял глаза и — разом понял загадку, понял все колдовство; разом разрешились все затруднения... В дверях в соседнюю комнату, почти прямо за спиною конторщика и лицом к господину Голядкину, в дверях, которые между прочим герой наш принимал доселе за зеркало, стоял один человек, — стоял он, стоял сам господин Голядкин, — не старый господин Голядкин, не герой нашей повести, а другой господин Голядкин, новый господин Голядкин. Другой господин Голядкин находился, по-видимому, в превосходном расположении духа. Он улыбался господину Голядкину первому, кивал ему головою, подмигивал глазками, семенил немного ногами и глядел так, что чуть что, — так он и стушует, так он и в соседнюю комнату, а там, пожалуй, задним ходом, да и того... и все преследования останутся тщетными. В руках его был последний кусок десятого расстегая, который он в глазах же господина Голядкина отправил в свой рот, чмокнув от удовольствия. «Подменил, подлец! — подумал господин Голядкин, вспыхнув как огонь от стыда, — не постыдился публично-сти! Видят ли его? Кажется, не замечает никто...» Господин Голядкин бросил рубль серебром так, как будто бы об него все пальцы обжег, и, не замечая значительно наглой улыбки конторщика, улыбки торжества и спокойного могущества, выдрался из толпы и бросился вон без оглядки. «Спасибо за то, что хоть не компрометировал окончательно человека! — подумал старший господин Голядкин. — Спасибо разбойнику, и ему и судьбе, что еще хорошо все уладилось. Нагрубил лишь конторщик. Да что ж, ведь он был в своем праве! Рубль десять следовало, так и был в своем праве. Дескать, без денег у нас никому не дают! Хоть бы был поучтивей, бездельник!..»

Все это говорил господин Голядкин, сходя с лестницы на крыльцо. Однако же на последней ступеньке он остановился как вкопанный и вдруг покраснел так, что даже слезы выступили у него на глазах от припадка страдания амбиции. Простояв с полминуты столбом, он вдруг решительно топнул ногою, в один прыжок соскочил с крыльца на улицу и без оглядки, задыхаясь, не слыша усталости, пустился к себе домой, в Шестилавочную улицу. Дома, не сняв даже с себя верхнего платья, вопреки привычке своей быть у себя по-домашнему, не взяв даже предварительно трубки, уселся он немедленно на диване, придвинул чернильницу, взял перо, достал лист почтовой бумаги и принялся строчить дрожащею от внутреннего волнения рукой следующее послание:

«Милостивый государь мой
Яков Петрович!

Никак бы не взял я пера, если бы обстоятельства мои и вы сами, милостивый государь мой, меня к тому не принудили. Верьте, что необходимость одна понудила меня вступить с вами в подобное объяснение, и потому прежде всего прошу считать эту меру мою не как умышленным намерением к вашему, милостивый государь мой, оскорблению, но как необходимым следствием связующих нас теперь обстоятельств».

«Кажется, хорошо, прилично, вежливо, хотя не без силы и твердости?.. Обижаться ему тут, кажется, нечем. К тому же я в своем праве», — подумал господин Голядкин, перечитывая написанное.

«Неожиданное и странное появление ваше, милостивый государь мой, в бурную ночь, после грубого и неприличного со мною поступка врагов моих, коих имя умалчиваю из презрения к ним, было зародышем всех недоразумений, в настоящее время между нами существующих. Упорное же ваше, милостивый государь, желание стоять на своем и насильственно войти в круг моего бытия и всех отношений моих в практической жизни выступает даже за пределы, требуемые одною лишь вежливостью и простым общежитием. Я думаю, нечего упоминать здесь о похищении вами, милостивый государь мой, бумаги моей и собственного моего честного имени, для приобретения ласки начальства — ласки, не заслуженной вами. Нечего упоминать здесь и об умышленных и обидных уклонениях ваших от необходимых по сему случаю объяснений. Наконец, чтобы все сказать, не упоминаю здесь и о последнем странном, можно сказать, непонятном поступке вашем со мною в кофейном доме. Далеко от того, чтоб сетовать о бесполезной для меня утрате рубля серебром; но не могу не выказать всего негодования моего при воспоминании о явном посягательстве вашем, милостивый государь, в ущерб моей чести, и вдобавок в при-

существовании нескольких персон, хотя не знакомых мне, но вместе с тем весьма хорошего тона...»

«Не далеко ли я захожу? — подумал господин Голядкин. — Не много ли будет; не слишком ли это обидчиво, — этот намек на хороший тон, например?.. Ну, да ничего! Нужно показать ему твердость характера. Впрочем, ему можно, для смягчения, этак, польстить и подмаслить в конце. А вот мы посмотрим».

«Но не стал бы я, милостивый государь мой, утомлять вас письмом моим, если бы не был твердо уверен, что благородство сердечных чувств и открытый, прямодушный характер ваш укажут вам самому средства поправить все упущения и восстановить все по-прежнему.

В полной надежде я смею оставаться уверенным, что вы не примете письма моего в обидную для вас сторону, а вместе с тем и не откажетесь объяснить нарочито по этому случаю письменно, через посредство моего человека.

В ожидании, честь имею пребыть,
милостивый государь,
покорнейшим вашим слугою

Я. Голядкиным».

— Ну, вот и все хорошо. Дело сделано; дошло и до письменного. Но кто ж виноват? Он сам виноват: сам доводит человека до необходимости требовать письменных документов. А я в своем праве...

Перечитав последний раз письмо, господин Голядкин сложил его, запечатал и позвал Петрушку. Петрушка явился, по обыкновению своему, с заспанными глазами и на что-то крайне сердитый.

— Ты, братец, вот, возьмишь это письмо... понимаешь?

Петрушка молчал.

— Возьмишь его и отнесешь в департамент; там отыщешь дежурного, губернского секретаря Вахрамеева. Вахрамеев сегодня дежурный. Понимаешь ты это?

— Понимаю.

— Понимаю! Не можешь сказать: понимаю-с. Спросишь чиновника Вахрамеева и скажешь ему, что, дескать, вот так и так, дескать, барин приказал вам кланяться и покорнейше попросить вас справиться в адресной нашего ведомства книге — где, дескать, живет титулярный советник Голядкин?

Петрушка промолчал и, как показалось господину Голядкину, улыбнулся.

— Ну, так вот ты, Петр, спросишь у них адрес и узнаешь, где, дескать, живет новопоступивший чиновник Голядкин?

— Слушаю.

— Спросишь адрес и отнесешь по этому адресу это письмо; понимаешь?

— Понимаю.

— Если там... вот куда ты письмо отнесешь, — тот господин, кому письмо это дашь, Голядкин-то... Чего смеешься, болван?

— Да чего мне смеяться-то? Что мне! Я ничего-с. Нечего нашему брату смеяться...

— Ну, так вот... если тот господин будет спрашивать, дескать, как же твой барин, как же он там; что, дескать, он того... ну, там, что-нибудь будет выспрашивать, — так ты молчи и отвечай, дескать, барин мой ничего, а просят, дескать, ответа от вас своеручного. Понимаешь?

— Понимаю-с.

— Ну, так вот, дескать, барин мой, дескать, говори, ничего, дескать, и здоров, и в гости, дескать, сейчас собирается; а от вас, дескать, они ответа просят письменного. Понимаешь?

— Понимаю.

— Ну, ступай.

«Ведь вот еще с этим болваном работа! смеется себе, да и кончено. Чему ж он смеется? Дожил я до беды, дожил я вот таким-то образом до беды! Впрочем, может быть, оно обратится все к лучшему... Этот мошенник, верно, часа два будет таскаться теперь, пропадет еще где-нибудь. Послать нельзя никуда. Эка беда ведь какая!.. эка ведь беда одолела какая!..»

Чувствуя, таким образом, вполне беду свою, герой наш решился на пассивную двухчасовую роль в ожидании Петрушки. С час времени ходил он по комнате, курил, потом бросил трубку и сел за какую-то книжку, потом прилег на диван, потом опять взялся за трубку, потом опять начал бегать по комнате. Хотел было он рассуждать, но рассуждать не мог решительно ни о чем. Наконец агония пассивного состояния его возросла до последнего градуса, и господин Голядкин решился принять одну меру. «Петрушка придет еще через час, — думал он, — можно ключ отдать дворнику, а сам я покамест и того... исследую дело, по своей части исследую дело». Не теряя времени и спеша исследовать дело, господин Голядкин взял свою шляпу, вышел из комнаты, запер квартиру, зашел к дворнику, вручил ему ключ вместе с гривенником, — господин Голядкин стал как-то необыкновенно щедр, — и пустился, куда ему следовало. Господин Голядкин пустился пешком, сперва к Измайловскому мосту. В ходьбе прошло с полчаса. Дойдя до цели своего путешествия, он вошел прямо во двор своего знакомого дома и взглянул на окна квартиры статского советника Берендеева. Кроме трех завешенных красными гардинами окон, остальные все были темны. «У Олсуфья Ивановича сегодня, верно, нет гостей, — подумал господин Голядкин, — они, верно, все одни теперь дома сидят». Постояв несколько времени на дворе, герой наш хотел было уже на что-то решиться. Но решению не суждено было состояться, по-видимому. Господин Голядкин отдумал, махнул рукой

и воротился на улицу. «Нет, не сюда мне нужно было идти. Что же я буду здесь делать?.. А вот я лучше теперь того... и собственноручно исследую дело». Приняв такое решение, господин Голядкин пустился в свой департамент. Путь был не близок, вдобавок была страшная грязь, и мокрый снег валил самыми густыми хлопьями. Но для героя нашего в настоящее время затруднений, кажется, не было. Измок-то он измок, правда, да и загрязнился немало, «да уж так, заодно, зато цель достигнута». И действительно, господин Голядкин уже подходил к своей цели. Темная масса огромного казенного строения уже зачернела вдали перед ним. «Стой! — подумал он. — Куда ж я иду и что я буду здесь, делать? Положим, узнаю, где он живет; а между тем Петрушка уже, верно, вернулся и ответ мне принес. Время-то я мое дорогое только даром теряю, время-то я мое только так потерял. Ну, ничего; еще все это можно исправить. Однако и в самом деле, не зайти ль к Вахрамееву? Ну, да нет! я уж после... Эк! выходить-то было вовсе не нужно. Да нет, уж характер такой! Сноровка такая, что нужда ли, нет ли, вечно норовлю как-нибудь вперед забежать... Гм... который-то час? уж, верно, есть девять. Петрушка может прийти и не найдет меня дома. Сделал я чистую глупость, что вышел... Эх, право, комиссия!»

Искренно сознавшись таким образом, что сделал чистую глупость, герой наш побежал обратно к себе в Шестилавочную. Добежал он усталый, измученный. Еще от дворника узнал он, что Петрушка и не думал являться. «Ну, так! уж я предчувствовал это, — подумал герой наш, — а между тем уже девять часов. Эк ведь негодяй он какой! Уж вечно где-нибудь пьянствует! Господи бог мой! экой ведь денек выдался на долю мою горемычную!» Таким-то образом размышляя и сетуя, господин Голядкин отпер квартиру свою, достал огня, разделся совсем, выкурил трубку и, истощенный, усталый, разбитый, голодный, прилег на диван в ожидании Петрушки. Свеча нагорала тускло, свет трепетал на стенах... Господин Голядкин глядел-глядел, думал-думал, да и заснул, наконец, как убитый.

Проснулся он уже поздно. Свеча совсем почти догорела, дымилась и готова была тотчас совершенно потухнуть. Господин Голядкин вскочил, встрепнулся и вспомнил все, решительно все. За перегородкой раздавался густой храп Петрушки. Господин Голядкин бросился к окну — нигде ни огонька. Отворил форточку — тихо; город словно вымер, спит. Стало быть, часа два или три; так и есть: часы за перегородкой понатужились и пробили два. Господин Голядкин бросился за перегородку.

Кое-как, впрочем после долгих усилий, растолкал он Петрушку и успел посадить его на постель. В это время свечка совершенно потухла. Минут с десять прошло, покамест господин Голядкин успел найти другую свечу и зажечь ее. В это время Петрушка успел заснуть сызно-

ва. «Мерзавец ты этакой, негодяй ты такой! — проговорил господин Голядкин, снова его расталкивая. — Встанешь ли ты, проснешься ли ты?» После получасовых усилий господин Голядкин успел, однако же, расшевелить совершенно своего служителя и вытащить его из-за перегородки. Тут только увидел герой наш, что Петрушка был, как говорится, мертвецки пьян и едва на ногах держался.

— Бездельник ты этакой! — закричал господин Голядкин. — Разбойник ты этакой! голову ты срезал с меня! Господи, куда же это он письмо-то сбыл с рук? Ахти, создатель мой, ну, как оно... И зачем я его написал? и нужно было мне его написать! Рассказался, дуралей, я с амбицией! Туда же полез за амбицией! Вот тебе и амбиция, подлец ты этакой, вот и амбиция!.. Ну, ты! куда же ты письмо-то дел, разбойник ты этакой? Кому же ты отдал его?..

— Никому я не отдавал никакого письма; и не было у меня никакого письма... вот как!

Господин Голядкин ломал руки с отчаяния.

— Слушай, ты, Петр... ты послушай, ты слушай меня...

— Слушаю...

— Ты куда ходил? — отвечай...

— Куда ходил... к добрым людям ходил! что мне!

— Ах ты, господи боже мой! Куда сначала ходил? был в департаменте?.. Ты, послушай, Петр; ты, может быть, пьян?

— Я пьян? Вот хоть сейчас с места не сойти, мак-мак-маковой — вот...

— Нет, нет, это ничего, что ты пьян... Я только так спросил; это хорошо, что ты пьян; я ничего, Петруша, я ничего... Ты, может быть, только так позабыл, а все помнишь. Ну-ка, вспомни-ка, был ты у Вахрамеева, чиновника, — был или нет?

— И не был, и чиновника такого не бывало. Вот хоть сейчас...

— Нет, нет, Петр! Нет, Петруша, ведь я ничего. Ведь ты видишь, что я ничего... Ну, что ж такое! Ну, на дворе холодно, сыро, ну, выпил человек маленько, ну и ничего... Я не сержусь. Я сам, брат, выпил сегодня... Ты признайся, вспомни-ка, брат: был ты у чиновника Вахрамеева?

— Ну, как теперь, вот так пошло, так право слово, — вот был же, вот хоть сейчас...

— Ну, хорошо, Петруша, хорошо, что был. Ты видишь, я не сержусь... Ну, ну, — продолжал наш герой, еще более задабривая своего служителя, трепая его по плечу и улыбаясь ему, — ну, клюкнул, мерзавец, маленько... на гривенник, что ли, клюкнул? плут ты этакой! Ну и ничего; ну, ты видишь, что я не сержусь... я не сержусь, братец, я не сержусь...

— Нет, я не плут, как хотите-с... К добрым людям только зашел, а не плут, и плутом никогда не бывал...

— Да, нет же, нет, Петруша! ты послушай, Петр: ведь я ничего, ведь я тебя не ругаю, что плутом называю. Ведь это я в утешение тебе говорю, в благородном смысле про это говорю. Ведь это значит, Петруша, полстить иному человеку, как сказать ему, что он петля этакая, продувной малой, что он малой не промах и никому надуть себя не позволит. Это любит иной человек... Ну, ну, ничего! ну, скажи же ты мне, Петруша, теперь, без утайки, откровенно, как другу... ну, был ты у чиновника Вахрамеева, и адрес он дал тебе?

— И адрес дал, тоже и адрес дал. Хороший чиновник! И барин твой, говорит, хороший человек, очень хороший, говорит, человек; я, дескать, скажи, говорит, — кланяйся, говорит, своему барину, благодари и скажи, что я, дескать, люблю, — вот, дескать, как уважаю твоего барина! за то, что, говорит, ты, барин твой, говорит, Петруша, хороший человек, говорит, и ты, говорит, тоже хороший человек, Петруша, — вот...

— Ах ты, господи боже мой! А адрес-то, адрес-то, Иуда ты этакой? — Последние слова господин Голядкин проговорил почти шепотом.

— И адрес... и адрес дал.

— Дал? Ну, где же живет он, Голядкин, чиновник Голядкин, титулярный советник?

— А Голядкин будет тебе, говорит, в Шестилавочной улице. Вот как пойдешь, говорит, в Шестилавочную, так направо, на лестницу, в четвертый этаж. Вот тут тебе, говорит, и будет Голядкин...

— Мошенник ты этакой! — закричал, наконец, выпешедший из терпения герой наш. — Разбойник ты этакой! да это ведь я; ведь это ты про меня говоришь. А то другой есть Голядкин; я про другого говорю, мошенник ты этакой!

— Ну, как хотите! что мне! Вы как хотите — вот!..

— А письмо-то, письмо...

— Какое письмо? и не было никакого письма, и не видал я никакого письма.

— Да куда же ты дел его — шельмец ты такой?!

— Отдал его, отдал письмо. Кланяйся, говорит, благодари; хороший твой, говорит, барин. Кланяйся, говорит, твоему барину...

— Да кто же это сказал? Это Голядкин сказал?

Петрушка помолчал немного и усмехнулся во весь рот, глядя прямо в глаза своему барину.

— Слушай, ты, разбойник ты этакой! — начал господин Голядкин, задыхаясь, теряясь от бешенства. — Что ты сделал со мной! Говори ты мне, что ты сделал со мной! Срезал ты меня, злодей ты такой! Голову с плеч моих снял, Иуда ты этакой!

— Ну, теперь как хотите! что мне! — сказал решительным тоном Петрушка, ретируясь за перегородку.

— Пошел сюда, пошел сюда, разбойник ты этакой!..

— И не пойду я к вам теперь, совсем не пойду. Что мне! Я к добрым людям пойду... А добрые люди живут по честности, добрые люди без фальши живут и по двое никогда не бывают...

У господина Голядкина и руки и ноги оледенели, и дух занялся...

— Да-с, — продолжал Петрушка, — их по двое никогда не бывает, Бога и честных людей не обижают...

— Ты бездельник, ты пьян! Ты спи теперь, разбойник ты этакой! А вот завтра и будет тебе, — едва слышным голосом проговорил господин Голядкин. Что же касается до Петрушки, то он пробормотал еще что-то; потом слышно было, как он налег на кровать, так что кровать затрепала, протяжно зевнул, потянулся и, наконец, захрапел сном невинности, как говорится. Ни жив ни мертв был господин Голядкин. Поведение Петрушки, намеки его весьма странные, хотя и отдаленные, на которые сердиться, следственно, нечего было, тем более что пьяный человек говорил, и, наконец, весь злокачественный оборот, принимаемый делом, — все это потрясло до основания Голядкина. «И дернуло меня его распекать среди ночи, — говорил наш герой, дрожа всем телом от какого-то болезненного ощущения. — И подсунуло меня с пьяным человеком связаться! Какого толку ждать от пьяного человека! что ни слово, то врет. На что это, впрочем, он намекал, разбойник он этакой? Господи боже мой! И зачем я все эти письма писал, я-то, душегубец; я-то, самоубийца я этакой! Нельзя помолчать! Надо было провраться! Ведь уж чего! Погибаешь, ветошке подобисься, так ведь нет же, туда же с амбицией, дескать, честь моя страдает, дескать, честь тебе свою нужно спасать! Самоубийца я этакой!»

Так говорил господин Голядкин, сидя на диване своем и не смея пошевелиться от страха. Вдруг глаза его остановились на одном предмете, в высочайшей степени возбудившем его внимание. В страхе — не иллюзия ли, не обман ли воображения предмет, возбудивший внимание его, — протянул он к нему руку, с надеждою, с робостию, с любопытством неописанным... Нет, не обман! не иллюзия! Письмо, точно письмо, непременно письмо, и к нему адресованное... Господин Голядкин взял письмо со стола. Сердце в нем страшно билось. «Это, верно, тот мошенник принес, — подумал он, — и тут положил, а потом и забыл; верно, так все случилось; это, верно, именно так все случилось...» Письмо было от чиновника Вахрамеева, молодого сослуживца и некогда приятеля господина Голядкина. «Впрочем, я все это заранее предчувствовал, — подумал герой наш, — и все то, что в письме теперь будет, также предчувствовал...» Письмо было следующее:

«Милостивый государь, Яков Петрович!

Человек ваш пьян, и путного от него не дождешься; по сей причине предпочитают отвечать письменно. Спешу вам объявить, что поруче-

ние, вами на меня возлагаемое и состоящее в передаче известной вам особе через мои руки письма, согласен исполнить во всей верности и точности. Квартирует же сия особа, весьма вам известная и теперь заменившая мне друга, коей имя при сем умалчиваю (затем, что не хочу напрасно чернить репутацию совершенно невинного человека), вместе с нами, в квартире Каролины Ивановны, в том самом номере, где прежде еще, в бытность вашу у нас, квартировал заезжий из Тамбова пехотный офицер. Впрочем, особу сию можете найти везде между честных и искренних сердцем людей, чего об иных сказать невозможно. Связи мои с вами намерен я с сего числа прекратить; в дружественном же тоне и в прежнем согласном виде товарищества нашего нам оставаться нельзя, и потому прошу вас, милостивый государь мой, немедленно по получении сего откровенного письма моего, выслать следующие мне два целковых за бритвы иностранной работы, проданные мною, если запомнить изволите, семь месяцев тому назад в долг, еще во время жительства вашего с нами у Каролины Ивановны, которую я от всей души моей уважаю. Действую же я таким образом потому, что вы, по рассказам умных людей, потеряли амбицию и репутацию и стали опасны для нравственности невинных и незараженных людей, ибо некоторые особы живут не по правде и, сверх того, слова их — фальшь и благонамеренный вид подозрителен. Вступить же за обиду Каролины Ивановны, которая всегда была благонаправленного поведения, а во-вторых, честная женщина и вдобавок девица, хотя не молодых лет, но зато хорошей иностранной фамилии, — людей способных можно найти всегда и везде, о чем просили меня некоторые особы упомянуть в сем письме моем мимоходом и говоря от своего лица. Во всяком же случае вы все узнаете своевременно, если теперь не узнали, несмотря на то что ославили себя, по рассказам умных людей, во всех концах столицы и, следовательно, уже во многих местах могли получить надлежащие о себе, милостивый государь, сведения. В заключение письма моего объявляю вам, милостивый мой государь, что известная вам особа, коей имя не упоминаю здесь по известным благородным причинам, весьма уважаема людьми благомыслящими; сверх того, характера веселого и приятного, успевает как на службе, так и между всеми здравомыслящими людьми, верна своему слову и дружбе и не обижает заочно тех, с кем в глаза находится в приятельских отношениях.

Во всяком случае пребываю
покорным слугою вашим

Н. Вахrameевым.

P.S. Вы вашего человека стоните: он пьяница и приносит вам, по всей вероятности, много хлопот, а возьмите Евстафия, служившего прежде у нас и находящегося на сей раз без места. Теперешний же служитель ваш не только пьяница, но, сверх того, вор, ибо еще на

прошлой неделе продал фунт сахару, в виде кусков, Каролине Ивановне за уменьшенную цену, что, по моему мнению, не мог он иначе сделать, как обворовав вас хитростным образом, по-малому и в разные сроки. Пишу вам сие, желая добра, несмотря на то что некоторые особы умеют только обижать и обманывать всех людей, преимущественно же честных и обладающих добрым характером; сверх того, заочно поносят их и представляют их в обратном смысле, единственно из зависти и потому, что сами себя не могут назвать таковыми.

В».

Прочтя письмо Вахрамеева, герой наш долго еще оставался в неподвижном положении на диване своем. Какой-то новый свет пробивался сквозь весь неясный и загадочный туман, уже два дня окружавший его. Герой наш отчасти начинал понимать... Попробовал было он встать с дивана и пройтись раз и другой по комнате, чтоб освежить себя, собрать кое-как разбитые мысли, устремить их на известный предмет и потом, поправив себя немного, зрело обдумать свое положение. Но только что хотел было он привстать, как тут же, в немоции и бессилии, упал опять на прежнее место. «Оно, конечно, я это все заранее предчувствовал; однако же как же он пишет и каков прямой смысл этих слов? Смысл-то я, положим, и знаю; но куда это поведет? Сказал бы прямо: вот, дескать, так-то и так-то, требуется то-то и то-то, я бы и исполнил. Турнюра-то, оборот-то, принимаемый делом, такой неприятный выходит! Ах, как бы поскорее добраться до завтра и поскорее добраться до дела! теперь же я знаю, что делать. Дескать, так и так, скажу, на резоны согласен, чести моей не продам, а того... пожалуй; впрочем, он-то, особа-то эта известная, лицо-то неблагоприятное как же сюда подмешалось? и зачем именно подмешалось сюда? Ах, как бы до завтра скорей! Ославят они меня до тех пор, интригуют они, в пику работают! Главное — времени не нужно терять, а теперь, например, хоть письмо написать и только пропустить, что, дескать, то-то и то-то, и вот на то-то и то-то согласен. А завтра чем свет ото-слать и самому пораньше того... и с другой стороны им в контру пойти и предупредить их, голубчиков... Ославят они меня, да и только!»

Господин Голядкин подвинул бумагу, взял перо и написал следующее послание в ответ на письмо губернского секретаря Вахрамеева:

«Милостивый государь, Нестор Игнатьевич!

С прискорбным сердцу моему удивлением прочел я оскорбительное для меня письмо ваше, ибо ясно вижу, что под именем некоторых неблагопристойных особ и иных с ложною благонамеренностью людей разумеете вы меня. С истинною горестию вижу, как скоро, успешно и какие далекие корни пустила клевета, в ущерб моему благоден-

ствию, моей чести и доброму моему имени. И тем более прискорбно и оскорбительно это, что даже честные люди с истинно благородным образом мыслей и, главное, одаренные прямым и открытым характером, отступают от интересов благородных людей и прилепляются лучшими качествами сердца своего к зловредной тле, — к несчастию, в наше тяжелое и безнравственное время расплывшейся сильно и крайне неблагонамеренно. В заключение скажу, что вами означенный долг мой, два рубля серебром, почту святою обязанностью возвратить вам во всей его целости.

Что же касается до ваших, милостивый государь мой, намеков насчет известной особы женского пола, насчет намерений, расчетов и разных замыслов этой особы, то скажу вам, милостивый государь мой, что я смутно и неясно понял все эти намеки. Позвольте мне, милостивый государь мой, благородный образ мыслей моих и честное имя мое сохранить незапятнанными. Во всяком же случае, готов снизойти до объяснения лично, предпочитая верность личного письменному, и, сверх того, готов войти в разные миролюбивые, обоюдные, разумеется, соглашения. На сей конец прошу вас, милостивый мой государь, передать сей особе готовность мою для соглашения личного и, сверх того, просить ее назначить время и место свидания. Горько мне было читать, милостивый государь мой, намеки на то, что будто бы вас оскорбил, изменил нашей первобытной дружбе и отзывался о вас с дурной стороны. Приписываю все сие недоразумению, гнусной клевете, зависти и недоброжелательству тех, коих справедливо могу именовать ожесточеннейшими врагами моими. Но они, вероятно, не знают, что невинность сильна уж своею невинностью, что бесстыдство, наглость и возмущающая душу фамильярность иных особ, рано ли, поздно ли, заслужит себе всеобщее клеймо презрения и что эти особы погибнут не иначе, как от собственной неблагопристойности и развращенности сердца. В заключение прошу вас, милостивый государь мой, передать сим особам, что странная претензия их и неблагородное фантастическое желание вытеснять других из пределов, занимаемых ими другими своим бытием в этом мире, и занять их место, заслуживают изумления, презрения, сожаления и, сверх того, сумасшедшего дома; что, сверх того, такие отношения запрещены строго законами, что, по моему мнению, совершенно справедливо, ибо всякий должен быть доволен своим собственным местом. Всему есть пределы, и если это шутка, то шутка неблагопристойная, скажу более: совершенно безнравственная, ибо, смею уверить вас, милостивый государь мой, что идеи мои, выше распространенные насчет *своих мест*, чисто нравственны.

Во всяком случае честь имею пребыть
вашим покорным слугою

Я. Голядкин».

ГЛАВА X

Вообще можно сказать, что происшествия вчерашнего дня до основания потрясли господина Голядкина. Почивал наш герой весьма нехорошо, то есть никак не мог даже на пять минут заснуть совершенно: словно проказник какой-нибудь насыпал ему резаной щетины в постель. Всю ночь провел он в каком-то полусне, полубдении, переворачиваясь со стороны на сторону, с боку на бок, охая, кряхтя, на минутку засыпая, через минутку опять просыпаясь, и все это сопровождалось какой-то странной тоской, неясными воспоминаниями, безобразными видениями, — одним словом, всем, что только можно найти неприятного... То появлялась перед ним, в каком-то странном, загадочном полусвете, фигура Андрея Филипповича, — сухая фигура, сердитая фигура, с сухим, жестким взглядом и с черство-учливой побранкой... И только что господин Голядкин начинал было подходить к Андрею Филипповичу, чтоб перед ним, каким-нибудь образом, так или этак, оправдаться и доказать ему, что он вовсе не таков, как его враги расписали, что он вот такой-то да сякой-то и даже обладает, сверх обыкновенных, врожденных качеств своих, вот тем-то и тем-то; но как тут и являлось известное своим неблагопристойным направлением лицо и каким-нибудь самым возмущающим душу средством сразу разрушало все предначинания господина Голядкина, тут же, почти на глазах же господина Голядкина, очерняло досконально его репутацию, втаптывало в грязь его амбицию и потом немедленно занимало место его на службе и в обществе. То чесалась голова господина Голядкина от какого-нибудь щелчка, недавно благоприобретенного и уничиженно принятого, полученного или в общежитии, или, как-нибудь там, по обязанности, на который щелчок протестовать было трудно... И между тем как господин Голядкин начинал было ломать себе голову над тем, что почему вот именно трудно протестовать хоть бы на такой-то щелчок, — между тем эта же мысль о щелчке незаметно переливалась в какую-нибудь другую форму, — в форму какой-нибудь известной маленькой или довольно значительной подлости, виденной, слышанной или самим недавно исполненной, — и часто исполненной-то даже и не на подлом основании, даже и не из подлого побуждения какого-нибудь, а так, — иногда, например, по случаю, — из деликатности; другой раз из ради совершенной своей беззащитности, ну и, наконец, потому... потому, одним словом, уж это господин Голядкин знал хорошо *почему!* Тут господин Голядкин краснел сквозь сон и, подавляя краску свою, бормотал про себя, что, дескать, здесь, например, можно бы показать твердость характера, значительную бы можно было показать в этом случае твердость характера... а потом и заключал, что, «дескать, что же твердость характера!.. дескать, зачем ее теперь поминать!..». Но всего более бесило и раздражало господина Голядкина то, что как тут, и непременно в такую ми-

нута, звали ль, не звали ль его, являлось известное безобразием и паксивильностью своего направления лицо, и тоже, несмотря на то что уже, кажется, дело было известное, — тоже туда же бормотало с не-благопристойной улыбочкой, что, «дескать, что уж тут твердость характера! какая, дескать, у нас с тобой, Яков Петрович, будет твердость характера!..». То грезилося господину Голядкину, что находится он в одной прекрасной компании, известной своим остроумием и благородным тоном всех лиц, ее составляющих; что господин Голядкин в свою очередь отличился в отношении любезности и остроумия, что все его полюбили, даже некоторые из врагов его, бывших тут же, его полюбили, что очень приятно было господину Голядкину; что все ему отдали первенство и что, наконец, сам господин Голядкин с приятностью подслушал, как хозяин тут же, отведя в сторону кой-кого из гостей, похвалил господина Голядкина... и вдруг, ни с того ни с сего, опять явилось известное своею неблагонамеренностью и зверскими побуждениями лицо, в виде господина Голядкина-младшего, и тут же, сразу, в один миг, одним появлением своим, Голядкин-младший разрушал все торжество и всю славу господина Голядкина-старшего, затмил собою Голядкина-старшего, втоптал в грязь Голядкина-старшего и, наконец, ясно доказал, что Голядкин-старший и вместе с тем настоящий — вовсе не настоящий, а поддельный, а что он настоящий, что, наконец, Голядкин-старший вовсе не то, чем он кажется, а такой-то и сякой-то и, следовательно, не должен и не имеет права принадлежать к обществу людей благонамеренных и хорошего тона. И все это до того быстро сделалось, что господин Голядкин-старший и рта раскрыть не успел, как уже все и душою и телом предались безобразному и поддельному господину Голядкину и с глубочайшим презрением отвергли его, настоящего и невинного господина Голядкина. Не оставалось лица, которого мнение не переделал бы в один миг безобразный господин Голядкин по-своему. Не оставалось лица, даже самого незначительного из целой компании, к которому бы не подлизался бесполезный и фальшивый господин Голядкин по-своему, самым сладчайшим манером, к которому бы не подбился по-своему, перед которым бы он не покурил, по своему обыкновению, чем-нибудь самым приятным и сладким, так что обкуриваемое лицо только нюхало и чихало до слез в знак высочайшего удовольствия. И, главное, все это делалось мигом: быстрота хода подозрительного и бесполезного господина Голядкина была удивительная! Чуть успеет, например, полизаться с одним, заслужить благорасположение его, — и глазком не мигнешь, как уж он у другого. Полижется-полижется с другим втихомолочку, сорвет улыбочку благоволения, лягнет своей коротенькой, кругленькой, довольно, впрочем, дубоватенькой ножкой, и вот уж и с третьим, и куртизанит уж третьего, с ним тоже лижется по-приятельски; рта раскрыть не успеваешь, в изумление не успеешь прийти, а уж

он у четвертого, и с четвертым уже на тех же кондициях, — ужас: колдовство, да и только! И все рады ему, и все любят его, и все превозносят его, и все провозглашают хором, что любезность и сатирическое ума его направление не в пример лучше любезности и сатирического направления настоящего господина Голядкина, и стыдят этим настоящего и невинного господина Голядкина, и отвергают правдолюбивого господина Голядкина, и уже гонят в толчки благонамеренного господина Голядкина, и уже сыплют щелчки в известного любовию к ближнему настоящего господина Голядкина!.. В тоске, в ужасе, в бешенстве выбежал многострадальный господин Голядкин на улицу и стал нанимать извозчика, чтоб прямо лететь к его превосходительству, а если не так, то уж по крайней мере к Андрею Филипповичу, но — ужас! извозчики никак не соглашались везти господина Голядкина: «дескать, барин, нельзя везти двух совершенно подобных; дескать, ваше благородие, хороший человек норовит жить по честности, а не как-нибудь, и вдвойне никогда не бывает». В исступлении стыда оглядывался кругом совершенно честный господин Голядкин и действительно уверялся, сам, своими глазами, что извозчики и стакнувшийся с ними Петрушка все в своем праве; ибо развращенный господин Голядкин находился действительно тут же, возле него, не в дальнем от него расстоянии, и, следуя подлым обычаям нравов своих, и тут, и в этом критическом случае, непременно готовился сделать что-то весьма неприличное и нисколько не обличавшее особенного благородства характера, получаемого обыкновенно при воспитании, — благородства, которым так величался при всяком удобном случае отвратительный господин Голядкин второй. Не помня себя, в стыде и в отчаянии, бросился погибший и совершенно справедливый господин Голядкин куда глаза глядят, на волю судьбы, куда бы ни вынесло; но с каждым шагом его, с каждым ударом ноги в гранит тротуара, выскакивало, как будто из-под земли, по такому же точно, совершенно подобному и отвратительному развращенностию сердца — господину Голядкину. И все эти совершенно подобные пускались тотчас же по появлении своем бежать один за другим, и длинною цепью, как вереница гусей, тянулись и ковыляли за господином Голядкиным-старшим, так что некуда было убежать от совершенно подобных, так что дух захватывало всячески достойному сожаления господину Голядкину от ужаса, — так что народилась, наконец, страшная бездна совершенно подобных, — так что вся столица запрудилась, наконец, совершенно подобными, и полицейский служитель, видя таковое нарушение приличия, принужден был взять этих всех совершенно подобных за шиворот и посадить в случившуюся у него под боком будку... Цепenea и ледenea от ужаса, просыпался герой наш и, цепenea и ледenea от ужаса, чувствовал, что и наяву едва ли веселее проводится время...

Тяжело, мучительно было... Тоска подходила такая, как будто кто сердце выедал из груди...

Наконец господин Голядкин не мог долее вытерпеть. «Не будет же этого!» — закричал он, с решимостью приподымаясь с постели, и вслед за этим восклицанием совершенно очнулся.

День, по-видимому, уже давно начался. В комнате было как-то не по-обыкновенному светло; солнечные лучи густо процеживались сквозь заиндевевшие от мороза стекла и обильно рассыпались по комнате, что немало удивило господина Голядкина; ибо разве только в полдень заглядывало к нему солнце своим чередом; прежде же таких исключений в течении небесного светила, сколько по крайней мере господин Голядкин сам мог припомнить, почти никогда не бывало. Только что успел подивиться на это герой наш, как зажужжали за перегородкой стенные часы и, таким образом, совершенно приготовились бить. «А, вот!» — подумал господин Голядкин и с тоскливым ожиданием приготовился слушать... Но, к совершенному и окончательному поражению господина Голядкина, часы его понатужились и ударили всего один раз. «Это что за история?» — вскричал наш герой, выскакивая совсем из постели. Так, как был, не веря ушам своим, бросился он за перегородку. На часах был действительно час. Господин Голядкин взглянул на кровать Петрушки; но в комнате даже не пахло Петрушкой: постель его, по-видимому, давно уже была прибрана и оставлена; сапогов его тоже нигде не было, — несомненный признак, что Петрушки действительно не было дома. Господин Голядкин бросился к дверям: двери заперты. «Да где же Петрушка?» — продолжал он шепотом, весь в страшном волнении и чувствуя довольно значительную дрожь во всех членах... Вдруг одна мысль пронеслась в голове его... Господин Голядкин бросился к столу своему, оглядел его, обшарил кругом, — так и есть: вчерашнего письма его к Вахрамееву не было... Петрушки за перегородкой тоже совсем не было; на стенных часах был час, а во вчерашнем письме Вахрамеева были введены какие-то новые пункты, весьма, впрочем, с первого взгляда неясные пункты, но теперь совершенно объяснившиеся. Наконец, и Петрушка — очевидно, подкупленный Петрушка! Да, да, это так!

«Так это там-то главный узел завязывался! — вскричал господин Голядкин, ударив себя по лбу и все более и более открывая глаза. — Так это в гнезде этой скаредной немки кроется теперь вся главная нечистая сила! Так это, стало быть, она только стратегическую диверсию делала, указывая мне на Измайловский мост, — глаза отводила, смущала меня (негодная ведьма!) и вот таким-то образом подкопы вела!!! Да, это так! Если только с этой стороны на дело взглянуть, то все это и будет вот именно так! и появление мерзавца тоже теперь вполне объясняется: это все одно к одному. Они его давно уж держали, приготовляли и на черный день припасали. Ведь вот оно как теперь, как оказа-

лось-то все! Как разрешилось-то все! А ну, ничего! Еще не потеряно время!..» Тут господин Голядкин с ужасом вспомнил, что уже второй час пополудни. «Что, если они теперь и успели... — Стон вырвался у него из груди... — Да нет же, врут, не успели, — посмотрим...» Кое-как он оделся, схватил бумагу, перо и настрочил следующее послание:

«Милостивый государь мой, Яков Петрович!

Либо вы, либо я, а вместе нам невозможно! И потому объявляю вам, что странное, смешное и, вместе, невозможное желание ваше — казаться моим близнецом и выдавать себя за такового послужит ни к чему иному, как к совершенному вашему бесчестию и поражению. И потому прошу вас, ради собственной же выгоды вашей, посторониться и дать путь людям истинно благородным и с целями благонамеренными. В противном же случае готов решиться даже на самые крайние меры. Кладу перо и ожидаю... Впрочем, пребываю готовым на услуги и — на пистолеты.

Я. Голядкин».

Энергически потер себе руки герой наш, когда кончил записку. Затем, натянув шинель и надев шляпу, отпер другим, запасным ключом квартиру и пустился в департамент. До департамента он дошел, но войти не решился; действительно, было уже слишком поздно; половину третьего показывали часы господина Голядкина. Вдруг одно, по-видимому, весьма маловажное обстоятельство разрешило некоторые сомнения господина Голядкина: из-за угла департаментского здания вдруг показалась запыхавшаяся и раскрасневшаяся фигурка и украдкой, крысиной походкой шмыгнула на крыльцо и потом тотчас же в сени. Это был писарь Остафьев, человек, весьма знакомый господину Голядкину, человек, отчасти нужный и за гривенник готовый на все. Зная нежную струну Остафьева и смекнув, что он, после отлучки за самонужнейшей надобностью, вероятно, стал еще более прежнего падок на гривенники, герой наш решил их не жалеть и тотчас же шмыгнул на крыльцо, а потом и в сени вслед за Остафьевым, кликнул его и с таинственным видом пригласил в сторонку, в укромный уголок, за огромную железную печку. Заведя его туда, герой наш начал расспрашивать:

— Ну, что, мой друг, как этак там, того... ты меня понимаешь?..

— Слушаю, ваше благородие, здравия желаю вашему благородию.

— Хорошо, мой друг, хорошо; а я тебя поблагодарю, милый друг. Ну, вот видишь, как же, мой друг?

— Что изволите спрашивать-с? — Тут Остафьев попридержал немного рукою свой нечаянно раскрывшийся рот.

— Я вот видишь ли, мой друг, я того... а ты не думай чего-нибудь... Ну что, Андрей Филиппович здесь?..

— Здесь-с.

— И чиновники здесь?

— И чиновники тоже-с, как следует-с.

— И его превосходительство тоже?

— И его превосходительство тоже-с. — Тут писарь еще другой раз попридержал свой опять раскрывшийся рот и как-то любопытно и странно посмотрел на господина Голядкина. Герою нашему по крайней мере так показалось.

— И ничего особенного такого нету, мой друг?

— Нет-с; никак нет-с.

— Этак обо мне, милый друг, нет ли чего-нибудь там, этак чего-нибудь только... а? только так, мой друг, понимаешь?

— Нет-с, еще ничего не слышно покамест. — Тут писарь опять попридержал свой рот и опять как-то странно взглянул на господина Голядкина. Дело в том, что герой наш старался теперь проникнуть в физиономию Остафьева, прочесть на ней кое-что, не таится ли чего-нибудь. И действительно, как будто что-то такое таилось; дело в том, что Остафьев становился все как-то грубее и суше и не с таким уже участием, как с начала разговора, входил теперь в интересы господина Голядкина. «Он отчасти в своем праве, — подумал господин Голядкин, — ведь что ж я ему? Он, может быть, уже и получил с другой стороны, а потому и отлучился по самонужнейшей-то. А вот я ему и того...» Господин Голядкин понял, что время гривенников наступило.

— Вот тебе, милый друг...

— Чувствительно благодарен вашему благородию.

— Еще более дам.

— Слушаю, ваше благородие.

— Теперь, сейчас еще более дам, и, когда дело кончится, еще столько же дам. Понимаешь?

Писарь молчал, стоял в струнку и неподвижно смотрел на господина Голядкина.

— Ну, теперь говори: про меня ничего не слышно?..

— Кажется, что еще, покамест... того-с... ничего нет покамест-с. — Остафьев отвечал с расстановкой, тоже, как и господин Голядкин, наблюдая немного таинственный вид, подергивая немного бровями, смотря в землю, стараясь попасть в надлежащий тон и, одним словом, всеми силами стараясь наработать обещанное, потому что данное он уже считал за собою и окончательно приобретенным.

— И неизвестно ничего?

— Покамест еще нет-с.

— А послушай... того... оно, может быть, будет известно?

— Потом, разумеется, может быть, будет известно-с.

«Плохо!» — подумал герой наш.

— Послушай, вот тебе еще, милый мой.

— Чувствительно благодарен вашему благородию.

— Вахрамеев был вчера здесь?..

— Были-с.

— А другого кого-нибудь не было ли!.. Припомни-ка, братец?

Писарь порылся с минутку в своих воспоминаниях и надлежащего ничего не припомнил.

— Нет-с, никого другого не было-с.

— Гм! — Последовало молчание.

— Послушай, братец, вот тебе еще; говори все, всю подноготную.

— Слушаю-с. — Остафьев стоял теперь точно шелковый: того надобно было господину Голядкину.

— Объясни мне, братец, теперь, на какой он ноге?

— Ничего-с, хорошо-с, — отвечал писарь, во все глаза смотря на господина Голядкина.

— То есть как хорошо?

— То есть так-с. — Тут Остафьев значительно подернул бровями. Впрочем, он решительно становился в тупик и не знал, что ему еще говорить.

«Плохо!» — подумал господин Голядкин.

— Нет ли у них дальнейшего чего-нибудь с Вахрамеевым-то?

— Да и все, как и прежде-с.

— Подумай-ка.

— Есть, говорят-с.

— А ну, что же такое?

Остафьев попридержал рукою свой рот.

— Письма отгудова нет ли ко мне?

— А сегодня сторож Михеев ходил к Вахрамееву на квартиру, туда-с, к немке ихней-с, так вот я пойду и спрошу, если надобно.

— Сделай одолжение, братец, ради Создателя!.. Я только так... Ты, брат, не думай чего-нибудь, а я только так. Да расспроси, братец, разузнай, не готовится ли что-нибудь там на мой счет. Он-то как действует? вот мне что нужно; вот это ты и узнай, милый друг, а я тебя потом и поблагодарю, милый друг...

— Слушаю-с, ваше благородие, а на вашем месте Иван Семеныч сели сегодня-с.

— Иван Семеныч? А! да! неужели?

— Андрей Филиппович указали им сесть-с...

— Неужели? по какому же случаю? Разузнай это, братец, ради создателя, разузнай это, братец; разузнай это все, — а я тебя поблагодарю, милый мой; вот что мне нужно... А ты не думай чего-нибудь, братец...

— Слушаю-с, слушаю-с, тотчас сойду сюда-с. Да вы, ваше благородие, разве не войдете сегодня?

— Нет, мой друг; я только так, я ведь так только, я посмотреть только пришел, милый друг, а потом я тебя и поблагодарю, милый мой.

— Слушаю-с. — Писарь быстро и усердно побежал вверх по лестнице, а господин Голядкин остался один.

«Плохо, — подумал он. — Эх, плохо, плохо! Эх, дельцо-то наше... как теперь плоховато! Что бы это значило все? что именно значили некоторые намеки этого пьяницы, например, и чья это штука? А! я теперь знаю, чья это штука. Это вот какая штука. Они, верно, узнали, да и посадили... Впрочем, что ж, — посадили? это Андрей Филиппович его посадил, Ивана-то Семеновича; да, впрочем, зачем же он его посадил и с какою именно целью посадил? Вероятно, узнали... Это Вахrameев работает, то есть не Вахrameев, он глуп, как простое осиновое бревно, Вахrameев-то; а это они все за него работают, да и шельмеца-то за тем же самым сюда натравили; а немка нажаловалась, одноглазая! Я всегда подозревал, что вся эта интрига неспроста и что во всей этой бабей, старушней сплетне непременно есть что-нибудь; то же самое я и Крестьяну Ивановичу говорил, что, дескать, поклялись зарезать, в нравственном смысле говоря, человека, да и ухватились за Каролину Ивановну. Нет, тут мастера работают, видно! Тут, сударь мой, работает мастерская рука, а не Вахrameев. Уже сказано, что глуп Вахrameев, а это... я знаю теперь, кто здесь за них всех работает: это шельмец работает, самозванец работает! На этом одном он и лепится, что доказывает отчасти и успехи его в высшем обществе. А действительно, желательно бы знать было, на какой он ноге теперь... что-то он там у них? Только зачем же они там взяли Ивана-то Семеновича? на какой им черт было нужно Ивана Семеновича? точно нельзя уж было достать другого кого. Впрочем, кого ни посади, все было бы то же самое; а что я только знаю, так это то, что он, Иван-то Семенович, был мне давно подозрителен, я про него давно замечал: старикашка такой скверный, гадкий такой, — говорят, на проценты дает и жиловские проценты берет. А ведь это все медведь мастерит. Во все это обстоятельство медведь замешался. Началось-то оно таким образом. У Измайловского моста оно началось; вот оно как началось...» Тут господин Голядкин сморщился, словно лимон разгрыз, вероятно, припомнив что-нибудь весьма неприятное. «Ну, да ничего, впрочем! — подумал он. — А вот только я все про свое. Что же это Остафьев не идет? Вероятно, засел или был остановлен там как-нибудь. Это ведь и хорошо отчасти, что я так интригую и с своей стороны подкопы веду. Остафьеву только гривенник нужно дать, так он и того... и на моей стороне. Только вот дело в чем: точно ли он на моей стороне; может быть, они его тоже с своей стороны... и, с своей стороны согласись

с ним, интригу ведут. Ведь разбойником смотрит, мошенник, чистым разбойником! Таятся, шельмец! «Нет, ничего, говорит, и чувствительно, дескать, вам, ваше благородие, говорит, благодарен». Разбойник ты этакой!»

Послышался шум... господин Голядкин съежился и прыгнул за печку. Кто-то сошел с лестницы и вышел на улицу. «Кто бы это так отправлялся теперь?» — подумал про себя наш герой. Через минутку послышались опять чьи-то шаги... Тут господин Голядкин не вытерпел и высунул из-за своего бруствера маленький-маленький кончик носу, — высунул и тотчас же осекся назад, словно кто ему булавкой нос уколол. На этот раз проходил известно кто, то есть шельмец, интригант и развратник, — проходил по обыкновению своим подленьким частым шажком, присеменявая и выкидывая ножками так, как будто бы собирался кого-то лягнуть. «Подлец!» — проговорил про себя наш герой. Впрочем, господин Голядкин не мог не заметить, что у подлеца под мышкой был огромный зеленый портфель, принадлежавший его превосходительству. «Он это опять по-особому», — подумал господин Голядкин, покраснев и съжившись еще более прежнего от досады. Только что господин Голядкин-младший промелькнул мимо господина Голядкина-старшего, совсем не заметив его, как послышались в третий раз чьи-то шаги, и на этот раз господин Голядкин догадался, что шаги были писарские. Действительно, какая-то примазанная писарская фигурка заглянула к нему за печку; фигурка, впрочем, была не Остафьева, а другого писаря, Писаренки по прозвищу. Это изумило господина Голядкина. «Зачем же это он других в секрет замешал? — подумал герой наш. — Экие варвары! святого у них ничего не имеется!»

— Ну, что, мой друг? — проговорил он, обращаясь к Писаренке. — Ты, мой друг, от кого?..

— Вот-с, по вашему дельцу-с. Ни от кого известий покамест нет никаких-с. А если будут, уведомим-с.

— А Остафьев?..

— Да ему, ваше благородие, никак нельзя-с. Его превосходительство уже два раза проходили по отделению, да и мне теперь некогда.

— Спасибо, милый мой, спасибо тебе... Только ты мне скажи...

— Ей-богу же, некогда-с... Поминутно нас спрашивают-с... А вот вы извольте здесь еще постоять-с, так если будет что-нибудь относительно вашего дельца-с, так мы вас уведомим-с...

— Нет, ты, мой друг, ты скажи...

— Позвольте-с; мне некогда-с, — говорил Писаренко, порываясь от ухватившего его за полу господина Голядкина, — право, нельзя-с. Вы извольте здесь еще постоять-с, так мы и уведомим.

— Сейчас, сейчас, друг мой! сейчас, милый друг! Вот что теперь: вот письмо, мой друг; а я тебя поблагодарю, милый мой.

— Слушаюсь-с.

— Постарайся отдать, милый мой, господину Голядкину.

— Голядкину?

— Да, мой друг, господину Голядкину.

— Хорошо-с; вот как уберусь, так снесу-с. А вы здесь стойте покамест. Здесь никто не увидит...

— Нет, я, мой друг, ты не думай... я ведь здесь стою не для того, чтоб кто-нибудь не видел меня. А я, мой друг, теперь буду не здесь... буду вот здесь в переулочке. Кофейная есть здесь одна; так я там буду ждать, а ты, если случится что, и уведомляй меня обо всем, понимаешь?

— Хорошо-с. Пустите только; я понимаю...

— А я тебя поблагодарю, милый мой! — кричал господин Голядкин вслед освободившемуся, наконец, Писаренке... «Шельмец, кажется, грубее стал после, — подумал герой наш, украдкой выходя из-за печки. — Тут еще есть крючок. Это ясно... Сначала было и того, и сего... Впрочем, он и действительно торопился; может быть, дела там много. И его превосходительство два раза ходили по отделению... По какому бы это случаю было?.. Ух! да ну, ничего! оно, впрочем, и ничего, может быть, а вот мы теперь и посмотрим...»

Тут господин Голядкин отворил было дверь и хотел уже выйти на улицу, как вдруг, в это самое мгновение, у крыльца загремела карета его превосходительства. Не успел господин Голядкин опомниться, как отворились изнутри двери кареты, и сидевший в ней господин выпрыгнул на крыльцо. Приехавший был не кто иной, как тот же господин Голядкин-младший, минут десять тому назад отлучившийся. Господин Голядкин-старший вспомнил, что квартира директора была в двух шагах. «Это он по-особому», — подумал наш герой про себя. Между тем господин Голядкин-младший, захватив из кареты толстый зеленый портфель и еще какие-то бумаги, приказав, наконец, что-то кучеру, отворил дверь, почти толкнув ею господина Голядкина-старшего, и, нарочно не заметив его и, следовательно, действуя таким образом ему в пику, пустился скоробежкой вверх по департаментской лестнице. «Плохо! — подумал господин Голядкин, — эх, дельцо-то наше чего прихватило теперь! Ишь его, господи бог мой!» С полминутки еще простоял наш герой неподвижно; наконец, он решился. Долго не думая, чувствуя, впрочем, сильное трепетание сердца и дрожь во всех членах, побежал он вслед за приятелем своим вверх по лестнице. «А! была не была; что же мне-то такое? я сторона в этом деле», — думал он, снимая шляпу, шинель и калоши в передней.

Когда господин Голядкин вошел в свое отделение, были уже полные сумерки. Ни Андрея Филипповича, ни Антона Антоновича не было в комнате. Оба они находились в директорском кабинете с докладами; директор же, как по слухам известно было, в свою очередь

спешил к его высокопревосходительству. Вследствие таковых обстоятельств, да еще потому, что и сумерки сюда подмешались и кончалось время присутствия, некоторые из чиновников, преимущественно же молодежь, в ту самую минуту, когда вошел наш герой, занимались некоторого рода бездействием, сходились, разговаривали, толковали, смеялись, и даже кое-кто из самых юнейших, то есть из самых бесчиновных чиновников, втихомолочку и под общий шумок составили орлянку в углу, у окошка. Зная приличие и чувствуя в настоящее время какую-то особенную надобность приобрести и найти, господин Голядкин немедленно подошел кой к кому, с кем ладил получше, чтоб пожелать доброго дня и т.д. Но как-то странно ответили сослуживцы на приветствие господина Голядкина. Неприятно был он поражен какою-то всеобщей холодностью, сухостью, даже, можно сказать, какою-то строгостью приема. Руки ему не дал никто. Иные просто сказали «здравствуйте» и прочь отошли; другие лишь головою кивнули, кое-кто просто отвернулся и показал, что ничего не заметил, наконец, некоторые, — и что было всего обиднее господину Голядкину, — некоторые из самой бесчиновной молодежи, ребята, которые, как справедливо выразился о них господин Голядкин, умеют лишь в орлянку поиграть при случае да где-нибудь потаскаться, — мало-помалу окружили господина Голядкина, сгруппировались около него и почти заперли ему выход. Все они смотрели на него с каким-то оскорбительным любопытством.

Знак был дурной. Господин Голядкин чувствовал это и благодарно приготовился с своей стороны ничего не заметить. Вдруг одно совершенно неожиданное обстоятельство совсем, как говорится, доконало и уничтожило господина Голядкина.

В кучке молодых окружавших его сослуживцев вдруг, и, словно нарочно, в самую тоскливую минуту для господина Голядкина, появился господин Голядкин-младший, веселый по-всегдашнему, с улыбочкой по-всегдашнему, вертявый тоже по-всегдашнему, одним словом: шалун, прыгун, лизун, хохотун, легок на язычок и на ножку, как и всегда, как прежде, точно так, как и вчера, например, в одну весьма неприятную минутку для господина Голядкина-старшего. Ослабившись, вертясь, семеня, с улыбочкой, которая так и говорила всем: «доброго вечера», втерся он в кучку чиновников, тому пожал руку, этого по плечу потрепал, третьего обнял слегка, четвертому объяснил, по какому именно случаю был его превосходительством употреблен, куда ездил, что сделал, что с собою привез; пятого и, вероятно, своего лучшего друга чмокнул в самые губки, — одним словом, все происходило точь-в-точь, как во сне господина Голядкина-старшего. Напрыгавшись досыта, покончив со всяким по-своему, обделаив их всех в свою пользу, нужно ль, не нужно ли было, нализавшись всласть с ними со всеми, господин Голядкин-младший вдруг, и, вероятно, ошибкой, еще не

успев заметить до сих пор своего старейшего друга, протянул руку и господину Голядкину-старшему. Вероятно, тоже ошибкой, хотя, впрочем, и успев совершенно заметить неблагородного господина Голядкина-младшего, тотчас же жадно схватил наш герой простертую ему так неожиданно руку и пожал ее самым крепким, самым дружеским образом, пожал ее с каким-то странным, совсем неожиданным внутренним движением, с каким-то слезящимся чувством. Был ли обманут герой наш первым движением неблагопристойного врага своего, или так, не нашелся, или почувствовал и сознал в глубине души своей всю степень своей незащитности, — трудно сказать. Факт тот, что господин Голядкин-старший, в здравом виде, по собственной воле своей, и при свидетелях, торжественно пожал руку того, кого называл смертельным врагом своим. Но каково же было изумление, иступление и бешенство, каков же был ужас и стыд господина Голядкина-старшего, когда неприятель и смертельный враг его, неблагородный господин Голядкин-младший, заметив ошибку преследуемого, невинного и вероломно обманутого им человека, без всякого стыда, без чувств, без сострадания и совести, вдруг с нестерпимым нахальством и с грубостию вырвал свою руку из руки господина Голядкина-старшего; мало того, — стряхнул свою руку, как будто замарал ее через то в чем-то совсем нехорошем; мало того, — плюнул на сторону, сопровождая все это самым оскорбительным жестом; мало того, — вынул платок свой и тут же, самым бесчиннейшим образом, вытер им все пальцы свои, побывавшие на минутку в руке господина Голядкина-старшего. Действуя таким образом, господин Голядкин-младший, по подленькому обыкновению своему, нарочно осматривался крутом, делал так, чтоб все видели его поведение, заглядывал всем в глаза и, очевидно, старался о внушении всем всего самого неблагоприятного относительно господина Голядкина. Казалось, что поведение отвратительного господина Голядкина-младшего возбудило всеобщее негодование окружавших чиновников; даже ветреная молодежь показала свое неудовольствие. Кругом поднялся ропот и говор. Всеобщее движение не могло миновать ушей господина Голядкина-старшего; но вдруг — кстати подоспевшая шуточка, накипевшая, между прочим, в устах господина Голядкина-младшего, разбила, уничтожила последние надежды героя нашего и наклонила баланс опять в пользу смертельного и бесполезного врага его.

— Это наш русский Фоблаз, господа; позвольте вам рекомендовать молодого Фоблаза, — запищал господин Голядкин-младший, с свойственно ему наглостью семени и выюня меж чиновниками и указывая им на оцепеневшего и, вместе с тем, иступленного настоящего господина Голядкина. «Поцелуемся, душка!» — продолжал он с нестерпимою фамильярностью, подвигаясь к предательски оскорбленному им человеку. Шуточка бесполезного господина Голядкина-

младшего, кажется, нашла отголосок, где следовало, тем более, что в ней заключался коварный намек на одно обстоятельство, по-видимому, уже гласное и известное всем. Герой наш тяжело почувствовал руку врагов на плечах своих. Впрочем, он уже решился. С пылающим взором, с бледным лицом, с неподвижной улыбкой выбрался он кое-как из толпы и неровными, учащенными шагами направил свой путь прямо к кабинету его превосходительства. В предпоследней комнате встретился с ним только что выходивший от его превосходительства Андрей Филиппович, и хотя тут же в комнате было порядочно всяких других, совершенно посторонних в настоящую минуту для господина Голядкина лиц, но герой наш и внимания не хотел обратить на подобное обстоятельство. Прямо, решительно, смело, почти сам себе удивляясь и внутренне себя за смелость похваливая, абсорбировал он, не теряя времени, Андрея Филипповича, порядочно изумленного таким нечаянным нападением.

— А!.. что вы... что вам угодно? — спросил начальник отделения, не слушая запнувшегося на чем-то господина Голядкина.

— Андрей Филиппович, я... могу ли я, Андрей Филиппович, иметь теперь, тотчас же и глаз на глаз, разговор с его превосходительством? — речисто и отчетливо проговорил наш герой, устремив самый решительный взгляд на Андрея Филипповича.

— Что-с? конечно, нет-с. — Андрей Филиппович с ног до головы обмерил взглядом своим господина Голядкина.

— Я, Андрей Филиппович, все это к тому говорю, что удивляюсь, как никто здесь не обличит самозванца и подлеца.

— Что-о-с?

— Подлеца, Андрей Филиппович.

— О ком же это угодно таким образом относиться?

— Об известном лице, Андрей Филиппович. Я, Андрей Филиппович, на известное лицо намекаю; я в своем праве... Я думаю, Андрей Филиппович, что начальство должно было бы поощрять подобные движения, — прибавил господин Голядкин, очевидно не помня себя, — Андрей Филиппович... вы, вероятно, сами видите, Андрей Филиппович, что это благородное движение и всяческую мою благонамеренность означает, — принять начальника за отца, Андрей Филиппович, принимаю, дескать, благодетельное начальство за отца и слепо верю судьбу свою. Так и так, дескать... вот как... — Тут голос господина Голядкина задрожал, лицо его покраснелось, и две слезы набежали на обеих ресницах его.

Андрей Филиппович, слушая господина Голядкина, до того удивился, что как-то невольно отшатнулся шага на два назад. Потом с беспокойством осмотрелся кругом... Трудно сказать, чем бы кончилось дело... Но вдруг дверь из кабинета его превосходительства открылась, и он сам вышел, в сопровождении некоторых чиновников. За

ним потянулись все, кто ни был в комнате. Его превосходительство подозвал Андрея Филипповича и пошел с ним рядом, заведя разговор о каких-то делах. Когда все тронулись и пошли вон из комнаты, опомнился и господин Голядкин. Присмирив, приотился он под крылышко Антона Антоновича Сеточкина, который сзади всех ковылял в свою очередь и, как показалось господину Голядкину, с самым строгим и озабоченным видом. «Проврался я и тут, нагадил и тут, — подумал он про себя, — да ну, ничего».

— Надеюсь, что по крайней мере вы, Антон Антонович, согласитесь прослушать меня и вникнуть в мои обстоятельства, — проговорил он тихо и еще немного дрожащим от волнения голосом. — Отверженный всеми, обращаюсь я к вам. Недоумеваю до сих пор, что значили слова Андрея Филипповича, Антон Антонович. Объясните мне их, если можно...

— Своевременно все объяснится-с, — строго и с расстановкою отвечал Антон Антонович и, как показалось господину Голядкину, с таким видом, который ясно давал знать, что Антон Антонович вовсе не желает продолжать разговора. — Узнаете в скором времени все-с. Сегодня же форменно обо всем известитесь.

— Что же такое форменно, Антон Антонович? почему же так именно форменно-с? — робко спросил наш герой.

— Не нам с вами рассуждать, Яков Петрович, как начальство решает.

— Почему же начальство, Антон Антонович, — проговорил господин Голядкин, оробев еще более. — Почему же начальство? Я не вижу причины, почему же тут нужно беспокоить начальство, Антон Антонович... Вы, может быть, что-нибудь относительно вчерашнего хотите сказать, Антон Антонович?

— Да нет-с, не вчерашнее-с; тут кое-что другое хромает-с у вас.

— Что же хромает, Антон Антонович? мне кажется, Антон Антонович, что у меня ничего не хромает.

— А хитрить-то с кем собирались? — резко пересек Антон Антонович совершенно оторопевшего господина Голядкина. Господин Голядкин вздрогнул и побледнел, как платок.

— Конечно, Антон Антонович, — проговорил он едва слышным голосом, — если внимать голосу клеветы и слушать врагов наших, не приняв оправдания с другой стороны, то, конечно... конечно, Антон Антонович, тогда можно и пострадать, Антон Антонович, безвинно и ни за что пострадать.

— То-то-с; а неблагопристойный поступок ваш во вред репутации благородной девицы того добродетельного, почтенного и известного семейства, которое вам благодетельствовало?

— Какой же это поступок, Антон Антонович?

— То-то-с. А относительно другой девицы, хотя бедной, но зато честного иностранного происхождения, похвального поступка своего тоже не знаете-с?

— Позвольте, Антон Антонович... благоволите, Антон Антонович, выслушать...

— А вероломный поступок ваш и клевета на другое лицо — обвинение другого лица в том, в чем сами грешка прихватили? а? это как называется?

— Я, Антон Антонович, не выгонял его, — проговорил, затрепетав, наш герой, — и Петрушку, то есть человека моего, подобному ничему не учил-с... Он ел мой хлеб, Антон Антонович; он пользовался гостеприимством моим, — прибавил выразительно и с глубоким чувством герой наш, так что подбородок его запрыгал немножко и слезы готовы были опять вернуться.

— Это вы, Яков Петрович, только так говорите, что он хлеб-то ваш ел, — отвечал, ослабляясь, Антон Антонович, и в голосе его было слышно лукавство, так что по сердцу скребнуло у господина Голядкина.

— Позвольте еще вас, Антон Антонович, нижайше спросить: известны ли обо всем этом деле его превосходительство?

— Как же-с! Впрочем, вы теперь пустите меня-с. Мне с вами тут некогда... Сегодня же обо всем узнаете, что вам следует знать-с.

— Позвольте, ради бога, еще на минутку, Антон Антонович...

— После расскажете-с...

— Нет-с, Антон Антонович; я-с, видите-с, прислушайте только, Антон Антонович... Я совсем не вольнодумство, Антон Антонович, я бегу вольнодумства; я совершенно готов с своей стороны и даже пропускал ту идею...

— Хорошо-с, хорошо-с. Я уж слышал-с...

— Нет-с, этого вы не слыхали, Антон Антонович. Это другое, Антон Антонович, это хорошо, право хорошо, и приятно слышать... Я пропускал, как выше объяснил, ту идею, Антон Антонович, что вот промысл Божий создал двух совершенно подобных, а благотельное начальство, видя промысл Божий, приютили двух близнецов-с. Это хорошо, Антон Антонович. Вы видите, что это очень хорошо, Антон Антонович, и что я далек вольнодумства. Принимаю благотельное начальство за отца. Так и так, дескать, благотельное начальство, а вы того... дескать... молодому человеку нужно служить... Поддержите меня, Антон Антонович, заступитесь за меня, Антон Антонович... Я ничего-с... Антон Антонович, ради бога, еще одно словечко... Антон Антонович...

Но уже Антон Антонович был далеко от господина Голядкина... Герой же наш не знал, где стоял, что слышал, что делал, что с ним

сделалось и что еще будут делать с ним — так смутило его и потрясло все им слышанное и все с ним случившееся.

Умоляющим взором отыскивал он в толпе чиновников Антона Антоновича, чтоб еще более оправдаться в глазах его и сказать ему что-нибудь крайне благонамеренное и весьма благородное и приятное относительно себя самого... Впрочем, мало-помалу, новый свет начинал пробиваться сквозь смущение господина Голядкина, новый, ужасный свет, озаривший перед ним варут, разом, целую перспективу совершенно неведомых доселе и даже нисколько не подозреваемых обстоятельств... В эту минуту кто-то толкнул совершенно сбившегося героя нашего под бок. Он оглянулся. Перед ним стоял Писаренко.

— Письмо-с, ваше благородие.

— А!.. ты уже сходил, милый мой?

— Нет, это еще утром в десять часов сюда принесли-с. Сергей Михеев, сторож, принес-с с квартиры губернского секретаря Вахрамеева.

— Хорошо, мой друг, хорошо, а я тебя поблагодарю, милый мой.

Сказав это, господин Голядкин спрятал письмо в боковой карман своего вицмундира и застегнул его на все пуговицы; потом осмотрелся кругом и, к удивлению своему, заметил, что уже находится в сенях департаментских, в кучке чиновников, столпившихся к выходу, ибо кончилось присутствие. Господин Голядкин не только не замечал до сих пор этого последнего обстоятельства, но даже не заметил и не помнил того, каким образом он вдруг очутился в шинели, в калошах и держал свою шляпу в руках. Все чиновники стояли неподвижно и в почтительном ожидании. Дело в том, что его превосходительство остановился внизу лестницы, в ожидании своего почему-то замешкавшегося экипажа, и вел весьма интересный разговор с двумя советниками и с Андреем Филипповичем. Немного поодаль от двух советников и Андрея Филипповича стоял Антон Антонович Сеточкин и кое-кто из других чиновников, которые весьма улыбались, видя, что его превосходительство изволит шутить и смеяться. Столпившиеся наверху лестницы чиновники тоже улыбались и ждали, покамест его превосходительство опять засмеются. Не улыбался лишь только один Федосенч, толстопузый швейцар, державшийся у ручки дверей, вытянувшийся в струнку и с нетерпением ожидавший порции своего обыкновенного удовольствия, состоявшего в том, чтоб разом, одним взмахом руки, широко откинуть одну половинку дверей и потом, согнувшись в дугу, почтительно пропустить мимо себя его превосходительство. Но всех более, по-видимому, был рад и чувствовал удовольствие недостойный и неблагородный враг господина Голядкина. Он в это мгновение даже позабыл всех чиновников, даже оставил выюнить и семенить между ними, по своему подленькому обыкновению, даже позабыл, пользуясь случаем, подлизаться к кому-нибудь в это мгно-

вание. Он обратился весь в слух и зрение, как-то странно съежился, вероятно чтоб удобнее слушать, не спуская глаз с его превосходительства, и изредка только подергивало его руки, ноги и голову какими-то едва заметными судорогами, обличавшими все внутренние, сокровенные движения души его.

«Ишь его разбирает! — подумал герой наш. — Фаворитом смотрит, мошенник! Желал бы я знать, чем он именно берет в обществе высокого тона? Ни ума, ни характера, ни образования, ни чувства; везет шельмецу! Господи боже! ведь как это скоро может пойти человек, как подумаешь, и найти во всех людях! И пойдет человек, клятву даю, что пойдет далеко, шельмец, доберется, — везет шельмецу! Желал бы я еще узнать, что именно такое он всем им нашептывает? Какие тайны у него со всем этим народом заводятся и про какие секреты они говорят? Господи боже! Как бы мне этак, того... и с ними бы тоже немножко... дескать, так и так, попросить его разве... дескать, так и так, а я больше не буду; дескать, я виноват, а молодому человеку, ваше превосходительство, нужно служить в наше время; обстоятельством же темным моим я отнюдь не смущаюсь, — вот оно как! протестовать там каким-нибудь образом тоже не буду, и все с терпением и смирением снесу, — вот как! Вот разве так поступить?.. Да, впрочем, его не проймешь, шельмеца, никаким словом не пробьешь; резону-то ему вгондить нельзя в забубенную голову... А впрочем, попробуем. Случится, что в добрый час попаду, так вот и попробовать...»

В беспокойстве своем, в тоске и смущении, чувствуя, что так оставаться нельзя, что наступает минута решительная, что нужно же с кем-нибудь объясниться, герой наш стал было понемножку подвигаться к тому месту, где стоял недостойный и загадочный приятель его; но в самое это время у подъезда загремел давно ожидаемый экипаж его превосходительства. Федосеич рванул дверь и, согнувшись в три дуги, пропустил его превосходительство мимо себя. Все ожидавшие разом хлынули к выходу и оттеснили на мгновение господина Голядкина-старшего от господина Голядкина-младшего. «Не уйдешь!» — говорил наш герой, прорываясь сквозь толпу и не спуская глаз с кого следовало. Наконец толпа раздалась. Герой наш почувствовал себя на свободе и ринулся в погоню за своим неприятелем.

ГЛАВА XI

Дух занимался в груди господина Голядкина; словно на крыльях летел он вслед за своим быстро удалявшимся неприятелем. Чувствовал он в себе присутствие страшной энергии. Впрочем, несмотря на присутствие страшной энергии, господин Голядкин мог смело надеяться, что в настоящую минуту даже простой комар, если б только он мог в такое время жить в Петербурге, весьма бы удобно перешиб его кры-

лом своим. Чувствовал он еще, что опал и ослаб совершенно, что несет его какою-то совершенно особенною и постороннею силою, что он вовсе не сам идет, что, напротив, его ноги подкашиваются и слушать отказываются. Впрочем, это все могло бы устроиться к лучшему. «К лучшему — не к лучшему, — думал господин Голядкин, почти задыхаясь от скорого бега, — но что дело проиграно, так в том теперь и сомнения малейшего нет; что пропал я совсем, так уж это известно, определено, решено и подписано». Несмотря на все это, герой наш словно из мертвых воскрес, словно баталию выдержал, словно победу схватил, когда пришлось ему уцепиться за шинель своего неприятеля, уже заносившего одну ногу на дрожки куда-то только что стоворенного им ваньки. «Милостивый государь! милостивый государь! — закричал он, наконец, настигнутому им неблагородному господину Голядкину-младшему. — Милостивый государь, я надеюсь, что вы...»

— Нет, вы уж, пожалуйста, ничего не надейтесь, — уклончиво отвечал бесчувственный неприятель господина Голядкина, стоя одною ногою на одной ступеньке дрожek, а другою изо всех сил порываясь попасть на другую сторону экипажа, тщетно махая ею по воздуху, стараясь сохранить экилибр и вместе с тем стараясь всеми силами отцепить шинель свою от господина Голядкина-старшего, за которую тот, с своей стороны, уцепился всеми данными ему природою средствами.

— Яков Петрович! только десять минут...

— Извините, мне некогда-с.

— Согласитесь сами, Яков Петрович... пожалуйста, Яков Петрович... ради бога, Яков Петрович... так и так — объясниться... на смелую ногу... Секундочку, Яков Петрович!..

— Голубчик мой, некогда, — отвечал с неучтивою фамильярностью, но под видом душевной доброты, ложно благородный неприятель господина Голядкина, — в другое время, поверьте, от полноты души и от чистого сердца; но теперь — вот, право ж, нельзя.

«Подлец!» — подумал герой наш.

— Яков Петрович! — закричал он тоскливо. — Я вашим врагом никогда не бывал. Злые же люди несправедливо меня описали... С своей стороны я готов... Яков Петрович, угодно, мы с вами, Яков Петрович, вот тотчас зайдем?.. И там, от чистого сердца, как справедливо сказали вы тотчас, и языком прямым, благородным... вот в эту кофейную: тогда все само собой объяснится, — вот как, Яков Петрович! Тогда непременно все само собой объяснится...

— В кофейную? хорошо-с. Я не прочь, зайдем в кофейную, с одним только условием, радость моя, с единым условием, — что там все само собой объяснится. Дескать, так и так, душка, — проговорил господин Голядкин-младший, слезая с дрожek и бесстыдно потрепав героя нашего по плечу, — дружище ты этакой; для тебя, Яков Петрович, я готов переулочком (как справедливо в одно время вы, Яков

Петрович, заметить изволили). Ведь вот плут, право, что захочет, то и делает с человеком! — продолжал ложный друг господина Голядкина, с легкой улыбочкой вертясь и увиваясь около него.

Отдаленная от больших улиц кофейная, куда вошли оба господина Голядкина, была в эту минуту совершенно пуста. Довольно толстая немка появилась у прилавка, едва только заслышавшись звон колокольчика. Господин Голядкин и недостойный неприятель его прошли во вторую комнату, где одутловатый и остриженный под гребенку мальчишка возился с вязанкою щепок около печки, сияясь возобновить в ней погасавший огонь. По требованию господина Голядкина-младшего подан был шоколад.

— А пресдобная бабенка, — проговорил господин Голядкин-младший, плутовски мигнув господину Голядкину-старшему.

Герой наш покраснел и смолчал.

— А, да, позабыл, извините. Знаю ваш вкус. Мы, сударь, лакомы до тоненьких немочек; мы, дескать, душа ты правдивая, Яков Петрович, лакомы с тобою до тоненьких, хотя, впрочем, и не лишенных еще приятности немочек; квартиры у них нанимаем, их нравственность соблазняем, за бир-суп да мильх-суп наше сердце им посвящаем да разные подписки даем, — вот что мы делаем, Фоблаз ты такой, предатель ты этакой!

Все это проговорил господин Голядкин-младший, делая, таким образом, совершенно бесполезный, хотя, впрочем, и злодейски хитрый намек на известную особу женского пола, увиваясь около господина Голядкина, улыбаясь ему под видом любезности, ложно показывая, таким образом, радушие к нему и радость при встрече с ним. Замечая же, что господин Голядкин-старший вовсе не так глуп и вовсе не до того лишен образованности и манер хорошего тона, чтоб сразу поверить ему, неблагородный человек решился переменить свою тактику и повести дела на открытую ногу. Тут же, проговорив свою гнусность, фальшивый господин Голядкин заключил тем, что с возмущающим душу бесстыдством и фамильярностью потрепал солидного господина Голядкина по плечу и, не удовольствовавшись этим, пустился заигрывать с ним совершенно неприличным в обществе хорошего тона образом, именно вознамерился повторить свою прежнюю гнусность, то есть, несмотря на сопротивление и легкие крики возмущенного господина Голядкина-старшего, ущипнуть его за щеку. При виде такого разврата герой наш вскипел и смолчал... до времени, впрочем.

— Это речь врагов моих, — ответил он, наконец, благоразумно сдерживая себя, трепещущим голосом. В то же самое время герой наш с беспокойством оглянулся на дверь. Дело в том, что господин Голядкин-младший был, по-видимому, в превосходном расположении духа и в готовности пуститься на разные шуточки, не позволительные

в общественном месте и, вообще говоря, не допускаемые законами света, и преимущественно в обществе высокого тона.

— А, ну, в таком случае, как хотите, — серьезно возразил господин Голядкин-младший на мысль господина Голядкина-старшего, поставив свою опустелую чашку, выпитую им с неприличною жадностью, на стол. — Ну-с, мне с вами долго нечего, впрочем... Ну-с, каково-то вы теперь поживаете, Яков Петрович?

— Одно только могу сказать я вам, Яков Петрович, — хладнокровно и с достоинством отвечал наш герой, — врагом вашим я никогда не бывал.

— Гм... ну, а Петрушка? как бишь! Петрушка ведь, кажется? — ну, да! Что, каков? хорошо? по-прежнему?

— И он тоже по-прежнему, Яков Петрович, — отвечал немного изумленный господин Голядкин-старший. — Я не знаю, Яков Петрович... с моей стороны... с благородной, с откровенной стороны, Яков Петрович, согласитесь сами, Яков Петрович...

— Да-с. Но вы сами знаете, Яков Петрович, — отвечал тихим и выразительным голосом господин Голядкин-младший, фальшиво изображая собою, таким образом, грустного, полного раскаяния и сожаления достойного человека, — сами вы знаете, время наше тяжелое... Я на вас пошлюсь, Яков Петрович; человек вы умный и справедливо рассудите, — включил господин Голядкин-младший, подложась господину Голядкину-старшему. — Жизнь не игрушка, — сами вы знаете, Яков Петрович, — многозначительно заключил господин Голядкин-младший, прикидываясь, таким образом, умным и ученым человеком, который может рассуждать о высоких предметах.

— С своей стороны, Яков Петрович, — с одушевлением отвечал наш герой, — с своей стороны, презирая окольным путем и говоря смело и откровенно, говоря языком прямым, благородным и поставив все дело на благородную доску, скажу вам, могу открыто и благородно утверждать, Яков Петрович, что я чист совершенно и что, сами вы знаете, Яков Петрович, обоюдное заблуждение, — все может быть, — суд света, мнение раболопной толпы... Я говорю откровенно, Яков Петрович, все может быть. Еще скажу, Яков Петрович, если так судить, если с благородной и высокой точки зрения на дело смотреть, то смело скажу, без ложного стыда скажу, Яков Петрович, мне даже приятно будет открыть, что я заблуждался, мне даже приятно будет сознаться в том. Сами вы знаете, вы человек умный, а сверх того благородный. Без стыда, без ложного стыда готов в этом сознаться... — с достоинством и благородством заключил наш герой.

— Рок, судьба! Яков Петрович... но оставим все это, — со вздохом проговорил господин Голядкин-младший. — Употребим лучше краткие минуты нашей встречи на более полезный и приятный разговор, как следует между двумя сослуживцами... Право, мне как-то не

удавалось с вами двух слов сказать во все это время... В этом не я виноват, Яков Петрович...

— И не я, — с жаром перебил наш герой, — и не я! Сердце мое говорит мне, Яков Петрович, что не я виноват во всем этом. Будем обвинять судьбу во всем этом, Яков Петрович, — прибавил господин Голядкин-старший совершенно примирительным тоном. Голос его начинал мало-помалу слабеть и дрожать.

— Ну, что? как вообще ваше здоровье? — произнес заблудшийся сладким голосом.

— Немного покашливаю, — отвечал еще слаще герой наш.

— Берегитесь. Теперь все такие поветрия, немудрено схватить жабу, и я, признаюсь вам, начинаю уже кутаться во фланель.

— Действительно, Яков Петрович, немудрено схватить жабу-с... Яков Петрович! — произнес после кроткого молчания герой наш. — Яков Петрович! я вижу, что я заблуждался... Я с умилением вспоминаю о тех счастливых минутах, которые удалось нам провести вместе под бедным, но, смею сказать, радушным кровом моим...

— В письме вашем вы, впрочем, не то написали, — отчасти с укоризною проговорил совершенно справедливый (впрочем, единственно только в этом отношении совершенно справедливый) господин Голядкин-младший.

— Яков Петрович! я заблуждался... Ясно вижу теперь, что заблуждался и в этом несчастном письме моем. Яков Петрович, мне совестно смотреть на вас, Яков Петрович, вы не поверите... Дайте мне это письмо, чтоб разорвать его в ваших же глазах, Яков Петрович, или если уж этого никак невозможно, то умоляю вас читать его наоборот, — совсем наоборот, то есть нарочно с намерением дружеским, давая обратный смысл всем словам письма моего. Я заблуждался. Простите меня, Яков Петрович, я совсем... я горестно заблуждался, Яков Петрович.

— Вы говорите? — довольно рассеяннo и равнодушно спросил вероломный друг господина Голядкина-старшего.

— Я говорю, что я совсем заблуждался, Яков Петрович, и что с моей стороны я совершенно без ложного стыда...

— А, ну, хорошо! Это очень хорошо, что вы заблуждались, — грубо отвечал господин Голядкин-младший.

— У меня, Яков Петрович, даже идея была, — прибавил благородным образом откровенный герой наш, совершенно не замечая ужасного вероломства своего ложного друга, — у меня даже идея была, что, дескать, вот, создались два совершенно подобные...

— А! это ваша идея!..

Тут известный своею бесполезностью господин Голядкин-младший встал и схватился за шляпу. Все еще не замечая обмана, встал и господин Голядкин-старший, простодушно и благородно улыбаясь

своему лжеприятелю, стараясь в невинности своей его приласкать, ободрить и завязать с ним таким образом новую дружбу...

— Прощайте, ваше превосходительство! — вскрикнул вдруг господин Голядкин-младший. Герой наш вздрогнул, заметив в лице врага своего что-то даже вакхическое, и, единственно чтоб только отвязаться, сунул в простертую ему руку безнравственного два пальца своей руки; но тут... тут бесстыдство господина Голядкина-младшего превзошло все ступени. Схватив два пальца руки господина Голядкина-старшего и сначала пожав их, недостойный тут же, в глазах же господина Голядкина, решился повторить свою утреннюю бесстыдную шутку. Мера человеческого терпения была истощена...

Он уже прятал платок, которым обтер свои пальцы, в карман, когда господин Голядкин-старший опомнился и ринулся вслед за ним в соседнюю комнату, куда, по скверной привычке своей, тотчас же поспешил улизнуть непримиримый враг его. Как будто ни в одном глазу, он стоял себе у прилавка, ел пирожки и преспокойно, как добродетельный человек, любезничал с немкой-кондитершей. «При дамах нельзя», — подумал герой наш и подошел тоже к прилавку, не помня себя от волнения.

— А ведь действительно бабенка-то недурна! Как вы думаете? — снова начал свои непримиримые выходки господин Голядкин-младший, вероятно рассчитывая на бесконечное терпение господина Голядкина. Толстая же немка, с своей стороны, смотрела на обоих своих посетителей оловянно-бессмысленными глазами, очевидно не понимая русского языка и приветливо улыбаясь. Герой наш вспыхнул, как огонь, от слов не знающего стыда господина Голядкина-младшего и, не в силах владеть собою, бросился, наконец, на него с очевидным намерением растерзать его и порешить с ним, таким образом, окончательно; но господин Голядкин-младший, по подлому обыкновению своему, уже был далеко: он дал тягу, он уже был на крыльце. Само собой разумеется, что после первого мгновенного столбняка, естественно нашедшего на господина Голядкина-старшего, он опомнился и бросился со всех ног за обидчиком, который уже садился на поджидавшего его и, очевидно, во всем согласившегося с ним ваньку. Но в это самое мгновение толстая немка, видя бегство двух посетителей, взвизгнула и позвонила что было силы в свой колокольчик. Герой наш почти на лету обернулся назад, бросил ей деньги за себя и за незаплатившего бесстыдного человека, не требуя сдачи, и, несмотря на то что промешкал, все-таки успел, хотя и опять на лету только, подхватить своего неприятеля. Уцепившись за крыло дрожек всеми данными ему природою средствами, герой наш неся некоторое время по улице, карабкаясь на экипаж, отстаиваемый из всех сил господином Голядкиным-младшим. Извозчик между тем и кнутом, и вожжей, и ногой, и словами понукал свою разбитую клячу, которая совсем неожиданно понеслась вскачь,

закусив удила и лягаясь, по скверной привычке своей, задними ногами на каждом третьем шагу. Наконец наш герой успел-таки взмоститься на дрожки, лицом к своему неприятелю, спиной упираясь в извозчика, коленками в коленки бесстыдного, а правой рукой своей всеми средствами вцепившись в весьма скверный меховой воротник шинели развратного и ожесточеннейшего своего неприятеля...

Враги неслись и некоторое время молчали. Герой наш едва переводил дух; дорога была прескверная, и он подскакивал на каждом шагу с опасностью сломить себе шею. Сверх того, ожесточенный неприятель его все еще не соглашался признать себя побежденным и старался спихнуть в грязь своего противника. К довершению всех неприятностей погода была ужаснейшая. Снег валил хлопьями и всячески старался, с своей стороны, каким-нибудь образом залезть под распахнувшуюся шинель настоящего господина Голядкина. Кругом было мутно и не видно ни зги. Трудно было отличить, куда и по каким улицам несутся они... Господину Голядкину показалось, что сбывается с ним что-то знакомое. Одно мгновение он старался припомнить, не предчувствовал ли он чего-нибудь вчера... во сне, например... Наконец тоска его доросла до последней степени своей агонии. Налегши на беспощадного противника своего, он начал было кричать. Но крик его замирал у него на губах... Была минута, когда господин Голядкин все позабыл и решил, что все это совсем ничего и что это так только, как-нибудь, необъяснимым образом делается, и протестовать по этому случаю было бы лишним и совершенно потерянным делом... Но вдруг, и почти в то самое мгновение, как герой наш заключал это все, какой-то неосторожный толчок переменял весь смысл дела. Господин Голядкин, как куль муки, свалился с дрожek и покатился куда-то, совершенно справедливо сознаваясь в минуту падения, что действительно и весьма некстати погорячился. Вскочив, наконец, он увидел, что куда-то приехали; дрожки стояли среди чьего-то двора, и герой наш с первого взгляда заметил, что это двор того самого дома, в котором квартирует Олсуфий Иванович. В то же самое мгновение заметил он, что приятель его пробирается уже на крыльцо и, вероятно, к Олсуфью Ивановичу. В неописанной тоске своей бросился было он догонять своего неприятеля, но, к счастью своему, благоразумно одумался вовремя. Не забыв расплатиться с извозчиком, бросился господин Голядкин на улицу и побежал что есть мочи куда глаза глядят. Снег валил по-прежнему хлопьями; по-прежнему было мутно, мокро и темно. Герой наш не шел, а летел, опрокидывая всех на дороге, — мужиков, и баб, и детей, и сам в свою очередь отскакивая от баб, мужиков и детей. Кругом и вслед ему слышался пугливый говор, визг, крик... Но господин Голядкин, казалось, был без памяти и внимания ни на что не хотел обратить... Опомился он, впрочем, уже у Семеновского моста, да и то по тому только случаю, что успел

как-то неловко задеть и опрокинуть двух баб с их каким-то походным товаром, а вместе с тем и сам повалиться. «Это ничего, — подумал господин Голядкин, — все это еще весьма может устроиться к лучшему», — и тут же полез в свой карман, желая отделаться рублем серебра за просыпанные пряники, яблоки, горох и разные разности. Вдруг новым светом озарило господина Голядкина; в кармане ощупал он письмо, переданное ему поутру писарем. Вспомнив между прочим, что есть у него недалеко знакомый трактир, забежал он в трактир, не медля ни минуты пристроился к столику, освещенному сальной свечкою, и, не обращая ни на что внимания, не слушая полового, явившегося за приказаниями, сломал печать и начал читать нижеследующее, окончательно его поразившее:

«Благородный, за меня страдающий и навеки милый сердцу моему человек!

Я страдаю, я погибаю, — спаси меня! Клеветник, интригант и известный бесполезностью своего направления человек опутал меня сетями своими, и я погибла! Я пала! Но он мне противен, а ты!.. нас разлучали, мои письма к тебе перехватывали, — и все это сделала безнравственный, воспользовавшись одним своим лучшим качеством, — сходством с тобою. Во всяком же случае можно быть дурным собою, но пленять умом, сильным чувством и приятными манерами... Я погибаю! Меня отдают насильно, и всего более интригует здесь родитель, благодетель мой и статский советник Олсуфий Иванович, вероятно желая занять мое место и мои отношения в обществе высокого тона... Но я решилась и протестую всеми данными мне природою средствами. Жди меня с каретой своей сегодня, ровно в девять часов, у окон квартиры Олсуфия Ивановича. У нас опять бал и будет красивый поручик. Я выйду, и мы полетим. К тому же есть и другие служебные места, где еще можно приносить пользу отечеству. Во всяком случае вспомни, мой друг, что невинность сильна уже своею невинностью. Прощай. Жди с каретой у подъезда. Брошусь под защиту объятий твоих ровно в два часа пополудни.

*Твоя до гроба
Клара Олсуфьевна.*

Прочтя письмо, герой наш остался на несколько минут как бы пораженный. В страшной тоске, в страшном волнении, бледный как платок, с письмом в руках, прошелся он несколько раз по комнате; к довершению бедствия своего положения, герой наш не заметил, что был в настоящую минуту предметом исключительного внимания всех находившихся в комнате. Вероятно, беспорядок костюма его, несдерживаемое волнение, ходьба, или, лучше сказать, беготня, жестикуля-

ция обеими руками, может быть, несколько загадочных слов, сказанных на ветер и в забывчивости, — вероятно, все это весьма плохо зарекомендовало господина Голядкина в мнении всех посетителей; и даже сам половой начинал поглядывать на него подозрительно. Очнувшись, герой наш заметил, что стоит посреди комнаты и почти неприличным, невежливым образом смотрит на одного весьма почтенной наружности старичка, который, пообедав и помолясь перед образом Богу, уселся опять и, с своей стороны, тоже не сводил глаз с господина Голядкина. Смутно оглянувшись кругом наш герой и заметил, что все, решительно все смотрят на него с видом самым злобещим и подозрительным. Вдруг один отставной военный, с красным воротником, громко потребовал «Полицейские ведомости». Господин Голядкин вздрогнул и покраснел: как-то нечаянно опустил он глаза в землю и увидел, что был в таком неприличном костюме, в котором и у себя дома ему быть нельзя, не только в общественном месте. Сапоги, панталоны и весь левый бок его были совершенно в грязи, штрипка на правой ноге оторвана, а фрак даже разорван во многих местах. В неистощимой тоске своей подошел наш герой к столу, за которым читал, и увидел, что к нему подходит трактирный служитель с каким-то странным и дерзко-настойчивым выражением в лице. Потерявшись и опав совершенно, герой наш начал рассматривать стол, за которым стоял теперь. На столе стояли неубранные тарелки после чьего-то обеда, лежала замаранная салфетка и валялись только что бывшие в употреблении нож, вилка и ложка. «Кто ж это обедал? — подумал герой наш. — Неужели я? А все может быть! Пообедал, да так и не заметил себе; как же мне быть?» Подняв глаза, господин Голядкин увидел опять подле себя полового, который собирался ему что-то сказать.

— Сколько с меня, братец? — спросил наш герой трепещущим голосом.

Громкий смех раздался кругом господина Голядкина; сам половой усмехнулся. Господин Голядкин понял, что и на этом срезался и сделал какую-то страшную глупость. Поняв все это, он до того сконфузился, что принужден был полезть в карман за платком своим, вероятно чтобы что-нибудь сделать и так не стоять; но, к неопisanному своему и всех окружавших его изумлению, вынул вместо платка стклянку с каким-то лекарством, дня четыре тому назад прописанным Крестьяном Ивановичем. «Медикаменты в той же аптеке», — пронеслось в голове господина Голядкина... Вдруг он вздрогнул и чуть не вскрикнул от ужаса. Новый свет проливался... Темная, красновато-отвратительная жидкость злобещим отсветом блеснула в глаза господину Голядкину... Пузырек выпал у него из рук и тут же разбился. Герой наш вскрикнул и отскочил шага на два назад от пролившейся жидкости... он дрожал всеми членами, и пот пробивался у него на висках и на лбу. «Стало быть, жизнь в опасности!» Между тем в комнате произошло движение,

смятение; все окружали господина Голядкина, все говорили господину Голядкину, некоторые даже хватали господина Голядкина. Но герой наш был нем и недвижим, не видя ничего, не слыша ничего, не чувствуя ничего... Наконец, как будто с места сорвавшись, бросился он вон из трактира, растолкал всех и каждого из стремившихся удержать его, почти без чувств упал на первые попавшиеся ему извозничьи дрожки и полетел на квартиру.

В сенях квартиры своей встретил он Михеева, сторожа департаментского, с казенным пакетом в руках. «Знаю, друг мой, все знаю, — отвечал слабым, тоскливым голосом изнуренный герой наш, — это официальное...» В пакете действительно было предписание господину Голядкину, за подписью Андрея Филипповича, сдать находившиеся у него на руках дела Ивану Семеновичу. Взяв пакет и дав сторожу гривенник, господин Голядкин пришел в квартиру свою и увидел, что Петрушка готовит и собирает в одну кучу весь свой дряг и хлам, все свои вещи, очевидно намереваясь оставить господина Голядкина и переехать от него к переманившей его Каролине Ивановне, чтоб заменить ей Евстафия.

ГЛАВА XII

Петрушка вошел, покачиваясь, держась как-то странно-небрежно и с какой-то холопски-торжественной миной в лице. Видно было, что он что-то задумал, чувствовал себя вполне в своем праве и смотрел совершенно посторонним человеком, то есть чьим-то другим служителем, но только никак не прежним служителем господина Голядкина.

— Ну, вот видишь, мой милый, — начал, задыхаясь, герой наш, — который теперь час, милый мой?

Петрушка молча отправился за перегородку, потом воротился и довольно независимым тоном объявил, что уж скоро половина восьмого.

— Ну, хорошо, мой милый, хорошо. Ну, видишь, мой милый... позволь тебе сказать, милый мой, что между нами, кажется, теперь кончено все.

Петрушка молчал.

— Ну, теперь, как уж все между нами кончилось, скажи ты мне теперь откровенно, как другу скажи, где ты был, братец?

— Где был? Между добрых людей-с.

— Знаю, мой друг, знаю. Я тобою был постоянно доволен, мой милый, и аттестат тебе дам... Ну, что же ты у них теперь?

— Что же, сударь! сами изволите знать-с. Известно-с, добрый человек худому тебя не научит.

— Знаю, мой милый, знаю. Нынче добрые люди редки, мой друг; цени их, мой друг. Ну, как же они?

— Известно-с, как-с... Только я у вас, сударь, больше служить теперь не могу-с; сами изволите знать-с.

— Знаю, милый мой, знаю; твою ревность и усердие знаю; я видел все это, друг мой, я замечал. Я, мой друг, тебя уважаю. Я доброго и честного человека, будь он и лакей, уважаю.

— Что ж, известно-с! Наш брат, конечно, сами изволите знать-с, где лучше. Уж так оно-с. Что мне! Известно, сударь, что уж без доброго человека нельзя-с.

— Ну, хорошо, братец, хорошо; я это чувствую... Ну, вот твои деньги и вот твой аттестат. Теперь поцелуемся, братец, простимся с тобою... Ну, теперь, милый мой, я у тебя попрошу одной услуги, последней услуги, — сказал г-н Голядкин торжественным тоном. — Видишь ли, милый мой, всякое бывает. Горе, друг мой, кроется и в позлащенных палатах, и от него никуда не уйдешь. Ты знаешь, мой друг, я, кажется, с тобою всегда ласков был...

Петрушка молчал.

— Я, кажется, с тобой всегда ласков был, милый мой... Ну, сколько у нас теперь белья, милый мой?

— Да все налицо-с. Рубашек холстинковых шесть-с; карпеток три пары; четыре манишки-с; фуфайка фланелевая; из нижнего платья две штуки-с. Сами знаете, все-с. Я, сударь, вашего ничего-с... Я, сударь, барское добро берегу-с. Я вами, сударь, того-с... известно-с... а греха какого за мной — никогда, сударь; уж это сами знаете, сударь...

— Верю, друг мой, верю. Я не про то, мой друг, не про то; видишь ли, вот что, мой друг...

— Известно, сударь-с; уж это мы знаем-с. Я вот, когда еще у генерала Столбнякова служил-с, так отпускали меня, уезжали сами в Саратов... вотчина там у них...

— Нет, мой друг, не про то; я ничего... ты не думай чего, милый друг мой...

— Известно-с. Что уж нашего брата-с, сами изволите знать-с, долго ли поклепать человека-с. А мною были довольны везде-с. Были министры, генералы, сенаторы, графы-с. Бывал у всех-с, у князя Свинчаткина-с, у Переборкина полковника-с, у Недобарова генерала, тоже ходили-с, в вотчину ездили к нашим-с. Известно-с...

— Да, мой друг, да; хорошо, мой друг, хорошо. Вот и я теперь, мой друг, уезжаю... Путь всякому разный лежит, милый мой, и неизвестно, на какую дорогу каждый человек попасть может. Ну, мой друг, дай же ты мне одеться теперь; да, ты вицмундир мой тоже положишь... брюки другие, простыни, одеяла, подушки...

— В узел прикажете все завязать-с?

— Да, мой друг, да; пожалуй, и в узел... Кто знает, что может с нами случиться. Ну, теперь, милый мой, сходишь и приищешь карету...

— Карету-с?..

— Да, мой друг, карету, просторнее и на известное время. А ты, мой друг, не думай чего-нибудь...

— А далеко уезжать хотите-с?

— Не знаю, мой друг, этого тоже не знаю. Перину тоже, я думаю, туда же положить нужно будет. Как ты сам думаешь, друг мой? я на тебя полагаюсь, мой милый...

— Непгто сейчас изволите уезжать-с?

— Да, мой друг, да! Обстоятельство вышло такое... вот оно как, милый мой, вот оно как...

— Известно, сударь; вот у нас в полку с поручиком то же самое было-с; там у помещика-с... увезли-с...

— Увез?.. Как! милый мой, ты...

— Да-с, увезли-с и в другой усадьбе венчались. Все было заранее готово-с. Погоня была-с; князь тут только-с вступились, покойник-с, — ну и уладили дело-с...

— Венчались, да... ты как же, мой милый? ты-то каким же образом, милый мой, знаешь?

— Да уж известно-с, что-с! Слухом земля, сударь, полнится. Знаем, сударь, мы все-с... конечно, с кем же греха не бывало. Только я вам скажу теперь, сударь, позвольте мне попросту, сударь, по-холопски сказать; уж коль теперь на то пошло, так уж я вам скажу, сударь: есть у вас враг, — суперника вы, сударь, имеете, сильный суперник, вот-с...

— Знаю, мой друг, знаю; сам ты, милый мой, знаешь... Ну, так вот я на тебя полагаюсь. Как же нам теперь делать, мой друг? как ты мне посоветуешь?

— А вот, сударь, если вы так теперь, таким, примерно сказать, манером пошли, сударь, так вот вам понадобится там что покупать-с, — ну там простыни, подушки, перину, другую-с, двуспальную-с, одеяло хорошее-с, — так вот здесь у соседки-с, внизу-с: мещанка, сударь, она; лисий салоп есть хороший; так можно его посмотреть и купить, можно сейчас сходить посмотреть-с. Оно же вам надобно, сударь, теперь-с; хороший салоп-с, атласом крытый-с, на лисьем меху-с...

— Ну, хорошо, мой друг, хорошо; я согласен, мой друг, я на тебя полагаюсь, вполне полагаюсь; пожалуй, хоть и салоп, милый мой... Только поскорей, поскорей! ради бога, поскорей! Я и салоп куплю, только, пожалуйста, поскорей! Скоро восемь часов, скорей, ради бога, мой друг! поторопись поскорее, мой друг!..

Петрушка бросил недовязанный узел белья, подушек, одеяла, простынь и всякого дрягу, что стал было вместе собирать и увязывать, и стремглав бросился вон из комнаты. Господин Голядкин между тем схватился еще раз за письмо, — но читать его он не мог. Схватив обе руки свою победную голову, он в изумлении прислонился к стене. Думать ни о чем он не мог, делать что-нибудь тоже не мог; он и сам

не знал, что с ним делается. Наконец, видя, что время проходит, а ни Петрушки, ни салопа еще не являлось, господин Голядкин решился пойти сам. Растворив дверь в сени, он услышал внизу шум, говор, спор и толки... Несколько соседок болтали, кричали, судили-рядили о чем-то, — уж это господин Голядкин знал, о чем именно. Слышался голос Петрушки; потом послышались чьи-то шаги. «Боже ты мой! Они сюда весь свет созовут!» — простонал господин Голядкин, ломая руки в отчаянии и бросаясь назад в свою комнату. Прибежав в свою комнату, он упал, почти не помня себя, на диван, лицом в подушку. С минутку полежав таким образом, он вскочил и, не дожидаясь Петрушки, надел свои калоши, шляпу, шинель, захватил свой бумажник и побежал стрелглав с лестницы. «Ничего не нужно, ничего, милый мой! я сам, я все сам. Тебя покамест не нужно, а между тем дело, может быть, и уладится к лучшему», — пробормотал господин Голядкин Петрушке, встретив его на лестнице; потом выбежал на двор и вон из дому; сердце его замирало; он еще не решался... Как ему быть, что ему делать, как ему в настоящем и критическом случае поступить...

— Ведь вот: как поступить, господи бог мой? И нужно же было быть всему этому! — вскричал он, наконец, в отчаянии, куда глаза глядят, наудачу ковыляя по улице, — нужно же было быть всему этому! Ведь вот не будь этого, вот именно этого, так все бы уладилось; разом, одним ударом, одним ловким, энергическим, твердым ударом уладилось бы. Палец даю на отсечение, что уладилось бы! И даже знаю, каким именно образом уладилось бы. Оно бы вот как все сделалось: я бы тут и того — дескать, так и так, а мне, сударь мой, с позволения сказать, ни туда ни сюда; дескать, дела так не делаются; дескать, сударь вы мой, милостивый мой государь, дела так не делаются, и самозванством у нас не возьмешь; самозванец, сударь вы мой, человек, того, — бесполезный и пользы отечеству не приносящий. Понимаете ли вы это? Дескать, понимаете ли вы это, милостивый мой государь?! Вот бы как оно и того... Да нет, впрочем, что же... оно вовсе ведь не того, совсем не того... Я-то что вру, дурак дураком! я-то, самоубийца я этакой! Оно, дескать, самоубийца ты этакой, совсем, не того... Вот, однако, развращенный ты человек, вот оно как теперь делается!.. Ну, куда я денусь теперь? ну, что я, например, буду делать теперь над собой? ну, куда я гожусь теперь? ну, куда ты, примером сказать, годишься теперь, Голядкин ты этакой, недостойный ты этакой! Ну, что теперь? карету брать нужно; возьми, дескать, да подай ей карету сюда; дескать, ножки замочим, если кареты не будет... И вот, кто бы подумать мог? Ай да барышня, ай, сударыня вы моя! ай да благонравного поведения девица! ай да хваленая наша. Отличились, сударыня, нечего сказать, отличились!.. А это все происходит от безнравственности воспитания; а я, как теперь порассмотрел да пораскусил это все, так и вижу, что это не от иного чего происходит, как от безнравственности. Чем бы

смолоду ее того... да и розгой подчас, а они ее конфетами, а они ее сладостями разными пичкают, и сам старикашка нюнит над ней: дескать, ты такая моя, да сякая моя, ты хорошая, дескать, за графа отдам тебя!.. А вот она и вышла у них и показала нам теперь свои карты; дескать, вот у нас игра какова! чем бы дома держать ее смолоду, а они ее в пансион, к мадам французенке, к эмигрантке Фальбалá там какой-нибудь; а она там добру всякому учится у эмигрантки-то Фальбалá, — вот оно и выходит таким-то все образом. Дескать, подите, порадитесь! Дескать, будьте в карете вот в таком-то часу перед окнами и романс чувствительный по-испански пропойте; жду вас, и знаю, что любите, и убежим с вами вместе и будем жить в хижине. Да, наконец, оно и нельзя; оно, сударыня вы моя, — если на то уж пошло, — так оно и нельзя, так оно и законами запрещено честную и невинную девицу из родительского дома увозить без согласия родителей! Да, наконец, и зачем, почему и какая тут надобность? Ну, вышла бы там себе за кого следует, за кого судьбой предназначено, так и дело с концом. А я человек служащий; а я место мое могу потерять из-за этого; я, сударыня вы моя, под суд могу попасть из-за этого! вот оно что! коль не знали. Это немка работает. Это от нее, ведьмы, все происходит, все сыры-боры от нее загораются. Потому что оклеветали человека, потому что выдумали на него сплетню бабью, небылицу в лицах, по совету Андрея Филипповича, оттого и происходит. Иначе почему же Петрушке тут вмешиваться? ему-то тут что? шельмецу-то какая тут надобность? Нет, я не могу, сударыня, никак не могу, ни за что не могу... А вы меня, сударыня, на этот раз уж как-нибудь там извините. Это от вас, сударыня, все происходит, это не от немки все происходит, вовсе не от ведьмы, а чисто от вас, потому что ведьма добрая женщина, потому что ведьма не виновата ни в чем, а вы, сударыня вы моя, виноваты, — вот оно как! Вы, сударыня, вы меня в напраслину вводите... Тут человек пропадает, тут сам от себя человек исчезает, и самого себя не может сдержать — какая тут свадьба! И как это кончится все? и как это теперь устроится? Дорого бы я дал, чтоб узнать это все!..

Так рассуждал в отчаянии своем наш герой. Очнувшись вдруг, заметил он, что где-то стоит на Литейной. Погода была ужасная: была оттепель, валил снег, шел дождь, — ну точь-в-точь как в то незабвенное время, когда, в страшный полночный час, начались все несчастья господина Голядкина. «Какой тут вояж! — думал господин Голядкин, смотря на погоду. — Тут всеобщая смерть... Господи бог мой! ну где мне, например, здесь карету сыскать? Вон там на углу, кажется, что-то чернеется. Посмотрим, исследуем... Господи бог мой!» — продолжал наш герой, направив слабые и шаткие шаги свои в ту сторону, где увидел что-то похожее на карету. «Нет, я вот как сделаю: отправлюсь, паду к ногам, если можно, униженно буду испрашивать. Дескать, так и так; в ваши руки судьбу свою предаю, в руки начальства; дескать, ваще

превосходительство, защитите и облагодетельствуйте человека; так и так, дескать, вот то-то и то-то, противозаконный поступок; не погубите, принимаю вас за отца, не оставьте... амбицию, честь, имя и фамилию спасите... и от злодея, развращенного человека, спасите... Он другой человек, ваше превосходительство, а я тоже другой человек; он особо, и я тоже сам по себе; право, сам по себе, ваше превосходительство, право сам по себе; дескать, вот оно как. Дескать, походить на него не могу; перемените, благоволите, велите переменить — и безбожный, самовольный подмен уничтожить... не в пример другим, ваше превосходительство. Принимаю вас за отца; начальство, конечно, благодетельное и попечительное начальство подобные движения должно поощрять... Тут есть даже несколько рыцарского. Дескать, принимаю вас, благодетельное начальство, за отца и вверяю судьбу свою и прекословить не буду, вверяюсь и сам отстраняюсь от дел... дескать, вот оно как!»

— Ну, что, мой милый, извозчик?

— Извозчик...

— Карету, брат, на вечер...

— А далеко ли ехать изволите-с?

— На вечер, на вечер; куда б ни пришлось, милый мой, куда б ни пришлось.

— Нешто за город ехать изволите?

— Да, мой друг; может, и за город. Я еще сам наверно не знаю, мой друг, не могу тебе наверно сказать, милый мой. Оно, видишь ли, милый мой, может быть, все и уладится к лучшему. Известно, мой друг...

— Да, уж известно, сударь, конечно; дай бог всякому.

— Да, мой друг, да; благодарю тебя, милый мой; ну, что же ты возьмешь, милый мой?..

— Сейчас изволите ехать-с?

— Да, сейчас, то есть нет, подождешь в одном месте... так, немножко, недолго подождешь, милый мой...

— Да если уж на все время берете-с, так уж меньше шести целковых, по погоде, нельзя-с...

— Ну, хорошо, мой друг, хорошо; а я тебя поблагодарю, милый мой. Ну, так вот ты меня и повезешь теперь, милый мой.

— Садитесь; позвольте, вот я здесь оправляю маленько; извольте садиться теперь. Куда ехать прикажете?

— К Измайловскому мосту, мой друг.

Извозчик-кучер взгромоздился на козла и тронул было пару тощих кляч, которых насилиу оторвал от корыта с сеном, к Измайловскому мосту. Но вдруг господин Голядкин дернул снурок, остановил карету и попросил умоляющим голосом поворотить назад, не к Измайловскому мосту, а в одну другую улицу. Кучер поворотил в другую улицу,

и чрез десять минут новоприобретенный экипаж господина Голядкина остановился перед домом, в котором квартировал его превосходительство. Господин Голядкин вышел из кареты, попросил своего кучера убедительно подождать, и сам взбежал с замирающим сердцем вверх, во второй этаж, дернул за шнурок, дверь отворилась, и наш герой очутился в передней его превосходительства.

— Его превосходительство дома изволят быть? — спросил господин Голядкин, адресуясь таким образом к отворившему ему человеку.

— А вам чего-с? — спросил лакей, оглядывая с ног до головы господина Голядкина.

— А я, мой друг, того... Голядкин, чиновник, титулярный советник Голядкин. Дескать, так и так, объясниться...

— Обождите; нельзя-с...

— Друг мой, я не могу обождать: мое дело важное, не терпящее отлагательства дело...

— Да вы от кого? Вы с бумагами?..

— Нет, я, мой друг, сам по себе... Доложи, мой друг, дескать, так и так, объясниться. А я тебя поблагодарю, милый мой...

— Нельзя-с. Не велено принимать, у них гости-с. Пожалуйста утром в десять часов-с...

— Доложите же, милый мой; мне нельзя, невозможно мне ждать... Вы, милый мой, за это ответите...

— Да ступай, доложи; что тебе: сапогов жаль, что ли? — проговорил другой лакей, развалившийся на залавке и до сих пор не сказавший ни слова.

— Сапогов топтать! Не велел принимать, знаешь? Ихняя черед по утрам.

— Доложи. Язык, что ли, отвалится?

— Да я-то доложу: язык не отвалится. Не велел: сказано — не велел. Войдите в комнату-то.

Господин Голядкин вошел в первую комнату; на столе стояли часы. Он взглянул: половина девятого. Сердце у него заныло в груди. Он было уже хотел воротиться; но в эту самую минуту долговязый лакей, став на пороге следующей комнаты, громко провозгласил фамилию господина Голядкина. «Эко ведь горло! — подумал в неопи-санной тоске наш герой... — Ну, сказал бы ты: того... дескать, так и так, покорнейше и смиренно пришел объясниться, — того... благо-волите принять... А теперь вот и дело испорчено, вот и все мое дело на ветер пошло; впрочем... да, ну — ничего...» Рассуждать, впрочем, нечего было. Лакей воротился, сказал «пожалуйста» и ввел господина Голядкина в кабинет.

Когда наш герой вошел, то почувствовал, что как будто ослеп, ибо решительно ничего не видал. Мелькнули, впрочем, две-три фи-гуры в глазах: «Ну да это гости», — мелькнуло у господина Голядки-

на в голове. Наконец наш герой стал ясно отличать звезду на черном фраке его превосходительства, потом, сохраняя постепенность, перешел и к черному фраку, наконец, получил способность полного созерцания...

— Что-с? — проговорил знакомый голос над господином Голядкиным.

— Титулярный советник Голядкин, ваше превосходительство.

— Ну?

— Пришел объясниться...

— Как?.. Что?..

— Да уж так. Дескать, так и так, пришел объясниться, ваше превосходительство-с...

— Да вы... да кто вы такой?..

— Го-го-господин Голядкин, ваше превосходительство, титулярный советник.

— Ну, так чего же вам нужно?

— Дескать, так и так, принимаю его за отца; сам отстраняюсь от дел, и от врага защитите, — вот как!

— Что такое?..

— Известно...

— Что известно?

Господин Голядкин молчал; подбородок его начинало понемногу подергивать...

— Ну?

— Я думал рыцарское, ваше превосходительство... Что здесь, дескать, рыцарское, и начальника за отца принимаю... дескать, так и так, защитите, еле... слезно м... молю, и что такие дви... движения долж... но по... по... поощрять...

Его превосходительство отвернулся. Герой наш несколько мгновений не мог ничего разглядеть своими глазами. Грудь его теснило. Дух занимался. Он не знал, где стоял... Было как-то стыдно и грустно ему. Бог знает, что было после... Очнувшись, герой наш заметил, что его превосходительство говорит с своими гостями и как будто резко и сильно рассуждает с ними о чем-то. Одного из гостей господин Голядкин тотчас узнал. Это был Андрей Филиппович; другого же нет; впрочем, лицо было как будто тоже знакомое, — высокая, плотная фигура, лет пожилых, одаренная весьма густыми бровями и бакенбардами и выразительным, резким взглядом. На шее незнакомца был орден, а во рту сигарка. Незнакомец курил и, не вынимая сигары изо рта, значительно кивал головою, взглядывая по временам на господина Голядкина. Господину Голядкину стало как-то неловко; он отвел свои глаза в сторону и тут же увидел еще одного весьма странного гостя. В дверях, которые герой наш принимал доселе за зеркало, как некогда тоже случилось с ним, — появился он, — известно кто, весьма

короткий знакомый и друг господина Голядкина. Господин Голядкин-младший действительно находился до сих пор в другой маленькой комнатке и что-то спешно писал; теперь, видно, понадобилось — и он явился, с бумагами под мышкой, подошел к его превосходительству и весьма ловко, в ожидании исключительного к своей особе внимания, успел втереться в разговор и совет, заняв свое место немного по-за спиной Андрея Филипповича и отчасти маскируясь незнакомцем, курящим сигарку. По-видимому, господин Голядкин-младший принимал крайнее участие в разговоре, который подслушивал теперь благородным образом, кивал головою, семенил ножками, улыбался, поминутно взглядывал на его превосходительство, как будто бы умоляя взором, чтоб и ему тоже позволили вернуть свои полсловечка. «Подлец!» — подумал господин Голядкин и невольно ступил шаг вперед. В это время генерал оборотился и сам довольно нерешительно подошел к господину Голядкину.

— Ну, хорошо, хорошо; ступайте с богом. Я порассмотрю ваше дело, а вас велю проводить... — Тут генерал взглянул на незнакомца с густыми бакенбардами. Тот, в знак согласия, кивнул головою.

Господин Голядкин чувствовал и понимал ясно, что его принимают за что-то другое, а вовсе не так, как бы следовало. «Так или этак, а объяснитьсь ведь нужно, — подумал он, — так и так, дескать, ваше превосходительство». Тут в недоумении своем опустил он глаза в землю и, к крайнему своему изумлению, увидел на сапогах его превосходительства значительное белое пятно. «Неужели лопнули?» — подумал господин Голядкин. Вскоре, однако ж, господин Голядкин открыл, что сапоги его превосходительства вовсе не лопнули, а только сильно отсвечивали, — феномен, совершенно объяснившийся тем, что сапоги были лакированные и сильно блестели. «Это называется *блик*, — подумал герой наш, — особенно же сохраняется это название в мастерских художников; в других же местах этот отсвет называется *светлым ребром*». Тут господин Голядкин поднял глаза и увидел, что пора говорить, потому что дело весьма могло повернуться к худому концу... Герой наш ступил шаг вперед.

— Дескать, так и так, ваше превосходительство, — сказал он, — а самозванством в наш век не возьмешь.

Генерал ничего не отвечал, а сильно позвонил за шнурок колокольчика. Герой наш еще ступил шаг вперед.

— Он подлый и развращенный человек, ваше превосходительство, — сказал наш герой, не помня себя, замирая от страха, и при всем том смело и решительно указывая на недостойного близнеца своего, семенившего в это мгновение около его превосходительства, — так и так, дескать, а я на известное лицо намекаю.

Последовало всеобщее движение за словами господина Голядкина. Андрей Филиппович и незнакомая фигура закивали своими головами;

его превосходительство дергал в нетерпении из всех сил за шнурок колокольчика, дозываясь людей. Тут господин Голядкин-младший выступил вперед в свою очередь.

— Ваше превосходительство, — сказал он, — униженно прошу позволения вашего говорить. — В голосе господина Голядкина-младшего было что-то крайне решительное; все в нем показывало, что он чувствует себя совершенно в праве своем.

— Позвольте спросить вас, — начал он снова, предупреждая усердием своим ответ его превосходительства и обращаясь в этот раз к господину Голядкину, — позвольте спросить вас, в чьем присутствии вы так объясняетесь? перед кем вы стоите, в чьем кабинете находитесь?.. — Господин Голядкин-младший был весь в необыкновенном волнении, весь красный и пылающий от негодования и гнева; даже слезы в его глазах показались.

— Господа Бассаврюковы! — проревел во все горло лакей, появившись в дверях кабинета. «Хорошая дворянская фамилья, выходцы из Малороссии», — подумал господин Голядкин и тут же почувствовал, что кто-то весьма дружеским образом налег ему одной рукой на спину; потом и другая рука налегла ему на спину; подлый близнец господина Голядкина юлил впереди, показывая дорогу, и герой наш ясно увидел, что его, кажется, направляют к большим дверям кабинета. «Точь-в-точь как у Олсуфья Ивановича», — подумал он и очутился в передней. Оглянувшись, он увидел подле себя двух лакеев его превосходительства и одного близнеца.

— Шинель, шинель, шинель, шинель друга моего! шинель моего лучшего друга! — защебетал развратный человек, вырывая из рук одного человека шинель и набрасывая ее, для подлой и неблагоприятной насмешки, прямо на голову господину Голядкину. Выбиваясь из-под шинели своей, господин Голядкин-старший ясно услышал смех двух лакеев. Но, не слушая ничего и не внимая ничему постороннему, он уж выходил из передней и очутился на освещенной лестнице. Господин Голядкин-младший — за ним.

— Прощайте, ваше превосходительство! — закричал он вслед господину Голядкину-старшему.

— Подлец! — проговорил вне себя наш герой.

— Ну, и подлец...

— Развратный человек!

— Ну, и развратный человек... — отвечал таким образом достойному господину Голядкину недостойный неприятель его и, по свойственной ему подлости, глядел с высоты лестницы, прямо и не смигнув глазом, в глаза господину Голядкину, как будто прося его продолжать. Герой наш плюнул от негодования и выбежал на крыльцо; он был так убит, что совершенно не помнил, кто и как посадил его в карету. Очнувшись, увидел он, что его везут по Фон-

танке. «Стало быть, к Измайловскому мосту? — подумал господин Голядкин... Тут господину Голядкину захотелось еще о чем-то подумать, но нельзя было; а было что-то такое ужасное, чего и объяснить невозможно... — Ну, ничего!» — заключил наш герой и поехал к Измайловскому мосту.

ГЛАВА XIII

...Казалось, что погода хотела перемениться к лучшему. Действительно, мокрый снег, валивший доселе целыми тучами, начал мало-помалу редеть, редеть и, наконец, почти совсем перестал. Стало видно небо, и на нем там и сям заискрились звездочки. Было только мокро, грязно, сыро и душно, особенно для господина Голядкина, который и без того уже едва дух переводил. Вымокшая и отяжелевшая шинель его принимала все его члены какою-то неприятно теплою сыростью и тяжестью своею подламывала и без того уже сильно ослабевшие ноги его. Какая-то лихорадочная дрожь гуляла острыми и едкими мурашками по всему его телу; изнеможение точило из него холодный болезненный пот, так что господин Голядкин позабыл уже при сем удобном случае повторить с свойственною ему твердостью и решимостью свою любимую фразу, что оно и все-то, авось, может быть, как-нибудь, наверное непременно, возьмет, да и уладится к лучшему. «Впрочем, это все еще ничего покамест», — прибавил крепкий и неунывающий духом герой наш, отирая с лица своего капли холодной воды, струившейся по всем направлениям с полей круглой и до того взмокшей шляпы его, что уже вода не держалась на ней. Прибавив, что это все еще ничего, герой наш попробовал было присесть на довольно толстый деревянный обрубок, валившийся возле кучи дров на дворе Олсуфья Ивановича. Конечно, об испанских серенадах и о шелковых лестницах нечего уже было думать; но об укромном уголке, хотя и не совсем теплом, но зато уютном и скрытном, нужно же было подумать. Сильно соблазнял его, мимоходом сказать, тот самый уголок в сенях квартиры Олсуфья Ивановича, где прежде еще, почти в начале сей правдивой истории, выстоял свои два часа наш герой, между шкафом и старыми ширмами, между всяким домашним и ненужным дрязгом, хламом и рухлядью. Дело в том, что и теперь господин Голядкин стоял и выжидал уже целые два часа на дворе Олсуфья Ивановича. Но относительно укромного и уютного прежнего уголка существовали теперь некоторые неудобства, прежде не существовавшие. Первое неудобство — то, что, вероятно, это место теперь замечено и приняты насчет его некоторые предохранительные меры со времени истории на последнем бале у Олсуфья Ивановича; а во-вторых, должно же было ждать условного знака от Клары Олсуфьевны, потому что непременно должен же был существовать какой-нибудь этакой знак

условный. Так всегда делалось и, «дескать, не нами началось, не нами и кончится». Господин Голядкин тут же кстати мимоходом припомнил какой-то роман, уже давно им прочитанный, где героиня подала условный знак Альфреду совершенно в подобном же обстоятельстве, привязав к окну розовую ленточку. Но розовая ленточка теперь, ночью и при санкт-петербургском климате, известном своею сыростью и ненадежностью, в дело идти не могла и, одним словом, была совсем невозможна. «Нет, тут не до шелковых лестниц, — подумал герой наш, — а я лучше здесь, так себе, укромно и втихомолочку... я лучше вот, например, здесь стану», — и выбрал местечко на дворе, против самых окон, около кучи складенных дров. Конечно, на дворе ходило много посторонних людей, фореиторов, кучеров; к тому же стучали колеса и фыркали лошади и т.д.; но все-таки место было удобное: заметят ли, не заметят ли, а теперь по крайней мере выгода та, что дело происходит некоторым образом в тени и господина Голядкина не видит никто; сам же он мог видеть решительно все. Окна были сильно освещены; был какой-то торжественный съезд у Олсуфья Ивановича. Музыки, впрочем, еще не было слышно. «Стало быть, это не бал, а так, по какому-нибудь другому случаю съехались, — думал, отчасти замирая, герой наш. — Да сегодня ли, впрочем? — пронеслось в его голове. — Не ошибка ли в числе? Может быть, все может быть... Оно, вот это, как может быть все... Оно еще, может быть, вчера было письмо-то написано, а ко мне не дошло, и потому не дошло, что Петрушка сюда замешался, шельмец он такой! Или завтра написано, то есть, что я... что завтра нужно было все сделать, то есть с каретой-то ждать...» Тут герой наш похолодел окончательно и полез в свой карман за письмом, чтоб справиться. Но письма, к удивлению его, не оказалось в кармане. «Как же это? — прошептал полумертвый господин Голядкин. — Где же это я оставил его? Стало быть, я его потерял? — этого еще не доставало! — простонал он, наконец, в заключение. — Ну, если оно в недобрые руки теперь попадет? (Да, может, попало уже!) Господи! что из этого впоследствии! Будет такое, что уж... Ах ты, судьба ты моя ненавистная!» Тут господин Голядкин как лист задрожал при мысли, что, может быть, неблагопристойный близнец его, набрасывая ему шинель на голову, имел именно целью похитить письмо, о котором как-нибудь там пронюхал от врагов господина Голядкина. «К тому же он перехватывает, — подумал герой наш, — доказательством же... да что доказательством!» После первого припадка и столбняка ужаса кровь бросилась в голову господина Голядкина. Со стоном и скрежеща зубами схватил он себя за горячую голову, опустился на свой обрубок и начал думать о чем-то... Но мысли как-то ни о чем не вязались в его голове. Мелькали какие-то лица, припоминались, то неясно, то резко, какие-то давно забытые происшествия, лезли в голову какие-то мотивы каких-то глупых песен... Тоска, тоска

была неестественная! «Боже мой! Боже мой! — подумал, несколько очнувшись, герой наш, подавляя глухое рыдание в груди. — Поддай мне твердость духа в неистощимой глубине моих бедствий! Что пропал я, исчез совершенно — в этом уж нет никакого сомнения, и это все в порядке вещей, ибо и быть не может никаким другим образом. Во-первых, я места лишился, непременно лишился, никак не мог не лишиться... Ну, да положим, оно и уладится как-нибудь там. Деньжонок же моих, положим, и достанет на первый раз; там квартиренку другую какую-нибудь, мебелишки какой-нибудь нужно же... Петрушки же, во-первых, не будет со мной. Я могу и без шельмеца... этак от жильцов; ну, хорошо! И входишь и уходишь, когда мне угодно, да и Петрушка не будет ворчать, что поздно приходишь, — вот оно как; вот почему от жильцов хорошо... Ну, да положим, это все хорошо; только как же я все не про то говорю, вовсе не про то говорю?» Тут мысль о настоящем положении опять озарила память господина Голядкина. Он оглянулся кругом. «Ах ты, господи бог мой! Господи бог мой! да о чем же это я теперь говорю?» — подумал он, растерявшись совсем и хватая себя за свою горячую голову...

— Нешто скоро, сударь, изволите ехать? — произнес голос над господином Голядкиным. Господин Голядкин вздрогнул; но перед ним стоял его извозчик, тоже весь до нитки измокший и продрогший, от нетерпения и от нечего делать вздумавший заглянуть к господину Голядкину за дрова.

— Я, мой друг, ничего... я, мой друг, скоро, очень скоро, а ты подожди...

Извозчик ушел, ворча себе под нос. «Об чем же он это ворчит? — думал сквозь слезы господин Голядкин. — Ведь я его нанял же на вечер, ведь я того... в своем праве теперь... вот оно как! на вечер нанял, так и дело с концом. Хоть и так простоишь, все равно. Все в моей воле. Волен ехать, и волен не ехать. И что вот здесь за дровами стою, так и это совсем ничего... и не смеешь ничего говорить; дескать, барину хочется за дровами стоять, вот он и стоит за дровами... и чести ничьей не марают, — вот оно как! Вот оно как, сударыня вы моя, если только это вам хочется знать. А в хижине, сударыня вы моя, дескать, так и так, в наш век никто не живет. Оно вот что! А без благонравия в наш промышленный век, сударыня вы моя, не возьмешь, чему сами теперь служите пагубным примером... Дескать, повытчиком нужно служить и в хижине жить, на морском берегу. Во-первых, сударыня вы моя, на морских берегах нет повытчиков, а во-вторых, и достать его нам с вами нельзя, повытчика-то. Ибо, положим, примерно сказать, вот я просьбу подаю, являюсь — дескать, так и так, в повытчики, дескать, того... и от врага защитите... а вам скажут, сударыня, дескать, того... повытчиков много, и что вы здесь не у эмигрантки Фальбала, где вы благонравию учились, чему сами служите

пагубным примером. Благонравие же, сударыня, значит дома сидеть, отца уважать и не думать о женишках прежде времени. Женишки же, сударыня, в свое время найдутся, — вот оно как! Конечно, разным талантам, бесспорно, нужно уметь, как то: на фортепьянах иногда поиграть, по-французски говорить, истории, географии, закону божиию и арифметике, — вот оно как! — а больше не нужно. К тому же и кухня; непременно в область ведения всякой благонравной девицы должна входить кухня! А то что тут? во-первых, красавица вы моя, милостивая моя государыня, вас не пустят, а пустят за вами погоню, и потом под сюркуп, в монастырь. Тогда что, сударыня вы моя? тогда мне-то что делать прикажете? прикажете мне, сударыня вы моя, следуя некоторым глупым романам, на ближний холм приходить и таять в слезах, смотря на хладные стены вашего заключения, и, наконец, умереть, следуя привычке некоторых скверных немецких поэтов и романистов, так ли, сударыня? Да, во-первых, позвольте сказать вам по-дружески, что дела так не делаются, а во-вторых, и вас, да и родителей-то ваших посек бы препорядочно за то, что французские-то книжки вам давали читать; ибо французские книжки добру не научат. Там яд... яд тлетворный, сударыня вы моя! Или вы думаете, позвольте спросить вас, или вы думаете, что, дескать, так и так, убежим безнаказанно, да и того... дескать, хижинку вам на берегу моря; да и ворковать начнем и об чувствах разных рассуждать, да так и всю жизнь проведем, в довольстве и счастии; да потом заведется птенец, так мы и того... дескать, так и так, родитель наш и статский советник, Олсуфий Иванович, вот, дескать, птенец завелся, так вы по сему удобному случаю снимите проклятие да благословите чету? Нет, сударыня, и опять-таки дела так не делаются, и первое дело то, что воркования не будет, не извольте надеяться. Нынче муж, сударыня вы моя, господин, и добрая, благовоспитанная жена должна во всем угождать ему. А нежностей, сударыня, нынче не любят, в наш промышленный век; дескать, прошли времена Жан-Жака Руссо. Муж, например, нынче приходит голодный из должности, — дескать, душенька, нет ли чего закусить, водочки выпить, селедочки съесть? так у вас, сударыня, должны быть сейчас наготове и водочка, и селедочка. Муж закусит себе с аппетитом, да на вас и не взглянет, а скажет: поди-тка, дескать, на кухню, котеночек, да присмотри за обедом, да разве-разве в неделю разок поцелует, да и то равнодушно... Вот оно как по-нашему-то, сударыня вы моя! да и то, дескать, равнодушно!.. Вот оно как будет, если так рассуждать, если уж на то пошло, что таким-то вот образом начать на дело смотреть... Да и я-то тут что? меня-то, сударыня, в ваши капризы зачем подмешали? «Дескать, благодетельный, за меня страждущий и всячески милый сердцу моему человек, и так далее». Да во-первых, я, сударыня вы моя, я для вас не гожусь, сами знаете, комплинтам не мастер, дамские там разные раздушенные пустячки говорить не люблю, селадонов не

жалую, да и фигурую, признаться, не взял. Ложного-то хвастовства и стыда вы в нас не найдете, а признаемся вам теперь во всей искренности. Дескать, вот оно как, обладаем лишь прямым и открытым характером, да здравым рассудком; интригами не занимаемся. Не интригант, дескать, и этим горжусь, — вот оно как!.. Хожу без маски между добрых людей и чтоб все вам сказать...»

Вдруг господин Голядкин вздрогнул. Рыжая и взмокнушая окончательно борода его кучера опять глянула к нему за дрова...

— Я сейчас, мой друг; я, мой друг, знаешь, тотчас; я, мой друг, тотчас же, — отвечал господин Голядкин трепещущим и изнывающим голосом.

Кучер почесал в затылке, потом погладил свою бороду, потом шагнул шаг вперед... остановился и недоверчиво взглянул на господина Голядкина.

— Я сейчас, мой друг; я, видишь... мой друг... я немножко, я, видишь, мой друг, только секундочку здесь... видишь, мой друг...

— Нешто совсем не поедете? — сказал, наконец, кучер, решительно и окончательно приступая к господину Голядкину...

— Нет, мой друг, я сейчас. Я, видишь, мой друг, ожидаюсь...

— Так-с...

— Я, видишь, мой друг... ты из какой деревни, мой милый?

— Мы господские...

— И добрых господ?..

— Нешто...

— Да, мой друг; ты постой здесь, мой друг. Ты, видишь, мой друг, ты давно в Петербурге?

— Да уж год езжу...

— И хорошо тебе, друг мой?

— Нешто.

— Да, мой друг, да. Благодарю провидение, мой друг. Ты, мой друг, доброго человека ищи. Нынче добрые люди стали редки, мой милый; он обмоет, накормит и напоит тебя, милый мой, добрый-то человек... А иногда ты видишь, что и через золото слезы льются, мой друг... видишь плачевный пример; вот оно как, милый мой...

Извозчику как будто стало жалко господина Голядкина.

— Да извольте, я подожду-с. Нешто долго ждать будете-с?

— Нет, мой друг, нет; я уж, знаешь, того... я уж не буду ждать, милый мой. Как ты думаешь, друг мой? Я на тебя полагаюсь. Я уж не буду здесь ждать...

— Нешто совсем не поедете?

— Нет, мой друг; нет, а я тебя поблагодарю, милый мой... вот оно как. Тебе сколько следует, милый мой?

— Да уж за что рядились, сударь, то и пожалуете. Ждал, сударь, долго; уж вы человека не обидите, сударь.

— Ну, вот тебе, милый мой, вот тебе. — Тут господин Голядкин отдал все шесть рублей серебром извозчику и, серьезно решившись не терять более времени, то есть уйти подобру-поздорову, тем более, что уже окончательно решено было дело и извозчик отпущен был и, следовательно, ждать более нечего, пустился со двора, вышел за ворота, поворотил налево и без оглядки, задыхаясь и радуясь, пустился бежать. «Оно, может быть, и все устроится к лучшему, — думал он, — а я вот таким-то образом беды избежал». Действительно, как-то вдруг стало необыкновенно легко в душе господина Голядкина. «Ах, кабы устроилось к лучшему! — подумал герой наш, сам, впрочем, мало себе на слово веря. — Вот я и того... — думал он. — Нет, я лучше вот как, и с другой стороны... Или лучше вот этак мне сделать?..» Таким-то образом сомневаясь и нища ключа и разрешения сомнений своих, герой наш добежал до Семеновского моста, а добежав до Семеновского моста, благоразумно и окончательно положил воротиться. «Оно и лучше, — подумал он. — Я лучше с другой стороны, то есть вот как. Я буду так — наблюдателем посторонним буду, да и дело с концом; дескать, я наблюдатель, лицо постороннее — и только, а там, что ни случись — не я виноват. Вот оно как! Вот оно таким-то образом и будет теперь».

Положив воротиться, герой наш действительно воротился, тем более, что, по счастливой мысли своей, ставил себя теперь лицом совсем посторонним. «Оно же и лучше: и не отвечаешь ни за что, да и увидишь, что следовало... вот оно как!» То есть расчет был вернейший, да и дело с концом. Успокоившись, забрался он опять под мирную сень своей успокоительной и охранительной кучи дров и внимательно стал смотреть на окна. В этот раз смотреть и дожидаться пришлось ему недолго. Вдруг, во всех окнах разом, обнаружилось какое-то странное движение, замелькали фигуры, открылись занавесы, целые группы людей толпились в окнах Олсуфия Ивановича, все искали и выглядывали чего-то на дворе. Обеспеченный своею кучею дров, герой наш тоже в свою очередь с любопытством стал следить за всеобщим движением и с участием вытягивать направо и налево свою голову, сколько по крайней мере позволяла ему короткая тень от дровяной кучи, его прикрывавшая. Вдруг он оторопел, вздрогнул и едва не присел на месте от ужаса. Ему показалось, — одним словом, он догадался вполне, что искали-то не что-нибудь и не кого-нибудь: искали просто его, господина Голядкина. Все смотрят в его сторону, все указывают в его сторону. Бежать было невозможно: увидят... Оторопевший господин Голядкин прижался как можно плотнее к дровам и тут только заметил, что предательская тень изменяла, что прикрывала она не всего его. С величайшим удовольствием согласился бы наш герой пролезть теперь в какую-нибудь мышиную щелочку между дровами, да там и сидеть себе смирно, если б только это было возможно.

Но было решительно невозможно. В агонии своей он стал, наконец, решительно и прямо смотреть на все окна разом; оно же и лучше... И вдруг сгорел со стыда окончательно. Его совершенно заметили, все разом заметили, все манят его руками, все кивают ему головами, все зовут его; вот щелкнуло и открылось несколько форточек; несколько голосов разом что-то начали кричать ему... «Удивляюсь, как этих девчонок не секут еще с детства», — бормотал про себя наш герой, совсем потерявшись. Вдруг с крыльца сбежал он (известно кто) в одном вицмундире, без шляпы, запыхавшись, юля, семена и подпрыгивая, вероломно изъявляя ужаснейшую радость о том, что увидел, наконец, господина Голядкина.

— Яков Петрович, — защебетал известный своей бесполезностью человек. — Яков Петрович, вы здесь? Вы простудитесь. Здесь холодно, Яков Петрович. Пожалуйста в комнату.

— Яков Петрович! Нет-с, я ничего, Яков Петрович, — покорным голосом пробормотал наш герой.

— Нет-с, нельзя, Яков Петрович: просят, покорнейше просят, ждут нас. «Осчастливьте, дескать, и приведите сюда Якова Петровича». Вот как-с.

— Нет, Яков Петрович; я, видите ли, я бы лучше сделал... Мне бы лучше домой пойти, Яков Петрович... — говорил наш герой, горя на мелком огне и замерзая от стыда и ужаса, все в одно время.

— Ни-ни-ни-ни! — защебетал отвратительный человек. — Ни-ни-ни, ни за что! Идем! — сказал он решительно и потащил к крыльцу господина Голядкина-старшего. Господин Голядкин-старший хотел было вовсе не идти; но так как смотрели все и сопротивляться и упираться было бы глупо, то герой наш пошел, — впрочем, нельзя сказать, чтобы пошел, потому что решительно сам не знал, что с ним делается. Да уж так ничего, заодно!

Прежде нежели герой наш успел кое-как оправиться и опомниться, очутился он в зале. Он был бледен, растрепан, растерзан; мутными глазами окинул он всю толпу, — ужас! Зала, все комнаты, — все, все было полным-полнехонько. Людей было бездна, дам целая оранжерея; все это теснилось около господина Голядкина, все это стремилось к господину Голядкину, все это выносило на плечах своих господина Голядкина, весьма ясно заметившего, что его упирают в какую-то сторону. «Ведь не к дверям», — пронеслось в голове господина Голядкина. Действительно упирали его не к дверям, а прямо к покойным креслам Олсуфия Ивановича. Возле кресел с одной стороны стояла Клара Олсуфьевна, бледная, томная, грустная, впрочем пышно убранная. Особенно бросились в глаза господину Голядкину маленькие беленькие цветочки в ее черных волосах, что составляло превосходный эффект. С другой стороны кресел держался Владимир Семенович, в черном фраке, с новым своим орденом в петличке. Господина Го-

лядкина вели под руки и, как сказано было выше, прямо на Олсуфия Ивановича — с одной стороны господин Голядкин-младший, принявший на себя вид чрезвычайно благопристойный и благонамеренный, чему наш герой донельзя обрадовался, с другой же стороны руководил его Андрей Филиппович с самой торжественной миной в лице. «Что бы это?» — подумал господин Голядкин. Когда же он увидел, что ведут его к Олсуфию Ивановичу, то его вдруг как будто молнией озарило. Мысль о перехваченном письме мелькнула в голове его... В неистощимой агонии предстал наш герой перед кресла Олсуфия Ивановича. «Как мне теперь? — подумал он про себя. — Разумеется, этак все на смелую ногу, то есть с откровенностью, не лишенною благородства; дескать, так и так и так далее». Но чего боялся, по-видимому, герой наш, то и не случилось. Олсуфий Иванович принял, кажется, весьма хорошо господина Голядкина и, хотя не протянул ему руки своей, но по крайней мере, смотря на него, покачал своею седовласою и внушающею всякое уважение головою, — покачал с каким-то торжественно-печальным, но вместе с тем благосклонным видом. Так по крайней мере показалось господину Голядкину. Ему показалось даже, что слеза блеснула в тусклых взорах Олсуфия Ивановича; он поднял глаза и увидел, что и на ресницах Клары Олсуфьевны, тут же стоявшей, тоже как будто блеснула слезинка, — что и в глазах Владимира Семеновича тоже как будто бы было что-то подобное, — что, наконец, ненарушимое и спокойное достоинство Андрея Филипповича тоже стоило общего слезящегося участия, — что, наконец, юноша, когда-то весьма походивший на важного советника, уже горько рыдал, пользуясь настоящей минутой... Или это все, может быть, только так показалось господину Голядкину, потому что он сам весьма прослезился и ясно слышал, как текли его горячие слезы по его холодным щекам... Голосом, полным рыданий, примиренный с людьми и судьбою и крайне любя в настоящее мгновение не только Олсуфия Ивановича, не только всех гостей, взятых вместе, но даже и зловредного близнеца своего, который теперь, по-видимому, вовсе был не зловредным и даже не близнецом господину Голядкину, но совершенно посторонним и крайне любезным самим по себе человеком, обратился было герой наш к Олсуфию Ивановичу с трогательным излиянием души своей; но от полноты всего, в нем накопившегося, не мог ровно ничего объяснить, а только весьма красноречивым жестом молча указал на свое сердце... Наконец Андрей Филиппович, вероятно желая пощадить чувствительность седовласого старца, отвел господина Голядкина немного в сторону и оставил его, впрочем, кажется, в совершенно независимом положении. Улыбаясь, что-то бормоча себе под нос, немного недоумевая, но во всяком случае почти совершенно примиренный с людьми и судьбою, начал пробираться герой наш куда-то сквозь густую массу гостей. Все ему давали дорогу,

все смотрели на него с каким-то странным любопытством и с каким-то необъяснимым, загадочным участием. Герой наш прошел в другую комнату — то же внимание везде; он глухо слышал, как целая толпа теснилась по следам его, как замечали его каждый шаг, как втихомолку все между собою толковали о чем-то весьма занимательном, качали головами, говорили, судили, рядили и шептались. Господину Голядкину весьма бы хотелось узнать, о чем они все так судят, и рядят, и шепчутся. Оглянувшись, герой наш заметил подле себя господина Голядкина-младшего. Почувствовав необходимость схватить его руку и отвести его в сторону, господин Голядкин убедительнейше попросил другого Якова Петровича содействовать ему при всех будущих начинаниях и не оставлять его в критическом случае. Господин Голядкин-младший важно кивнул головою и крепко сжал руку господина Голядкина-старшего. Сердце затрепетало от избытка чувств в груди героя нашего. Впрочем, он задыхался, он чувствовал, что его так теснит, теснит; что все эти глаза, на него обращенные, как-то гнетут и давят его... Господин Голядкин увидал мимоходом того советника, который носил парик на голове. Советник глядел на него строгим, испытующим взглядом, вовсе не смягченным от всеобщего участия... Герой наш решился было идти к нему прямо, чтоб улыбнуться ему и немедленно с ним объясниться; но дело как-то не удалось. На одно мгновение господин Голядкин почти забылся совсем, потерял и память, и чувства... Очнувшись, заметил он, что вертится в широком кругу его обступивших гостей. Вдруг из другой комнаты крикнули господина Голядкина; крик разом пронесся по всей толпе. Все заволновалось, все зашумело, все ринулись к дверям первой залы; героя нашего почти вынесли на руках, причем твердосердый советник в парике очутился бок о бок с господином Голядкиным. Наконец он взял его за руку и посадил возле себя, напротив седалища Олсуфья Ивановича, в довольно значительном, впрочем, от него расстоянии. Все, кто ни был в комнатах, все уселись в нескольких рядах, кругом господина Голядкина и Олсуфья Ивановича. Все затихло и присмирело, все наблюдали торжественное молчание, все взглядывали на Олсуфья Ивановича, очевидно ожидая чего-то не совсем обыкновенного. Господин Голядкин заметил, что возле кресел Олсуфья Ивановича, и тоже прямо против советника, поместился другой господин Голядкин с Андреем Филипповичем. Молчание длилось; чего-то действительно ожидали. «Точь-в-точь как в семье какой-нибудь, при отъезде кого-нибудь в дальний путь; стоит только встать да помолиться теперь», — подумал герой наш. Вдруг обнаружилось необыкновенное движение и прервало все размышления господина Голядкина. Случилось что-то давно ожидаемое. «Едет, едет!» — пронеслось по толпе. «Кто это едет?» — пронеслось в голове господина Голядкина, и он вздрогнул от какого-то странного ощущения. «Пора!» — сказал советник, вни-

мательно посмотрев на Андрея Филипповича. Андрей Филиппович, с своей стороны, взглянул на Олсуфий Ивановича. Важно и торжественно кивнул головой Олсуфий Иванович. «Встанем», — проговорил советник, подымая господина Голядкина. Все встали. Тогда советник взял за руку господина Голядкина-старшего, а Андрей Филиппович господина Голядкина-младшего, и оба торжественно свели двух совершенно подобных, среди обставшей их кругом и устремившейся в ожидании толпы. Герой наш с недоумением осмотрелся кругом, но его тотчас остановили и указали ему на господина Голядкина-младшего, который протянул ему руку. «Это мирить нас хотят», — подумал герой наш и с умилением протянул свою руку господину Голядкину-младшему; потом, потом протянул к нему свою голову. То же сделал и другой господин Голядкин... Тут господину Голядкину-старшему показалось, что вероломный друг его улыбается, что бегло и плутовски мигнул всей окружавшей их толпе, что есть что-то зловещее в лице неблагопристойного господина Голядкина-младшего, что даже он отпустил гримасу какую-то в минуту нудина своего поцелуя... В голове зазвонило у господина Голядкина, в глазах потемнело; ему показалось, что бездна, целая вереница совершенно подобных Голядкиных с шумом вламываются во все двери комнаты; но было поздно... Звонкий предательский поцелуй раздался, и...

Тут случилось совсем неожиданное обстоятельство... Двери в залу растворились с шумом, и на пороге показался человек, которого один вид оледенил господина Голядкина. Ноги его приросли к земле. Крик замер в его стесненной груди. Впрочем, господин Голядкин знал все заранее и давно уже предчувствовал что-то подобное. Незнакомец важно и торжественно приближался к господину Голядкину... Господин Голядкин эту фигуру очень хорошо знал. Он ее видел, очень часто видал, еще сегодня видел... Незнакомец был высокий, плотный человек, в черном фраке, с значительным крестом на шее и одаренный густыми, весьма черными бакенбардами; недоставало только сигарки во рту для дальнейшего сходства... Зато взгляд незнакомца, как уже сказано было, оледенил ужасом господина Голядкина. С важной и торжественной миной подошел страшный человек к плачевному герою повести нашей... Герой наш протянул ему руку; незнакомец взял его руку и потащил за собою... С потерянным, с убитым лицом оглянулся кругом наш герой...

— Это, это Крестьян Иванович Рутеншпиц, доктор медицины и хирургии, ваш давнишний знакомец, Яков Петрович! — защебетал чей-то противный голос под самым ухом господина Голядкина. Он оглянулся: то был отвратительный подлыми качествами души своей близнец господина Голядкина. Неблагопристойная, зловещая радость сияла в лице его; с восторгом он тер свои руки, с восторгом повертывал кругом свою голову, с восторгом семенял кругом всех и каждого;

казалось, готов был тут же начать танцевать от восторга; наконец он прыгнул вперед, выхватил свечку у одного из слуг и пошел вперед, освещая дорогу господину Голядкину и Крестьяну Ивановичу. Господин Голядкин слышал ясно, как все, что ни было в зале, ринулось вслед за ним, как все теснились, давили друг друга и все вместе, в голос, начинали повторять за господином Голядкиным: «что это ничего; что не бойтесь, Яков Петрович, что это ведь старинный друг и знакомец ваш, Крестьян Иванович Рутеншиц...» Наконец вышли на парадную, ярко освещенную лестницу; на лестнице была тоже куча народа; с шумом растворились двери на крыльцо, и господин Голядкин очутился на крыльце вместе с Крестьяном Ивановичем. У подъезда стояла карета, запряженная четверней лошадей, которые фыркали от нетерпения. Злорадственный господин Голядкин-младший в три прыжка сбежал с лестницы и сам отворил карету. Крестьян Иванович увещательным жестом попросил садиться господина Голядкина. Впрочем, увещательного жеста было вовсе не нужно; было довольно народу подсаживать... Замирая от ужаса, оглянулся господин Голядкин назад: вся ярко освещенная лестница была унижена народом; любопытные глаза глядели на него отвсюду; сам Олсуфий Иванович председал на самой верхней площадке лестницы, в своих покойных креслах, и внимательно, с сильным участием смотрел на все совершавшееся. Все ждали. Ропот нетерпения пробежал по толпе, когда господин Голядкин оглянулся назад.

— Я надеюсь, что здесь нет ничего... ничего предосудительного... или могущего возбудить строгость... и внимание всех, касательно официальных отношений моих? — проговорил, потерявшись, герой наш. Говор и шум поднялся кругом; все отрицательно закивали головами своими. Слезы брызнули из глаз господина Голядкина.

— В таком случае, я готов... я уверяюсь вполне... и вручаю судьбу мою Крестьяну Ивановичу...

Только что проговорил господин Голядкин, что он вручает вполне свою судьбу Крестьяну Ивановичу, как страшный, оглушительный, радостный крик вырвался у всех окружавших его и самым злоеющим откликом прокатился по всей ожидавшей толпе. Тут Крестьян Иванович с одной стороны, а с другой — Андрей Филиппович взяли под руки господина Голядкина и стали сажать в карету; двойник же, по подленькому обыкновению своему, подсаживал сзади. Несчастный господин Голядкин-старший бросил свой последний взгляд на всех и на все и, дрожа, как котенок, которого окатили холодной водой, — если позволят сравнение, — влез в карету; за ним тотчас же сел и Крестьян Иванович. Карета захлопнулась; послышался удар кнута по лошадям, лошади рванули экипаж с места... все ринулось вслед за господином Голядкиным. Пронзительные, неистовые крики всех врагов его покатались ему вслед в виде напутствия. Некоторое время еще

мелькали кое-какие лица кругом кареты, уносившей господина Голядкина; но мало-помалу стали отставать-отставать и, наконец, исчезли совсем. Долее всех оставался неблагопристойный близнец господина Голядкина. Заложа руки в боковые карманы своих зеленых форменных брюк, бежал он с довольным видом, подпрыгивая то с одной, то с другой стороны экипажа; иногда же, схватившись за рамку окна и повиснув на ней, просовывал в окно свою голову и, в знак прощания, посылал господину Голядкину поцелуйчики; но и он стал устывать, все реже и реже появлялся и, наконец, исчез совершенно. Глухо занывало сердце в груди господина Голядкина; кровь горячим ключом била ему в голову; ему было душно, ему хотелось растегнуться, обнажить свою грудь, обсыпать ее снегом и облить холодной водой. Он впал, наконец, в забытие... Когда же очнулся, то увидел, что лошади несут его по какой-то ему незнакомой дороге. Направо и налево чернелись леса; было глухо и пусто. Вдруг он обмер: два огненные глаза смотрели на него в темноте, и зловещею, адскою радостно блестели эти два глаза. Это не Крестьян Иванович! Кто это? Или это он? Он! Это Крестьян Иванович, но только не прежний, это другой Крестьян Иванович! Это ужасный Крестьян Иванович!..

— Крестьян Иванович, я... я, кажется, ничего, Крестьян Иванович, — начал было робко и трепеща наш герой, желая хоть сколько-нибудь покорностию и смирением умилосердить ужасного Крестьяна Ивановича.

— Ви получает казенный квартир, с дровами, с лихт¹ и с прислугой, чего ви недостойн, — строго и ужасно, как приговор, прозвучал ответ Крестьяна Ивановича.

Герой наш вскрикнул и схватил себя за голову. Увы! он это давно уже предчувствовал!

¹ Л и х т (нем. Licht) — освещение.

РОМАН В ДЕВЯТИ ПИСЬМАХ

I

(От Петра Ивановича к Ивану Петровичу)

Милостивый государь и драгоценнейший друг,
Иван Петрович!

Вот уже третий день, как я, можно сказать, гоняюсь за вами, драгоценнейший друг мой, имея переговорить о наинужнейшем деле, и нигде не встречаю вас. Жена моя вчера, в бытность нашу у Семена Алексеича, весьма кстати подшутила над вами, говоря, что из вас с Татьяной Петровной вышла парочка непоседов. Трех месяцев нет, как женаты, а уже неглижируете домашними своими пенатами. Мы все много смеялись, — от полноты искреннего расположения нашего к вам, разумеется, — но, кроме шуток, бесценнейший мой, задали вы мне хлопот. Говорит мне Семен Алексеич, что не в клубе ли вы Соединенного общества на бале? Оставляю жену у супруги Семена Алексеича, сам же лечу в Соединенное общество. Смех и горе! представьте мое положение: я на бал — и один, без жены! Иван Андреич, встретившийся со мною в швейцарской, увидев меня одного, немедленно заключил (злодей!) о необыкновенной страсти моей к танцевальным собраниям и, подхватив меня под руку, хотел было уже насильно тащить в танцкласс, говоря, что в Соединенном обществе тесно ему, развернуться негде молодецкой душе и что от пачули с резедой у него голова разболелась. Не нахожу ни вас, ни Татьяны Петровны. Иван Андреич уверяет и божится, что вы непременно на «Горе от ума» в Александринском театре.

Лечу в Александринский театр: нет и там. Сегодня утром думал вас найти у Чистоганова — не тут-то было. Чистоганов шлет к Перепалкиным — то же самое. Одним словом, измучился совершенно; судите, как я хлопотал! Теперь пишу к вам (нечего делать!). Дело-то мое отнюдь не литературное (вы меня понимаете); лучше бы с глазу на глаз, крайне нужно объясниться с вами, и как можно скорее, и потому прошу ко мне сегодня на чай и на вечернюю беседу вместе с Татьяной Петровной. Моя Анна Михайловна будет крайне обрадована посещением вашим. Истинно, как говорится, по гроб одолжите.

Кстати, бесценнейший друг мой, — коли дело дошло до пера, то всё в строку, — нахожусь вынужденным теперь же попенять вам отчасти и даже укорить вас, почтеннейший друг мой, в одной, по-видимому, весьма невинной проделочке, которою вы зло надо мной подпустили... злодей вы, бессовестный человек! Около половины прошедшего месяца вводите вы в дом мой одного знакомого вашего, именно Евгения Николаича, ассюрируете его дружеской и для меня, разумеется, священнейшей рекомендацией вашей; я радуюсь случаю, принимаю молодого человека с распростертыми объятиями и вместе с тем кладу голову в петлю. Петля не петля, а вышла, что называется, штука хорошая. Объяснять теперь некогда, да на пере и неловко, а только нижайшая просьба до вас, злорадственный друг и приятель, нельзя ли каким-нибудь образом, поделикатнее, в скобках, на ушко, втихомолочку, пошептать вашему молодому человеку, что есть в столице много домов, кроме нашего. Мочи нет, батюшка! Падам до ног, как говорит приятель наш Симоневич. Свидимся, я вам все расскажу. Не в том смысле говорю, что молодой человек не взял, например, на фасоне или душевными качествами или в чем-нибудь там другом оплошал. Напротив, он даже малый любезный и милый; но вот погодите, увидимся; а между тем, если встретите его, то шепните ему, ради бога, почтеннейший. Я бы и сам это сделал, но вы знаете, характер такой: не могу, да и только. Вы же рекомендовали его. Впрочем, вечером, во всяком случае, подробнее объяснимся. А теперь до свидания. Остаюсь и проч.

P.S. Маленький у меня уже с неделю прихварывает, и с каждым днем всё хуже и хуже. Страдает зубенками; вырезаются. Жена всё нянчится с ним и грустит, бедняжка. Приезжайте. Истинно обрадуете нас, драгоценнейший друг мой.

II

(От Ивана Петровича к Петру Ивановичу)

Милостивый государь,
Петр Иванович!

Получаю вчера письмо ваше, читаю и недоумеваю. Ищите меня бог знает в каких местах, а я просто был дома. До десяти часов ожидал Ивана Ивановича Толоконова. Тотчас же беру жену, нанимаю извозчика, трачусь и являюсь к вам временем около половины седьмого. Вас дома нет, а встречает нас ваша супруга. Жду вас до половины одиннадцатого; долее невозможно. Беру жену, в расчетах. Приезжаю домой, не сплю всю ночь, беспокоюсь, утром заезжаю к вам три раза, в девять, в десять и в одиннадцать часов, три раза трачусь, нанимаю извозчиков, и опять вы меня оставляете с носом.

Читая же ваше письмо, удивлялся. Пишете о Евгении Николаиче, просите шепнуть и не упоминаете почему. Хвалю осторожность, но бумага бумаге рознь, а я нужных бумаг на папильотки жене не даю. Недоумеваю, наконец, в каком смысле изволили мне это всё написать. Впрочем, если на то пошло, то чего же меня-то мешать в это дело? Я носа своего не сую во всякую всячину. Отказать могли сами, вижу только, что объясниться нужно мне с вами короче, решительнее, да к тому же и время проходит. А я стеснен и не знаю, что делать придется, коли неглижировать условиями будете. Дорога на носу, дорога чего-нибудь стоит, а тут еще жена хнычет: спшей ей бархатный капот по модному вкусу. Насчет же Евгения Николаича спешу вам заметить: навел я вчера, не теряя времени, окончательно справки, в бытность мою у Павла Семеныча Перепалкина. У него своих пятьсот душ в Ярославской губернии, да от бабушки есть надежда получить в триста душ подмосковную. Денег же сколько, не знаю, а я думаю, что вам это лучше знать. Окончательно прошу вас назначить мне место свидания. Встретили вчера Ивана Андреича и пишете, что объявил он вам, что я в Александрыньском театре с женою. Я же пишу, что он врет, и тем более ему веры нельзя иметь в подобных делах, что он, не далее как третьего дня, провел свою бабушку на осьмистах рублях ассигнациями. Затем имею честь пребыть.

P.S. Жена моя забеременела; к тому же она пуглива и чувствует подчас меланхолию. В театральные же представления иногда вводят пальбу и искусственно машинами сделанный гром. И потому, боясь испугать жену, в театры ее не вожу. Сам же до театральных представлений охоты большой не имею.

III

(От Петра Ивановича к Ивану Петровичу)

Бесценнейший друг мой,
Иван Петрович!

Виноват, виноват и тысячу раз виноват, но спешу оправдаться. Вчера в шестом часу, и как раз в то самое время, как мы с истинным участием сердца о вас вспоминали, прискакал нарочный от дядюшки Степана Алексеича с известием, что с тетушкой худо. Боясь перепугать жену, не говоря ей ни слова, претекстую постороннее нужное дело и еду в дом тетушки. Нахожу ее едва живу. Ровно в пять часов последовал с нею удар, уже третий в два года. Карл Федорыч, медик их дома, объявил, что, может быть, она не проживет и ночи одной. Судите о моем положении, драгоценнейший друг мой. Целую ночь на ногах, в хлопотах и горе! Утром только, истощив свои силы и удрученный телесною и душевною немощью, прилег я у них же

на диване, забыл сказать, чтобы вовремя меня разбудили, и проснулся в половине двенадцатого. Тетушке лучше. Еду к жене; она, бедная, истерзалась, ожидая меня. Перехватил кусок кой-чего, обнял малютку, разуверил жену и отправился к вам. Вас нет дома. Нахожу же у вас Евгения Николаича. Отправляюсь домой, беру перо и теперь к вам пишу. Не ропщите и не сердитесь на меня, искренний друг мой. Бейте, рубите голову повинную с плеч, но не лишайте благорасположения вашего. От вашей супруги узнал, что вечером вы у Славяновых. Буду там непременно. С величайшим нетерпением ожидаю вас.

Теперь же остаюсь и т.д.

P.S. Маленький наш повергает нас в истинное отчаяние. Карл Федорыч прописал ему ревенюку. Стонет, вчера не узнавал никого. Сегодня же стал узнавать и лепечет всё — папа, мама, бу... Жена в слезах целое утро.

IV

(От Ивана Петровича к Петру Ивановичу)

Милостивый государь мой, Петр Иванович!

Пишу к вам у вас, в вашей комнате, на вашем бюро; а прежде чем взялся за перо, прождал вас с лишком два часа с половиною. Теперь позвольте же вам прямо сказать, Петр Иванович, мое открытое мнение насчет всего этого скаредного обстоятельства. Из вашего последнего письма заключаю, что вас ждут у Славяновых, зовете меня туда, являюсь, сижу пять часов, а вас не бывало. Что ж, я людей смешить, что ли, по-вашему, должен? Позвольте, милостивый государь... Являюсь к вам утром, надеясь застать вас и не подражая таким манером некоторым обманчивым лицам, которые ищут людей бог знает по каким местам, когда их можно застать дома во всякое прилично выбранное время. Дома и духа вашего не было. Не знаю, что удерживает меня теперь высказать вам всю резкую правду. Скажу только то, что вижу вас, кажется, на попятном дворе относительно наших известных условий. И теперь только, соображая всё дело, не могу не признаться, что решительно удивляюсь хитростному вашему уму направлению. Ясно вижу теперь, что неблагоприятное намерение свое питали вы с давних пор. Доказательством же такому моему предположению служит то, что вы еще на прошлой неделе, почти непозволительным образом, овладели тем письмом вашим, на имя мое адресованным, в котором сами изложили, хотя и довольно темно и нескладно, условия наши насчет весьма известного вам обстоятельства. Бойтесь документов, их уничтожаете, а меня в дураках оставляете. Но я в дураках себя считать не позволю, ибо за такового меня доселе никто не считал, и все насчет этого обстоятельства обо мне с хорошей стороны относились. Открываю

глаза. Сбиваете меня с толку, туманите меня Евгением Николаичем, и когда я, с неразгаданным мною доселе письмом вашим от седьмого сего месяца, ищущу объясниться с вами, вы назначаете мне ложные свидания, а сами скрываетесь. Не думаете ли вы, милостивый государь, что я всего этого заметить не в силах? Обещаете вознаградить меня за весьма хорошо вам известные услуги относительно рекомендации разных лиц, а между тем, и неизвестно каким образом, устраиваете так, что сами у меня деньги берете без расписки знатными суммами, что было не далее как на прошлой неделе. Теперь же, взяв деньги, скрываетесь, да еще отрекаетесь от услуги моей, вам оказанной относительно Евгения Николаича. Рассчитываете, может быть, на скорый отъезд мой в Симбирск и думаете, что не успеем концов свести с вами. Но объявляю вам торжественно и свидетельствуюсь при том честным словом моим, что если пойдет на то, то я нарочно готов буду еще целых два месяца прожить в Петербурге, а дела своего добьюсь, цели достигну и вас отыщу. И мы умеем подчас действовать в пику. В заключение же объявляю вам, что если вы сегодня же не объяснитесь со мною удовлетворительно, сперва на письме, а потом личным образом, с глазу на глаз, и не изложите в вашем письме вновь всех главных условий, существовавших между нами, и не объясните окончательно мыслей ваших насчет Евгения Николаича, то я принужден буду прибегнуть к мерам, вам весьма неблагоприятным и даже самому мне противным.

Позвольте пребыть и т.д.

V

(От Петра Ивановича к Ивану Петровичу)

Ноября 11-го.

Любезнейший, почтеннейший друг мой,
Иван Петрович!

До глубины души моей я был огорчен письмом вашим. И не известно было вам, дорогой, но несправедливый друг мой, так поступать с лучшим доброжелателем вашим. Поторопиться, не объяснить всего дела и, наконец, оскорбить меня такими обидными подозрениями?! Но спешу отвечать на обвинения ваши. Не застали вы меня, Иван Петрович, вчера потому, что я вдруг и совсем неожиданно позван был к одру умирающей. Тетушка Евфимия Николаевна представилась вчера вечером, в одиннадцать часов пополудни. Общим голосом родственников избран я был распорядителем всей плачевной и горестной церемонии. Дел было столько, что я и поутру сегодня не успел увидеться с вами, ниже уведомить хоть строчкой письма. Скорбею душевно о недоразумении, выпавшем между нами. Слова мои о Евгении Николаевиче, высказанные мною шутливо и мимоходом, приняли вы в со-

вершенно противную сторону, а делу всему дали глубоко обижающий меня смысл. Упоминаете о деньгах и выказываете о них свое беспокойство. Но, не обинуясь, готов удовлетворить всем вашим желаниям и требованиям, хотя здесь, мимоходом, и не могу не напомнить вам, что деньги, триста пятьдесят рублей серебром, взяты мною у вас на прошлой неделе на известных условиях, а не займообразно. В последнем же случае непременно бы существовала расписка. Не снисхожу до объяснений касательно остальных пунктов, изложенных в вашем письме. Вижу, что это недоразумение, вижу в этом вашу обычную скорость, горячность и прямоту. Знаю, что благодушные и открытый характер ваш не позволят оставаться сомнению в сердце вашем и что наконец вы же сами протянете первый мне руку вашу. Вы ошиблись, Иван Петрович, вы крайне ошиблись!

Несмотря на то что письмо ваше глубоко уязвило меня, я первый, и сегодня же, готов бы был к вам явиться с повинною, но нахожусь в таких хлопотах с самого вчерашнего дня, что убит теперь совершенно и едва стою на ногах. К довершению бедствий моих жена слегла в постель; боюсь серьезной болезни. Что же касается до маленького, то ему, слава богу, получше. Но бросаю перо... дела зовут, а их целая куча.

Позвольте, бесценнейший друг мой, пребыть и проч.

VI

(От Ивана Петровича к Петру Ивановичу)

Ноября 14-го.

Милостивый мой государь, Петр Иванович!

Я выждал три дня; употребить постарался их с пользою, — между тем, чувствуя, что вежливость и приличие суть первые украшения всякого человека, с самого последнего письма моего, от десятого числа сего месяца, не напоминал вам о себе ни словом, ни делом, частью для того, чтобы дать вам исполнить безмятежно христианский долг относительно тетушки вашей, частью же потому, что для некоторых соображений и изысканий по известному делу имел во времени надобность. Теперь же спешу с вами окончательным и решительным образом объясниться.

Признаюсь вам откровенно, что при чтении первых двух писем ваших я серьезно думал, что вы не понимаете, чего я хочу; вот по какому случаю наиболее искал я свидания с вами и объяснения с глазу на глаз, боялся пера и обвинял себя в неясности способа выражения мыслей моих на бумаге. Известно вам, что воспитания и манеров хороших я не имею и пустозвонного щегольства я чуждаюсь, потому что по горькому опыту познал наконец, сколь обманчива иногда бывает

наружность и что под цветами иногда таится змея. Но вы меня понимали; не отвечали же мне так, как следует, потому, что вероломством души своей положили заране изменить своему честному слову и существовавшему между нами приятельским отношениям. Совершенно же доказали вы это гнусным поведением вашим относительно меня в последнее время, поведением, пагубным для моего интереса, чего не ожидал я и чему верить никак не хотел до настоящей минуты; ибо, плененный в самом начале знакомства нашего умными манерами вашими, тонкостию вашего обращения, знанием дел и выгодами, имевшими быть мне от сообщества с вами, я полагал, что нашел истинного друга, приятеля и доброжелателя. Теперь же ясно познал, что есть много людей, под лстивою и блестящею наружностью скрывающих яд в своем сердце, употребляющих ум свой на устроение козней ближнему и на непозволительный обман и потому боящихся пера и бумаги, а вместе с тем и употребляющих слог свой не на пользу ближнего и отечества, а для усыпления и обаяния рассудка тех, кои вошли с ними в разные дела и условия. Вероломство ваше, милостивый государь мой, относительно меня ясно можно видеть из нижеследующего.

Во-первых, когда я в ясных и отчетливых выражениях письма моего изображал вам, милостивый государь мой, свое положение, а вместе с тем спрашивал вас в первом письме моем, что вы хотите разуместь под некоторыми выражениями и намерениями вашими, преимущественно же относительно Евгения Николаича, то вы по большей части старались умалчивать и, возмутив меня раз подозрениями и сомнениями, спокойно сторонились от дела. Потом, наделав со мной таких дел, которых и приличным словом назвать нельзя, стали писать, что вы огорчаетесь. Как это назвать прикажете, милостивый мой государь? Потом, когда каждая минута была для меня дорога и когда вы заставляли меня гоняться за вами на протяжении всей столицы, писали вы под личиною дружбы мне письма, в которых, нарочно умалчивая о деле, говорили о совершенно посторонних вещах: именно о болезнях во всяком случае уважаемой мною вашей супруги и о том, что вашему малютке ревеню дали и что де по сему случаю у него прорезался зуб. Обо всем этом упоминали вы в каждом письме своем с гнусною и обидною для меня регулярностью. Конечно, готов согласиться, что страдания родного детища терзают душу отца, но для чего же упоминать об этом тогда, когда нужно было совершенно другое, более нужное и интересное. Я молчал и терпел; теперь же, когда время прошло, долгом почел объясниться. Наконец, несколько раз вероломно обманувши меня ложным назначением свиданий, заставили меня играть, по-видимому, роль вашего дурака и потешителя, чем я быть никогда не намерен. Потом, и пригласив меня к себе предварительно и как следует обманув, уведомляете меня, что отозваны были к страдающей тетюшке вашей, получившей удар ровно в пять часов, изыскался, таким образом, и тут

с постыдною точностью. К счастью моему, милостивый мой государь, в эти три дня я успел навесть справки и по ним узнал, что тетюшку вашу постиг удар еще накануне осьмого числа, незадолго до полночи. По сему случаю вижу, что вы употребили святость родственных отношений для обмана совершенно посторонних людей. Наконец, в последнем письме своем упоминаете и о смерти родственницы вашей, как бы приключившейся именно в то самое время, когда я должен был явиться к вам для совещаний об известных делах. Но здесь гнусность расчетов и выдумок ваших превосходит даже всякое вероятие, ибо по достовернейшим справкам, к которым по счастливейшему для меня случаю успел я прибегнуть и кстати и вовремя, узнал я, что тетюшка ваша скончалась ровно целые сутки спустя после безбожно определенного вами в письме своем срока для кончины ее. Я не кончу, если буду исчислять все признаки, по коим узнал о вашем относительно меня вероломстве. Довольно даже того для беспристрастного наблюдателя, что во всяком письме своем именуете вы меня своим искренним другом и называете любезными именами, что делали, по моему разумению, не для чего иного, как с тем, чтобы усыпить мою совесть.

Приступлю теперь к главному вашему относительно меня обману и вероломству, состоящему именно: в непрерывном умалчивании в последнее время о всем том, что касается общего нашего интереса, в безбожном похищении письма, в котором, хотя темно и не совсем мне понятно, объяснили вы наши обоюдные условия и соглашения, в варварском насильном займе трехсот пятидесяти рублей серебром, без расписки, сделанном у меня в качестве вашего половинщика; и, наконец, в гнусной клевете на общего знакомого нашего Евгения Николаича. Ясно вижу теперь, что хотелось вам доказать мне, что с него, с позволения сказать, как с козла, нет ни молока, ни шерсти и что он сам ни то ни се, ни рыба ни мясо, что и поставили ему в порок в письме своем от шестого числа сего месяца. Я же знаю Евгения Николаича как за скромного и благонравного юношу, чем именно может он и прельстить, и сыскать, и заслужить уважение в свете. Известно тоже мне, что вы каждый вечер, в продолжение целых двух недель, клали в карман свой по несколько десятков, а иногда и до сотни рублей серебром, держа палки и банки Евгению Николаичу. Теперь же вы от этого всего отпираетесь и не только не соглашаетесь возблагодарить меня за старания, но даже присвоили безвозвратно собственные деньги мои, соблазнив меня предварительно качеством вашего половинщика и обольстив меня разными выгодами, имеющими быть на долю мою. Присвоив же теперь беззаконнейшим образом себе мои и Евгения Николаича деньги, возблагодарить меня уклоняетесь, употребляя для сего клевету, которою и очернили безрассудно в глазах моих того, кого я стараниями и усилиями своими ввел в дом ваш. Сами же, например, по рассказам приятелей, до сих пор чуть-чуть не лижетесь с ним и выдаете

всему свету за первейшего вашего друга, несмотря на то что в свете нет такого последнего дурака, который бы сразу не угадал, к чему клонятся все ваши намерения и что именно значат на деле дружелюбные и приятельские отношения ваши. Я же скажу, что они значат обман, вероломство, забвение приличий и прав человека, богопротивны и всячески порочны. Ставлю себя примером и доказательством. Чем я вас оскорбил и за что вы со мною таким безбожным образом поступили?

Кончаю письмо. Я объяснился. Теперь заключаю: если вы, милостивый мой государь, в наискратчайшее по получении письма сего время не возвратите мне сполна, во-первых, мною вам данной суммы, триста пятьдесят рублей серебром, и, во-вторых, всех за тем следующих мне, но обещанию вашему, сумм, то я прибегну ко всевозможным средствам, чтобы принудить вас к отдаче даже открытою силою, во-вторых, к покровительству законов, и, наконец, объявляю вам, что обладаю кое-какими свидетельствами, которые, оставаясь в руках вашего покорнейшего слуги и почитателя, могут погубить и осквернить ваше имя в глазах целого света.

Позвольте пребыть и проч.

VII

(От Петра Ивановича к Ивану Петровичу)

Ноября 15-го.

Иван Петрович!

Получив ваше мужицкое и вместе с тем странное послание, я в первую минуту хотел было разорвать его в клочки, — но сохранил для редкости. Впрочем, сердечно сожалел о недоразумениях и неприятностях наших. Отвечать вам я было не хотел. Но заставляет необходимость. Именно сими строками объявить вам нужно, что видеть вас когда-либо в доме моем мне будет весьма неприятно, равно и жене моей: она слаба здоровьем и запах дегтя ей вреден.

Жена моя отсылает вашей супруге книжку ее, оставшуюся у нас, — «Дон-Кихота Ламанчского», с благодарностью. Что же касается до ваших калош, будто бы забытых вами у нас во время последнего посещения, то с сожалением уведомляю вас, что их нигде не нашли. Покамест их ищут; но если их совсем не найдут, тогда я вам куплю новые.

Впрочем, честь имено пребыть и проч.

VIII

Шестнадцатого числа ноября Петр Иванович получает по городской почте на свое имя два письма. Вскрывая первый пакет, вынимает он записочку, затейливо сложенную, на бледно-розовой бумажке. Рука жены его. Адресовано к Евгению Николаичу, число 2 ноября. В пакете больше ничего не нашлось. Петр Иванович читает:

Милый Eugène! Вчера никак нельзя было. Муж был дома весь вечер. Завтра же приезжай непременно ровно в одиннадцать.

В половине одиннадцатого муж отправляется в Царское и воротится в полночь. Я злилась всю ночь. Благодарю за присылку известий и переписки. Какая куча бумаг! Неужели это всё она исписала? Впрочем, есть слог; спасибо тебе; вижу, что любишь меня. Не сердись за вчерашнее и приходи завтра, ради бога.

А.

Петр Иванович распечатывает второе письмо.

Петр Иванович!

Нога моя и без того бы никогда не была в вашем доме; напрасно изволили даром бумагу марать.

На будущей неделе уезжаю в Симбирск; приятелем бесценнейшим и любезнейшим другом останется у вас Евгений Николаич; желаю удачи, а о калошах не беспокойтесь.

IX

Семнадцатого числа ноября Иван Петрович получает по городской почте на свое имя два письма. Вскрывая первый пакет, вынимает он записочку, небрежно и наскоро написанную. Рука жены его; адресовано к Евгению Николаичу, число 4 августа. В пакете больше ничего не нашлось. Иван Петрович читает:

Прощайте, прощайте, Евгений Николаич! награди вас господь и за это. Будьте счастливы, а мне доля лютая; страшно! Ваша воля была. Если бы не тетушка, я бы вам вверилась так. Не смейтесь же ни надо мной, ни над тетушкой. Завтра венчают нас. Тетушка рада, что нашелся добрый человек и берет без приданого. Я в первый раз пристально на него поглядела сегодня. Он, кажется, добрый такой. Меня торопят. Прощайте, прощайте... голубчик мой!! Помяните обо мне когда-нибудь; я же вас никогда не забуду. Прощайте. Подпишу и это последнее, как первое мое... помните?

Татьяна.

Во втором письме было следующее.

Иван Петрович! Завтра вы получите калоши новые; я ничего не привык таскать из чужих карманов; также не люблю собирать по улицам лоскутки всякой всячины.

Евгений Николаич на днях уезжает в Симбирск, по делам своего деда, и просил меня похлопотать о попутчике; не хотите ли?

ГОСПОДИН ПРОХАРЧИН

Рассказ

В квартире Устиньи Федоровны, в уголке самом темном и скромном, помещался Семен Иванович Прохарчин, человек уже пожилой, благомыслящий и непьющий. Так как господин Прохарчин, при мелком чине своем, получал жалованья в совершенную меру своих служебных способностей, то Устинья Федоровна никаким образом не могла иметь с него более пяти рублей за квартиру помесечно. Говорили иные, что у ней был тут свой особый расчет; но как бы там ни было, а господин Прохарчин, словно в отместку всем своим злоязычникам, попал даже в ее фавориты, разумея это достоинство в значении благородном и честном. Нужно заметить, что Устинья Федоровна, весьма почтенная и дородная женщина, имевшая особенную склонность к скоромной пище и кофею и через силу перемагавшая посты, держала у себя несколько птук таких постояльцев, которые платили даже и вавое дороже Семена Ивановича, но, не быв смиренными и будучи, напротив того, все до единого «злыми надсмешниками» над ее бабьим делом и сиротскою незащищенностью, сильно проигрывали в добром ее мнении, так что не плати они только денег за свои помещения, так она не только жить пустить, но и видеть-то не захотела бы их у себя на квартире. В фавориты же Семен Иванович попал с того самого времени, как свезли на Волково увлеченного пристрастием к крепким напиткам отставного, или, может быть, гораздо лучше будет сказать, одного исключенного человека. Увлеченный и исключенный хотя и ходил с подбитым, по словам его, за храбрость глазом и имел одну ногу, там как-то тоже из-за храбрости сломанную, — но тем не менее умел снискать и воспользоваться всем тем благорасположением, к которому только способна была Устинья Федоровна, и, вероятно, долго бы прожил еще в качестве самого верного ее приспешника и приживальщика, если б не опился, наконец, самым глубоким, плачевнейшим образом. Случилось же это все еще на Песках, когда Устинья Федоровна держала всего только трех постояльцев, из которых, при переезде на новую квартиру, где образовалось заведение на более об-

ширную ногу и пригласилось около десятка новых жильцов, уцелел всего только один господин Прохарчин.

Сам ли господин Прохарчин имел свои неотъемлемые недостатки, товарищи ль его обладали таковыми же каждый, — но дела с обеих сторон пошли с самого начала как будто неладно. Заметим здесь, что все до единого из новых жильцов Устиньи Федоровны жили между собою словно братья родные; некоторые из них вместе служили; все вообще поочередно каждое первое число проигрывали друг другу свои жалованья в банчишку, в преферанс и на биксе; любили под веселый час все вместе гурьбой насладиться, как говорилось у них, шипучими мгновениями жизни; любили иногда тоже поговорить о высоком, и хотя в последнем случае дело редко обходилось без спора, но так как предрассудки были из всей этой компании изгнаны, то взаимное согласие в таких случаях не нарушалось нисколько. Из жильцов особенно замечательны были: Марк Иванович, умный и начитанный человек; потом еще Оплеваниев-жилец; потом еще Преполовенко-жилец, тоже скромный и хороший человек; потом еще был один Зиновий Прокофьевич, имевший непременно целью попасть в высшее общество; наконец, писарь Океанов, в свое время едва не отбивший пальму первенства и фаворитства у Семена Ивановича; потом еще другой писарь Судьбин; Кантарев-разночинец; были еще и другие. Но всем этим людям Семен Иванович был как будто не товарищ. Зла ему, конечно, никто не желал, тем более, что все еще в самом начале умели отдать Прохарчину справедливость и решили словами Марка Ивановича, что он, Прохарчин, человек хороший и смирный, хотя и не светский, верен, не льстец, имеет, конечно, свои недостатки, но если пострадает когда, то не от чего иного, как от недостатка собственного своего воображения. Мало того: хотя лишенный таким образом собственного своего воображения, господин Прохарчин фигурой своей и манерами не мог, например, никого поразить с особенно выгодной для себя точки зрения (к чему любят придрататься насмешники), но и фигура сошла ему с рук, как будто ни в чем не бывало, причем Марк Иванович, будучи умным человеком, принял формально защиту Семена Ивановича и объявил довольно удачно и в прекрасном, цветистом слоге, что Прохарчин человек пожилой и солидный и уже давным-давно оставил за собой свою пору элегий. Итак, если Семен Иванович не умел уживаться с людьми, то единственно потому, что был сам во всем виноват.

Первое, на что обратили внимание, было, без сомнения, скопидомство и скарденность Семена Ивановича. Это тотчас заметили и приняли в счет, ибо Семен Иванович никак ни за что и никому не мог одолжить своего чайника на подержание, хотя бы то было на самое малое время; и тем более был несправедлив в этом деле, что сам почти совсем не пил чаю, а пил, когда была надобность, какой-то довольно

приятный настой из полевых цветов и некоторых целебного свойства трав, всегда в значительном количестве у него запасенный. Впрочем, он и ел тоже совсем не таким образом, как обыкновенно едят всякие другие жильцы. Никогда, например, он не позволял себе съесть всего обеда, предлагаемого каждодневно Устиньей Федоровной его товарищам. Обед стоил полтину; Семен Иванович употреблял только двадцать пять копеек медью и никогда не восходил выше, и потому брал по порциям, или одни щи с пирогом, или одну говядину; чаще же всего не ел ни щей, ни говядины, а съедал в меру ситного с луком, с творогом, с огурцом рассольным или с другими приправами, что было несравненно дешевле, и только тогда, когда уже невмочь становилось, обращался опять к своей половине обеда...

Здесь биограф сознается, что он ни за что бы не решился говорить о таких нестоящих, низких и даже щекотливых, скажем более, даже обидных для иного любителя благородного слога подробностях, если б во всех этих подробностях не заключалась одна особенность, одна господствующая черта в характере героя сей повести; ибо господин Прохарчин далеко не был так скуден, как сам иногда уверял, чтоб даже харчей не иметь постоянных и сытных, но делал противное, не боясь стыда и людских пересудов, собственно для удовлетворения своих странных прихотей, из скопидомства и излишней осторожности, что, впрочем, гораздо яснее будет видно впоследствии. Но мы остережемся наскучить читателю описанием всех прихотей Семена Ивановича и не только пропускаем, например, любопытное и очень смешное для читателя описание всех нарядов его, но даже, если б только не показание самой Устиньи Федоровны, навряд ли упомянули бы мы и о том, что Семен Иванович во всю жизнь свою никак не мог решиться отдать свое белье в стирку, или решался, но так редко, что в промежутках можно было совершенно забыть о присутствии белья на Семене Ивановиче. В показании же хозяйкиным значилось, что «Семен-от Иванович, млад-голубчик, согрей его душеньку, гноил у ней угол два десятка лет, стыда не имея, ибо не только все время земного жития своего постоянно и с упорством чуждался носков, платков и других подобных предметов, но даже сама Устинья Федоровна собственными глазами видела, с помощью ветхости ширм, что ему, голубчику, нечем было подчас своего белого тельца прикрыть».

Такие толки пошли уже по кончине Семена Ивановича. Но при жизни своей (и здесь-то был один из главнейших пунктов раздора) он никаким образом не мог потерпеть, несмотря даже на самые приятные отношения товарищества, чтоб кто-нибудь не спросился совал свой любопытный нос к нему в угол, хотя бы то было даже и с помощью ветхости ширм. Человек был совсем несговорчивый, молчаливый и на праздную речь неподатливый. Советников не любил никаких, выскочек тоже не жаловал и всегда, бывало, тут же на месте

укорит насмешника или советника-выскочку, пристыдит его, и дело с концом. «Ты мальчишка, ты свистун, а не советник, вот как; знай, сударь, свой карман да лучше сосчитай, мальчишка, много ли ниток на твои онучки пошло, вот как!» Семен Иванович был простой человек и всем решительно говорил «ты». Тоже никак не мог он стерпеть, когда кто-нибудь, зная всегдашний норов его, начнет, бывало, из одного баловства приставать и расспрашивать, что у него лежит в сундучке... У Семена Ивановича был один сундучок. Сундук этот стоял у него под кроватью и оберегаем был как зеница ока; и хотя все знали, что в нем, кроме старых тряпиц, двух или трех пар изъяснившихся сапогов и вообще всякого случившегося хламу и дрязгу, ровно не было ничего, но господин Прохарчин ценил это движимое свое весьма высоко, и даже слышали раз, как он, не довольствуясь своим старым, но довольно крепким замком, поговаривал завести другой, какой-то особенный, немецкой работы, с разными затеями и с потайною пружиною. Когда же один раз Зиновий Прокофьевич, увлеченный своим молодоемством, обнаружил весьма неприличную и грубую мысль, что Семен Иванович, вероятно, таит и откладывает в свой сундук, чтоб оставить потомкам, то все, кто тут ни были около, принуждены были в столбняк стать от необыкновенных последствий выходки Зиновья Прокофьевича.

Во-первых, господин Прохарчин на такую обнаженную и грубую мысль даже выражений приличных не мог сразу найти. Долгое время из уст его сыпались слова без всякого смысла, и, наконец, только разобрали, что Семен Иванович, во-первых, корит Зиновья Прокофьяча одним его давно прошедшим скаредным делом; потом распознали, будто Семен Иванович предсказывает, что Зиновий Прокофьяч ни за что не попадет в высшее общество, а что вот портной, которому он должен за платье, его прибьет, непременно прибьет за то, что долго мальчишка не платит, и что, «наконец, ты, мальчишка, — прибавил Семен Иванович, — вишь, там хочешь в гусарские юнкера перейти, так вот не перейдешь, гриб съешь, а что вот тебя, мальчишку, как начальство узнает про все, возьмут да в писаря отдадут; вот, мол, как, слышь ты, мальчишка!». Потом Семен Иванович успокоился, но, полежавав часов пять, к величайшему и всеобщему изумлению, как будто надумался и вдруг опять, сначала один, а потом обращаясь к Зиновью Прокофьячу, начал его вновь укорять и стыдить. Но тем дело опять не кончилось, и повечеру, когда Марк Иванович и Преполовенкожилец затеяли чай, пригласив к себе в товарищи писаря Океанова, Семен Иванович слез с постели своей, нарочно подсел к ним, дав свои двадцать или пятнадцать копеек, и под видом того, что захотел вдруг пить чаю, начал весьма пространно входить в материю и изъяснять, что бедный человек всего только бедный человек, а более ничего, а что, бедному человеку, ему копить не из чего. Тут господин Прохарчин даже признался, единственно потому, что вот теперь оно

к слову пришлось, что он бедный человек; еще третьего дня у него, дерзкого человека, занять хотел денег рубль, а что теперь не займет, чтоб не хвалился мальчишка, что вот, мол, как, а жалованье у меня-де такое, что и корму не купишь; и что, наконец, он, бедный человек, вот такой, как вы его видите, сам каждый месяц своей золовке по пяти рублей в Тверь отсылает, и что не отсылай он в Тверь золовке по пяти рублей в месяц, так умерла бы золовка, а если б умерла бы золовканахлебница, то Семен Иванович давно бы себе новую одежду состроил... И так долго и пространно говорил Семен Иванович о бедном человеке, о рублях и золовке, и повторял одно и то же для сильнейшего внушения слушателям, что, наконец, сбился совсем, замолчал и только три дня спустя, когда уже никто и не думал его задирать и все об нем позабыли, прибавил в заключение что-то вроде того, что когда Зиновий Прокофьич вступит в гусары, так отрубят ему, дерзкому человеку, ногу в войне и наденут ему, вместо ноги, деревяшку, и придет Зиновий Прокофьич и скажет: «дай, добрый человек, Семен Иванович, хлеба!», так не даст Семен Иванович хлеба и не посмотрит на буйного человека Зиновия Прокофьевича, и что вот, дескать, как мол; поди-ка ты с ним.

Все это, как и следовало тому быть, показалось весьма любопытным и вместе с тем страх как забавным. Долго не думая, все хозяйкины жильцы соединились для дальнейших исследований и, собственно из одного любопытства, решились наступить на Семена Ивановича гурьбою и окончательно. И так как господин Прохарчин в свое последнее время, то есть с самых тех пор, как стал жить в компании, тоже чрезвычайно как полюбил обо всем узнавать, расспрашивать и любопытствовать, что, вероятно, делал для каких-то собственных тайных причин, то сношения обеих враждебных сторон начинались без всяких предварительных приготовлений и без тщетных усилий, но как будто случаем и сами собою. Для начатия сношений у Семена Ивановича был всегда в запасе свой особый, довольно хитрый, а весьма, впрочем, замысловатый маневр, частью уже известный читателю: слезет, бывало, с постели своей около того времени, как надо пить чай, и если увидит, что собрались другие где-нибудь в кучку для составления напитка, подойдет к ним как скромный, умный и ласковый человек, даст свои законные двадцать копеек и объявит, что желает участвовать. Тут молодежь перемигивалась и, таким образом согласясь меж собой на Семена Ивановича, начинала разговор сначала приличный и чинный. Потом какой-нибудь повострее пускался, как будто ни в чем не бывало, рассказывать про разные новости, и чаще всего о материях живых и совершенно неправдоподобных.

То, например, что будто бы слышал кто-то сегодня, как его превосходительство сказали самому Демиду Васильевичу, что, по их мнению, женатые чиновники «выйдут» посolidнее неженатых и к повышению

чином удобнее, ибо смиренные и в браке значительно более приобретают способностей; и что потому он, то есть рассказчик, чтоб удобнее отличиться и приобрести, стремится как можно скорее сочетаться браком с какой-нибудь Февроньей Прокофьевной. То, например, что будто бы неоднократно замечено про разных иных из их братьев, что лишены они всякой светскости и хороших, приятных манер, а следовательно, и не могут нравиться в обществе дамам, и что потому, для искоренения сего злоупотребления, последует немедленно вычет у получающих жалованье, и на складочную сумму устроится такой зал, где будут учить танцевать, приобретать все признаки благородства и хорошее обращение, вежливость, почтение к старшим, сильный характер, доброе, признательное сердце и разные приятные манеры. То, наконец, говорили, что будто бы выходит такое, что некоторые чиновники, начиная с самых древнейших, должны для того, чтоб немедленно сделаться образованными, какой-то экзамен по всем предметам держать и что, таким образом, прибавлял рассказчик, многое выйдет на чистую воду, и некоторым господам придется положить свои карты на стол, — одним словом, рассказывались тысяча таких или тому подобных пренелепейших толков. Для вида все тотчас верили, принимали участие, расспрашивали, на себя смекали, а некоторые, приняв грустный вид, начинали покачивать головами и советов повсюду искать, как будто в том смысле, что, дескать, что же им будет делать, если их постигнет? Само собой разумеется, что и тот человек, который был бы гораздо менее добродушен и смирен, чем господин Прохарчин, смешался и запутался бы от такого всеобщего толка. Кроме того, по всем признакам можно совершенно безошибочно заключить, что Семен Иванович был чрезвычайно туп и тут на всякую новую, для его разума непривычную мысль и что, получив, например, какую-нибудь новость, всегда принужден был сначала ее как будто переваривать и пережевывать, толку искать, сбиваться и путаться и, наконец, разве одолевая ее, но и тут каким-то совершенно особенным, ему только одному свойственным образом...

Открылись, таким образом, в Семене Ивановиче вдруг разные любопытные и доселе не подозреваемые свойства... Пошли пересуды и говор, и все это как было и с прибавлениями дошло, наконец, своим путем в канцелярию. Способствовало эффекту и то, что господин Прохарчин вдруг, ни с того ни с сего, быв с незапамятных времен почти все в одном и том же лице, переменил физиономию: лицо стал иметь беспокойное, взгляды пугливые, робкие и немного подозрительные; стал чутко ходить, вздрагивать и прислушиваться и, к довершению всех новых качеств своих, страх как полюбил отыскивать истину. Любовь к истине довел он, наконец, до того, что рискнул раза два справиться о вероятности ежедневно десятками получаемых им новостей даже у самого Демида Васильевича, и если мы здесь умалчи-

ваем о последствиях этой выходки Семена Ивановича, то не от чего иного, как от сердечного сострадания к его репутации. Таким образом, нашли, что он мизантроп и пренебрегает приличиями общества. Нашли потом, что много в нем фантастического, и тут тоже совсем не ошиблись, ибо неоднократно замечено было, что Семен Иванович иногда совсем забывается и, сидя на месте с разинутым ртом и с поднятым в воздух пером, как будто застывший или окаменевший, походит более на тень разумного существа, чем на то же разумное существо. Случалось нередко, что какой-нибудь невинно зазевавшийся господин, вдруг встречая его беглый, мутный и чего-то ищущий взгляд, приходил в трепет, робел и немедленно ставил на нужной бумаге или жиде, или какое-нибудь совершенно ненужное слово. Неблагопристойность поведения Семена Ивановича смущала и оскорбляла истинно благородных людей... Наконец, никто уже более не стал сомневаться в фантастическом направлении головы Семена Ивановича, когда в одно прекрасное утро пронесся по всей канцелярии слух, что господин Прохарчин испугал даже самого Демида Васильевича, ибо, встретив его в коридоре, был так чуден и странен, что принудил его отступить... Проступок Семена Ивановича дошел, наконец, и до него самого. Услышав о нем, он немедленно встал, бережно прошел между столами и стульями, достиг передней, собственноручно снял шинель, надел, вышел — и исчез на неопределенное время. Оробел ли он, влекло ль его что другое — не знаем, но ни дома, ни в канцелярии на время его не нашлось...

Мы не будем объяснять судьбы Семена Ивановича прямо фантастическим его направлением; но, однако ж, не можем не заметить читателю, что герой наш — человек несветский, совсем смирный и жил до того самого времени, как попал в компанью, в глухом, непроницаемом уединении, отличался тихостью и даже как будто таинственностью, ибо все время последнего житъя своего на Песках лежал на кровати за ширмами, молчал и сношений не держал никаких. Оба старые его сожителя жили совершенно так же, как он: оба были тоже как будто таинственны и тоже пятнадцать лет пролежали за ширмами. В патриархальном затишье тянулись один за другим счастливые, дремотные дни и часы, и так как все вокруг тоже шло своим добрым чередом и порядком, то ни Семен Иванович, ни Устинья Федоровна уж и не помнили даже хорошенько, когда их и судьба-то свела. «А не то десять лет, не то уж пятнадцать, не то уж и все те же двадцать пять, — говорила она подчас своим новым жильцам, — как он, голубчик, у меня основался, согрей его душеньку». И потому весьма естественно, что пренеприятно был изумлен непривычный к компании герой нашей повести, когда, ровно год тому назад, очутился он, солидный и скромный, вдруг посреди шумливой и беспокойной ватаги целого десятка молодых ребят, своих новых сожителей и товарищей.

Исчезновение Семена Ивановича наделало немалой суматохи в утлах. Одно то, что он был фаворит; во-вторых же, паспорт его, бывший под сохранением хозяйки, оказался на ту пору ненароком затерянным. Устинья Федоровна взывала, к чему прибегала во всех критических случаях; ровно два дня корила, поносила жильцов; причитала, что загоняли у ней жильца, как цыпленка, и что сгубили его «все те же злые надсмешники», а на третий выгнала всех искать и добыть беглеца во что бы ни стало, живого иль мертвого. Повечеру пришел первый писарь Судьбин и объявил, что след отыскался, что видел он беглеца на Толкучем и по другим местам, ходил за ним, близко стоял, но говорить не посмел, а был неподалеку от него и на пожаре, когда загорелся дом в Кривом переулке. Полчаса спустя явились Океанов и Кантарев-разночинец, подтвердили Судьбина слово в слово: тоже недалеко стояли, близко, всего только в десяти шагах от него ходили, но говорить опять не посмели, а заметили оба, что ходил Семен Иванович с попрошайкой-пьянчужкой. Собрались, наконец, и остальные жильцы и, внимательно выслушав, решили, что Прохарчин должен быть теперь недалеко и не замедлит прийти, но что они и прежде все знали, что ходит он с попрошайкой-пьянчужкой. Попрошайка-пьянчужка был человек совсем скверный, буйный и лстивый, и по всему было видно, что он как-нибудь там обольстил Семена Ивановича. Явился он ровно за неделю до исчезновения Семена Ивановича, вместе с Ремневым-товарищем, приживал малое время в утлах, рассказал, что страдает за правду, что прежде служил по уездам, что наехал на них ревизор, что пошатнули как-то за правду его и компанию, что явился он в Петербург и пал в ножки к Порфирию Григорьевичу, что поместили его, по ходатайству, в одну канцелярию, но что, по жесточайшему гонению судьбы, упразднили его и отсюда, затем что уничтожилась сама канцелярия, получив изменение; а в преобразовавшийся новый штат чиновников его не приняли, сколько по прямой неспособности к служебному делу, столько и по причине способности к одному другому, совершенно постороннему делу, — вместе же со всем этим за любовь к правде и, наконец, по козням врагов.

Кончив историю, в продолжение которой господин Зимовейкин неоднократно лобызал своего сурового и небритого друга Ремнева, он поочередно поклонился всем бывшим в комнате в ножки, не забыв и Авдотью-работницу, назвал их всех благодетелями и объяснил, что он человек недостойный, назойливый, подлый, буйный и глупый, а чтоб не взыскали добрые люди на его горемычной доле и простоте. Испросив покровительства, господин Зимовейкин оказался весельчаком, стал очень рад, целовал у Устиньи Федоровны ручки, несмотря на скромные уверения ее, что рука у ней подлая, не дворянская, а к вечеру обещал всему обществу показать свой талант в одном замечательном характерном танце. Но назавтра же дело его окончилось

плачевной развязкой. Иль оттого, что характерный танец оказался уж слишком характерным, иль оттого, что он Устиною Федоровну, по словам ее, как-то «опозорил и опростоволосил, а ей к тому же сам Ярослав Ильич знаком, и если б захотела она, то давно бы сама была обер-офицерской женой», — только Зимовейкину пришлось уплыть восвояси. Он ушел, опять воротился, был опять с бесчестьем изгнан, втерся потом во внимание и милость Семена Ивановича, лишил его мимоходом новых рейтуз и, наконец, явился теперь опять в качестве обольстителя Семена Ивановича.

Лишь только хозяйка узнала, что Семен Иванович был жив и здоров и что паспорта искать теперь нечего, то немедленно оставила горевать и пошла успокоиться. Тем временем кое-кто из жильцов решились сделать торжественный прием беглецу: испортили задвижку и отодвинули ширмы от кровати пропавшего, немножко поизмяли постель, взяли известный сундук, поместили его на кровати в ногах, а на кровать положили золовку, то есть куклу, форму, сделанную из старого хозяйкина платка, чепца и салопа, но только совершенно наподобие золовки, так что можно было совсем обмануться. Кончив работу, стали ждать, с тем чтоб, по прибытии Семена Ивановича, объявить ему, что пришла из уезда золовка и поместилась у него за ширмами, бедная. Но ждали-ждали, ждали-ждали... Уже, в ожидании, Марк Иванович прометал и проставил полмесячное жалованье Преполовенке и Кантареву — жильцам; уже весь нос покраснел и вспух у Океанова за игрой в носки и в три листика; уже Авдотья-работница почти совсем выпалась и два раза собиралась вставать дрова таскать, печку топить, и весь до нитки промок Зиновий Прокофьевич, поминутно выбегая во двор наведываться о Семене Ивановиче; но не явилось еще никого — ни Семена Ивановича, ни попрошайки-пьянчужки. Наконец все спать полегли, оставив на всякий случай золовку за ширмами; и только в четыре часа раздался стук у ворот, но зато такой сильный, что совершенно вознаградил ожидавших за все тяжкие труды, ими понесенные.

Это был он, он самый, Семен Иванович, господин Прохарчин, но только в таком положении, что все ахнули, и никому и в мысль не пришло о золовке. Пропавший явился без памяти. Его ввели, или, лучше сказать, внес его на плечах весь измокший и издрогший, оборванный ночной ванька-извозчик. На вопрос хозяйки, где же он так, горемычный, наклюкался, ванька отвечал: «да не пьян, и маковой не было; это уж тебя заверяю, а верно, так омрак нашел, или столбняком, как там ни есть, прихватило, или, може, кондрашка¹ пришиб». Стали рассматривать, для удобства прислонив виноватого к печке, и увидели, что действительно хмелю тут не было, да и кондрашка не трогал, а был другой какой ни есть грех, затем что Семен Иванович и языком

¹ Удар. (Прим. автора.)

не ворочал, а как будто судорогой его какой дергало, и только хлопал глазами, в недоумении устанавливая то на того, то на другого ночным образом костюмированного зрителя. Стали потом спрашивать ваньку, отколева взял? «Да от каких-то, — отвечал он, — из Коломны, шут их знает, господа не господа, а гулявшие, веселые господа; так-таки вот такого и сдали; подрались они, что ли, или судорогой какой его передернуло, бог знает какого тут было; а господа веселые, хорошие!» Взяли Семена Ивановича, приподняли на пару-другую дюжих плеч и снесли на кровать. Когда же Семен Иванович, помещаясь на постель, ощупал собою золовку и упер ноги в свой заветный сундук, то вскрикнул благим матом, уселся почти на корячки и, весь дрожа и трепеща, загреб и заместил сколько мог руками и телом пространства на своей кровати, тогда как трепещущим, но странно-решительным взором окидывая присутствующих, казалось, изъяснял, что скорее умрет, чем уступит кому-нибудь хоть сотую капельку из бедной своей благодости...

Семен Иванович пролежал дня два или три, плотно обставленный ширмами и отделенный таким образом от всего божьего света и всех напрасных его тревожений. Как следует, назавтра же все о нем позабыли; время летело меж тем своим чередом, часы сменялись часами, день другим. Полусон, полубред налегли на отяжелевшую, горячую голову больного; но он лежал смирно, не стонал и не жаловался; напротив, притих, молчал и крепился, приплюснув себя к постели своей, словно как заяц припадает от страха к земле, заслышав охоту. Порой наставала в квартире долгая, тоскливая тишина, — знак, что все жильцы удалялись по должности, и просыпавшийся Семен Иванович мог сколько угодно развлекать тоску свою, прислушиваясь к близкому шороху в кухне, где хлопотала хозяйка, или к мерному отшлепыванию стоптанных башмаков Авдотьи-работницы по всем комнатам, когда она, охая и кряхтя, прибирала, притирала и приглаживала во всех углах для порядка. Целые часы проходили таким образом, дремотные, ленивые, сонливые, скучные, словно вода, стекавшая звучно и мерно в кухне с залавка в лохань. Наконец приходили жильцы, поочередно или кучками, и Семен Иванович очень удобно мог слышать, как они бранили погоду, хотели есть, как шумели, курили, бранились, дружились, играли в карты и стучали чашками, собираясь пить чай. Семен Иванович машинально делал усилие привстать и присоединиться законным образом для составления напитка, но тут же впадал в усыпление и грезил, что уже давно сидит за чайным столом, участвует и беседует, и что Зиновий Прокофьевич успел уже, пользуясь случаем, вклинить в разговор какой-то проект о золовках и о нравственном отношении к ним различных хороших людей. Тут Семен Иванович поспешил было оправдаться и возразить, но разом слетевшая со всех языков могуче-форменная фраза «неоднократно замечено» оконча-

тельно осекла все его возражения, и Семен Иванович ничего не мог придумать лучшего, как начать снова грезить о том, что сегодня первое число и что он получает целковики в своей канцелярии.

Развернув бумажку на лестнице, он быстро оглянулся кругом и поспешил как можно скорее отделить целую половину из законного возмездия, им полученного, и припрятать эту половину в сапог, потом, тут же на лестнице и вовсе не обращая внимания на то, что действует на своей постели, во сне, решил, пришед домой, немедленно воздать что следует за харчи и постой хозяйке своей, потом закупить кой-чего необходимого и показать кому следует, как будто без намерения и нечаянно, что подвергся вычету, что остается ему и всего ничего и что вот и золовке-то послать теперь нечего, причем погоревать тут же о золовке, много говорить о ней завтра и послезавтра, и дней через десять еще повторить мимоходом об ее нищете, чтоб не забыли товарищи. Решив таким образом, он увидел, что и Андрей Ефимович, тот самый маленький, вечно молчаливый лысый человек, который помещался в канцелярии за целые три комнаты от места сиденья Семена Ивановича и в двадцать лет не сказал с ним ни слова, стоит тут же на лестнице, тоже считает свои рубли серебром и, тряхнув головою, говорит ему: «Денежки-с! Их не будет, и каши не будет-с, — сурово прибавляет он, сходя с лестницы, и уже на крыльце заключает: — А у меня, сударь, семеро-с». Тут лысый человек, тоже, вероятно, нисколько не замечая, что действует как призрак, а вовсе не наяву и в действительности, показал ровно аршин с вершком от полу и, махнув рукой в нисходящей линии, пробормотал, что старший ходит в гимназию; затем, с негодованием взглянув на Семена Ивановича, как будто бы именно господин Прохарчин виноват был в том, что у него целых семеро, нахлобучил на глаза свою шляпенку, тряхнул шинелью, поворотил налево и скрылся. Семен Иванович весьма испугался, и хотя был совершенно уверен в невинности своей насчет неприятного стечения числа семерых под одну кровлю, но на деле как будто бы именно так выходило, что виноват не кто другой, как Семен Иванович.

Испугавшись, он принялся бежать, ибо показалось ему, что лысый господин воротился, догоняет его и хочет, обшарив, отнять все возмездие, опираясь на свое неотъемлемое число семерых и решительно отрицая всякое возможное отношение каких бы то ни было золовок к Семену Ивановичу. Господин Прохарчин бежал, бежал, задыхался... рядом с ним бежало тоже чрезвычайно много людей, и все они побрякивали своими возмездиями в задних карманах своих кургузых фрачишек; наконец весь народ побежал, загремели пожарные трубы, и целые волны народа вынесли его почти на плечах на тот самый пожар, на котором он присутствовал в последний раз вместе с попрошайкой-пьянчужкой. Пьянчужка, — иначе господин Зимовейкин, —

находился уже там, встретил Семена Ивановича, страшно захопотал, взял его за руку и повел в самую густую толпу. Так же, как и тогда наяву, кругом них гремела и гудела необозримая толпа народа, запрудив меж двумя мостами всю набережную Фонтанки, все окрестные улицы и переулки; так же, как и тогда, вынесло Семена Ивановича вместе с пьянчужкой за какой-то забор, где притиснули их, как в клещах, на огромном дровяном дворе, полном зрителями, собравшимися с улиц, с Толкучего рынка и из всех окрестных домов, трактиров и кабаков. Семен Иванович видел все так же и по-тогдашнему чувствовал; в вихре горячки и бреда начали мелькать перед ним разные странные лица. Он припомнил из них кой-кого.

Один был тот самый, чрезвычайно внушавший всем господин, в сажень ростом и с аршинными усищами, помещавшийся во время пожара за спиной Семена Ивановича и задававший сзади ему поощрения, когда наш герой, с своей стороны, почувствовав нечто вроде восторга, затопал ножонками, как будто желая таким образом аплодировать молодецкой пожарной работе, которую совершенно видел с своего возвышения. Другой — тот самый дюжий парень, от которого герой наш приобрел тумака в виде подсадки на другой забор, когда было совсем расположился лезть через него, может быть, кого-то спасать. Мелькнула перед ним и фигура того старика с геморроидальным лицом, в ветхом, чем-то подпоясанном, ватном халатишке, отлучившегося было еще до пожара в лавочку за сухарями и табаком своему жильцу и пробивавшегося теперь, с молочником и с четверкой в руках, сквозь толпу, до дома, где горели у него жена, дочка и тридцать с полтиною денег в углу под периной. Но всего внятнее явилась ему та бедная, грешная баба, о которой он уже не раз грезил во время болезни своей, — представилась так, как была тогда — в лаптишках, с костылем, с плетеной котомкой за спиною и в рубище. Она кричала громче пожарных и народа, размахивая костылем и руками, о том, что выгнали ее откуда-то дети родные и что пропали при сем случае тоже два пятака. Дети и пятаки, пятаки и дети вертелись на ее языке в непонятной, глубокой бессмыслице, от которой все отступились, после тщетных усилий понять; но баба не унималась, все кричала, выла, размахивала руками, не обращая, казалось, никакого внимания ни на пожар, на который занесло ее народом с улицы, ни на весь люд людской, около нее бывший, ни на чужое несчастье, ни даже на головешки и искры, которые уже начали было пудрить весь около стоявший народ. Наконец, господин Прохарчин почувствовал, что на него начинает нападать ужас, ибо видел ясно, что все это как будто неспроста теперь делается и что даром ему не пройдет.

И действительно, тут же недалеко от него взмохнулся на дрова какой-то мужик, в разорванном, ничем не подпоясанном армяке, с опаленными волосами и бородой, и начал подымать весь божий народ на

Семена Ивановича. Толпа густела-густела, мужик кричал, и, цепenea от ужаса, господин Прохарчин вдруг припомнил, что мужик — тот самый извозчик, которого он ровно пять лет назад надул бесчеловечнейшим образом, скользнув от него до расплаты в сквозные ворота и подбирая под себя на бегу свои пятки так, как будто бы бежал босиком по раскаленной плите. Отчаянный господин Прохарчин хотел говорить, кричать, но голос его замирал. Он чувствовал, как вся разъяренная толпа обвиняет его подобно пестрому змею, давит, душит. Он сделал невероятное усилие и — проснулся. Тут он увидел, что горит, что горит весь его угол, горят его ширмы, вся квартира горит, вместе с Устиньей Федоровной и со всеми ее постояльцами, что горит его кровать, подушка, одеяло, сундук и, наконец, его драгоценный тюфяк. Семен Иванович вскочил, вцепился в тюфяк и побежал, волоча его за собою. Но в хозяйкиной комнате, куда было забежал наш герой так, как был, без приличия, босой и в рубашке, его перехватили, скрутили и победно снесли обратно за ширмы, которые, между прочим, совсем не горели, а горела скорее голова Семена Ивановича, и уложили в постель. Подобно тому укладывает в свой походный ящик оборванный, небритый и суровый артист-шарманщик своего пальчинеля¹, набуянившего, переколотившего всех, продавшего душу черту и, наконец, оканчивающего существование свое до нового представления в одном сундуке вместе с тем же чертом, с арапами, с Петрушкой, с мамзель Катериной и счастливым любовником ее, капитаном-исправником.

Немедленно все обступили Семена Ивановича, старый и малый, поместившись рядом вокруг его кровати и устремив на больного полные ожидания лица. Между тем он очнулся, но от совести ль, или иного чего, начал вдруг изо всех сил натягивать на себя одеяло, желая, вероятно, укрыться под ним от внимания сочувственников. Наконец Марк Иванович первый прервал молчание и, как умный человек, начал весьма ласково говорить, что Семену Ивановичу нужно совсем успокоиться, что болеть скверно и стыдно, что так делают только дети маленькие, что нужно выздоравливать, а потом и служить. Окончил Марк Иванович шуточкой, сказав, что больным не означен еще вполне оклад жалованья, и так как он твердо знает, что и чины идут весьма небольшие, то, по его разумению, по крайней мере такое звание или состояние не приносит больших, существенных выгод. Одним словом, видно было, что все принимали действительное участие в судьбе Семена Ивановича и весьма сардобольничали. Но он с непонятною грубостью продолжал лежать на кровати, молчать и упорно все более и более натягивать на себя одеяло. Марк Иванович, однако, не признал себя побежденным и, скрепив сердце, сказал опять что-то очень сладенькое Семену Ивановичу, зная, что так и должно поступать с больным человеком; но Семен Иванович не хотел и почувствовать;

¹ П у л ь ч и н е л ь (*итал.* pulcinella) — полишинель, паяц, клоун.

напротив, промычал что-то сквозь зубы с самым недоверчивым видом и вдруг начал совершенно неприязненным образом косить исподлобья направо и налево глазами, казалось, желая взглядом своим обратить в прах всех сочувственников. Тут уж нечего было останавливаться: Марк Иванович не вытерпел и, видя, что человек просто дал себе слово упорствовать, оскорбясь и рассердившись совсем, объявил напрямки и уже без сладких околичностей, что пора вставать, что лежать на двух боках нечего, что кричать днем и ночью о пожарах, золовках, пьянчужках, замках, сундуках и черт знает об чем еще — глупо, неприлично и оскорбительно для человека, ибо если Семен Иванович спать не желает, так чтобы другим не мешал и чтоб он, наконец, это все изволил намотать себе на ус.

Речь произвела свое действие, ибо Семен Иванович, немедленно обернувшись к оратору, с твердостью объявил, хотя еще слабым и хриплым голосом, что «ты, мальчишка, молчи! празднословный ты человек, сквернослов ты! слышь, каблук! князь ты, а? понимаешь штуку?». Услышав такое, Марк Иванович вспылал, но, заметив, что действует с больным человеком, великодушно перестал обижаться, а, напротив, попробовал его пристыдить, но осекся и тут; ибо Семен Иванович сразу заметил, что шутить с собой не позволит, даром что Марк Иванович стихи сочинил. Последовало двухминутное молчание; наконец, опомнившись от своего изумления, Марк Иванович прямо, ясно, весьма красноречиво, хотя не без твердости, объявил, что Семен Иванович должен знать, что он меж благородных людей и что, «милостивый государь, должны понимать, как поступают с благородным лицом». Марк Иванович умел при случае красноречиво сказать и любил внушить своим слушателям. С своей стороны, Семен Иванович говорил и поступал, вероятно от долгой привычки молчать, более в отрывистом роде, и кроме того, когда, например, случалось ему вести долгую фразу, то, по мере углубления в нее, каждое слово, казалось, рождало еще по другому слову, другое слово, тотчас при рождении, по третьему, третье по четвертому и т.д., так что набивался полон рот, начиналась перхота, и набивные слова принимались, наконец, вылетать в самом живописном беспорядке. Вот почему Семен Иванович, будучи умным человеком, говорил иногда страшный вздор. «Врешь ты, — отвечал он теперь, — детина, гулявый ты парень! а вот как наденешь суму — побираться пойдешь; ты ж вольнодумец, ты ж потаскун; вот оно тебе, стихотворец!»

— Да вы это все еще бредите, что ли, Семен Иванович?

— А, слышь, — отвечал Семен Иванович, — бредит дурак, пьянчужка бредит, пес бредит, а мудрый благоразумному служит. Ты, слышь, дела ты не знаешь, потаскливый ты человек, ученый ты, книга ты писаная! А вот возьмешь, сгоришь, так не заметишь, как голова отторит, вот, слышал историю?!

— Да... то есть как же... то есть как же вы это говорите, Семен Иванович, что голова отторгит?..

Марк Иванович и не закончил, ибо все увидели ясно, что Семен Иванович еще не отрезвился и бредит; но хозяйка не вытерпела и тут же заметила, что дом в Кривом переулке ономнясь от лысой девки сгорел; что лысая девка там такая была; она свечку зажгла и чулан запалила, а у ней не случится, и что в углях будет цело.

— Да ведь, Семен Иванович! — закричал вне себя Зиновий Прокофьевич, перебивая хозяйку. — Семен Иванович, такой вы, сякой, прошедший вы, простой человек, шутки тут, что ли, с вами шутят теперь про вашу золовку или экзамены с танцами? так оно, что ли? Этак вы думаете?

— Ну, слышь ты теперь, — отвечал наш герой, приподымаясь с постели, собрав последние силы, и вконец озлясь на сочувственников, — шут кто? Ты шут, пес шут, шутовской человек, а шутки делать по твоему, сударь, приказу не буду; слышь, мальчишка, не твой, сударь, слуга!

Тут Семен Иванович хотел еще что-то сказать, но в бессилии упал на постель. Сочувственатели остались в недоумении, все разинули рты, ибо смекнули теперь, во что Семен Иванович ногой ступил, и не знали, с чего начать; вдруг дверь в кухне скрипнула, отворилась, и пьянчужка приятель, — иначе господин Зимовейкин, — робко просунул голову, осторожно обнюхивая, по своему обычаю, местность. Его точно ждали; все разом замахали ему, чтоб шел поскорее, и Зимовейкин, чрезвычайно обрадовавшись, не снимая шинели, поспешно и в полной готовности протолкался к постели Семена Ивановича.

Видно было, что Зимовейкин провел всю ночь в бдении и в каких-то важных трудах. Правая сторона его лица была чем-то заклеена; опухшие веки были влажны от гноившихся глаз; фрак и все платье было изорвано, причем вся левая сторона одеяния была как будто опрыскана чем-то крайне дурным, может быть, грязью из какой-нибудь лужи. Под мышкой у него была чья-то скрипка, которую он куда-то нес продавать. По-видимому, не ошиблись, призвав его на помощь, ибо тотчас, узнав, в чем вся сила, обратился он к накуротеле-сившему Семену Ивановичу и с видом такого человека, который имеет превосходство и, сверх того, знает штуку, сказал: «Что ты, Сенька? вставай! что ты, Сенька, Прохарчин-мудрец, благоразумно послужи! Не то стащу, если куражиться будешь; не куражься!» Такая краткая, но сильная речь удивила присутствующих; еще более все удивились, когда заметили, что Семен Иванович, услышав все это и увидав перед собою такое лицо, до того оторопел и пришел в смущение и робость, что едва-едва и только сквозь зубы, шепотом, решился пробормотать необходимое возражение: «Ты, несчастный, ступай, — сказал он, —

ты, несчастный, вор ты! слышь, понимаешь? туз ты, князь, тузовый ты человек!»

— Нет, брат, — протяжно отвечал Зимовейкин, сохраняя все присутствие духа, — нехорошо ты, брат-мудрец, Прохарчин, прохарчинский ты человек! — продолжал Зимовейкин, немного пародируя Семена Ивановича и с удовольствием озираясь кругом. — Ты не куражись! Смирись, Сеня, смирись, не то донесу, все, братец ты мой, расскажу, понимаешь?

Кажется, Семен Иванович все разобрал, ибо вздрогнул, когда выслушал заключение речи, и вдруг начал быстро и с совершенно потерянным видом озираясь кругом. Довольный эффектом, господин Зимовейкин хотел продолжать, но Марк Иванович тотчас же предупредил его рвение и, выждав время, пока Семен Иванович притих, присмирел и почти совсем успокоился, начал долго и благоразумно внушать беспокойному, что «питать подобные мысли, как у него теперь в голове, во-первых, бесполезно, во-вторых, не только бесполезно, но даже и вредно; наконец, не столько вредно, сколько даже совсем безнравственно; и причина тому та, что Семен Иванович всех в соблазн вводит и дурной пример подает». От такой речи все ожидали благоразумного следствия. К тому же Семен Иванович был теперь совсем тих и возражал умеренно. Начался скромный спор. Адресовались к нему братски, осведомляясь, чего он так заробел? Семен Иванович ответил, но иносказательно. Ему возразили; Семен Иванович возразил. Возразили еще по разу с обеих сторон, а потом уж вмешались все, и старый и малый, ибо речь началась вдруг о таком дивном и странном предмете, что решительно не знали, как это все выразить. Спор, наконец, дошел до нетерпения, нетерпение до криков, крики даже до слез, и Марк Иванович отошел, наконец, с пеной бешенства у рта, объявив, что не знал до сих пор такого гвоздя-человека. Оплевание плонул, Океанов перепугался, Зиновий Прокофьевич прослезился, а Устинья Федоровна завывала совсем, причитая, что «уходит жилец и рехнулся, что умрет он млад без паспорта, не скажется, а она сирота, и что ее затаскают». Одним словом, все, наконец, увидели ясно, что посев был хорош, что все, что ни вздумалось сеять, сторицею возшло, что почва была благодатная и что Семену Ивановичу удалось отработать в их компании свою голову на славу и на самый безвозвратный манер. Все замолчали, ибо если видели, что Семен Иванович от всего заробел, то на этот раз заробели и сами сочувствователи...

— Как! — закричал Марк Иванович. — Да чего ж вы боитесь-то? чего ж вы ряхнулись-то? Кто об вас думает, сударь вы мой? Имеете ли право бояться-то? Кто вы? что вы? Нуль, сударь, блин круглый, вот что! Что вы стучите-то? Бабу на улице придавило, так и вас переедет? пьяница какой-нибудь кармана не сберег, так и вам фалды отрежут? Дом сгорел, так и у вас голова отгорит, а? Так, что ли, сударь? Так ли, батюшка? так ли?

— Ты, ты, ты глуп! — бормотал Семен Иванович. — Нос отъедят, сам с хлебом съешь, не заметишь...

— Каблук, пусть каблук, — кричал Марк Иванович, не вслушавшись, — каблуковый я человек, пожалуй. Да ведь мне не экзамен держать, не жениться, не танцам учиться; подо мной, сударь, место не сломится. Что, батюшка? Так вам и места широкого нет? Пол там под вами провалится, что ли?

— А что? тебя, что ли, спросят? Закроют, и нет.

— Нет. Что закроют?! Что там еще у вас, а?

— А вот пьянчужку ссадили...

— Ссадили; да ведь то же пьянчужка, а вы да я человек!

— Ну, человек. А она стоит, да и нет...

— Нет! Да кто она-то?

— Да она, канцелярия... кан-це-ля-рия!!!

— Да, блаженный вы человек! да ведь она нужна, канцелярия-то...

— Она нужна, слышь ты; и сегодня нужна, завтра нужна, а вот после завтра как-нибудь там и не нужна. Вот, слышал историю...

— Да ведь вам жалованье ж дадут годовое! Фома, Фома вы такой, неверный вы человек! по старшинству в ином месте уважат...

— Жалованье? А я вот проел жалованье, воры придут, деньги возьмут; а у меня золовка, слышь ты? золовка! гвоздырь ты...

— Золовка! человек вы...

— Человек; а я человек, а ты, начитанный, глуп; слышь, гвоздырь, гвоздыревый ты человек, вот что! А я не по шуткам твоим говорю; а оно место такое есть, что возьмет да и уничтожится место. И Демид, слышь ты, Демид Васильевич говорит, что уничтожается место...

— Ах вы, Демид, Демид! греховодник, да ведь...

— Да, хлоп да и баста, и будешь без места; поди ты с ним, вот...

— Да вы, наконец, просто врете или ряхнулись совсем! Вы нам просто скажите; уж что? признайтесь, коль грех такой есть! стыдиться-то нечего! ряхнулся, батюшка, а?

— Ряхнулся! с ума сошел! — раздалось кругом, и все ломали руки с отчаяния, а Марка Ивановича уже обхватила в обе руки хозяйка, затем, чтоб он не растерзал как-нибудь Семена Ивановича. — Язычник ты, языческая ты душа, мудрец ты! — умолял Зимовейкин. — Сеня, необидчивый ты человек, миловидный, любезный! ты прост, ты добродетельный... слышал? Это от добродетели твоей происходит; а буйный и глупый-то я, побирушка-то я; а вот же добрый человек меня не оставил небось; честь, вишь, делают; вот им и хозяйке спасибо; видишь ты, вот и поклон земной правая, вот оно, вот; долг, долг исправляю, хозяйюшка! — Тут действительно Зимовейкин и даже с каким-то педантским достоинством исполнил кругом свой поклон до земли. После того Семен Иванович хотел было опять продолжать говорить, но в этот раз ему уже не дали; все вступились, стали его

умолять, заверять, утешать и достигли того, что Семен Иванович даже устыдился совсем и, наконец, слабым голосом попросил объясниться.

— Да вот; оно хорошо, — сказал он, — милостивый я, смиренный, слышь, и добродетелен, предан и верен; кровь, знаешь, каплю последнюю, слышь ты, мальчишка, туз... пусть оно стоит, место-то; да я ведь бедный; а вот как возьмут его, слышь ты, тузовый, — молчи теперь, понимай, — возьмут да и того... оно, брат, стоит, а потом и не стоит... понимаешь? а я, брат, и с сумочкой, слышь ты?

— Сенька! — завопил в исступлении Зимовейкин, покрывая в этот раз голосом весь поднявшийся шум. — Вольнодумец ты! Сейчас донесу! Что ты? кто ты? буян, что ли, бараний ты лоб? Буйному, глупому, слышь ты, без абшида¹ с места укажут; ты кто?!

— Да вот оно и того...

— Что того?! Да вот, поди ты с ним!..

— Что поди ты с ним?

— Да вот он вольный, я вольный; а как лежишь-лежишь, и того...

— Чего?

— Ан и вольнодумец...

— Воль-но-ду-мец! Сенька, ты вольнодумец!!

— Стой! — закричал господин Прохарчин, махнув рукою и прерывая начавшийся крик. — Я не того... Ты пойми, ты пойми только, баран ты: я смиренный, сегодня смиренный, завтра смиренный, а потом и несмиренный, сгрубил; пряжку тебе, и пошел вольнодумец!..

— Да что ж вы? — прогремел, наконец, Марк Иванович, вскочив со стула, на котором было сел отдохнуть, и, подбежав к кровати весь в волнении, в исступлении, весь дрожа от досады и бешенства. — Что ж вы? баран вы! ни кола, ни двора. Что вы, один, что ли, на свете? для вас свет, что ли, сделан? Наполеон вы, что ли, какой? что вы? кто вы? Наполеон вы, а? Наполеон или нет?! Говорите же, сударь, Наполеон или нет?..

Но господин Прохарчин уже и не отвечал на этот вопрос. Не то чтоб устыдился, что он Наполеон, или струсил взять на себя такую ответственность, — нет, он уж и не мог более ни спорить, ни дела говорить... Последовал болезненный кризис. Дробные слезы хлынули вдруг из его блистающих лихорадочным огнем серых глаз. Костявыми, исхудалыми от болезни руками закрыл он свою горячую голову, приподнялся на кровати и, всхлипывая, стал говорить, что он совсем бедный, что он такой несчастный, простой человек, что он глупый и темный, чтоб простили ему добрые люди, сберегли, защитили, накормили б, напоили его, в беде не оставили, и бог знает что еще причитал Семен Иванович. Причитая же, он с диким страхом глядел кругом, как будто ожидая, что вот-вот сейчас потолок упадет или пол провалится. Всем стало жалко, глядя на бедного, и у всех умягчились сердца.

¹ Абшид (нем. Abschied) — увольнение.

Хозяйка, рыдая, как баба, и причитая про свое сиротство, сама уложила больного в постель. Марк Иванович, видя бесполезность трогать Наполеонову память, тоже немедленно впал в добродушие и начал тоже оказывать помощь. Другие, чтоб что-нибудь в свою очередь сделать, предложили малинный настой, говоря, что он немедленно и от всего помогает и что будет очень приятен больному; но Зимовейкин тотчас же всех опровергнул, включив, что в таком деле нет лучше доброго приема какой-нибудь ромашки забористой. Что же касается до Зиновья Прокофьевича, то, имея доброе сердце, он рыдал и заливался слезами, раскаиваясь, что пугал Семена Ивановича разными небылицами, и, вникнув в последние слова больного, что он совсем бедный и чтоб его накормили, пустился соиздавать подписку, ограничиваясь ею покамест в углах. Все охали и ахали, всем было и жалко и горько, и все меж тем дивились, что вот как же это таким образом мог совсем заробеть человек? И из чего ж заробел? Добро бы был при месте большом, женой обладал, детей поразвел; добро б его там под суд какой ни есть притянули; а то ведь и человек совсем дрянь, с одним сундуком и с немецким замком, лежал с лишком двадцать лет за ширмами, молчал, свету и горя не знал, скопидомничал, и вдруг вздумалось теперь человеку, с пошлого, праздного слова какого-нибудь, совсем перевернуть себе голову, совсем заботиться о том, что на свете вдруг стало жить тяжело...

А и не рассудил человек, что и всем тяжело! «Прими он вот только это в расчет, — говорил потом Океанов, — что вот всем тяжело, так сберег бы человек свою голову, перестал бы куролесить и потянул бы свое кое-как, куда следует». Целый день только и толку было, что о Семене Ивановиче. Приходили к нему, справлялись о нем, утешали его; но к вечеру ему стало не до утешений. Открылся у бедного бред, жар; впал он в беспамятство, так что чуть было уж не хотели пуститься за доктором; жильцы все согласились и дали себе взаимное слово охранять и упокоивать Семена Ивановича поочередно всю ночь, и что случится, то всех будить разом. С этой целью, чтоб не заснуть, засели в картишки, приставив к больному пьянчужку-приятеля, который квартировал весь день в углах, у постели больного, и попросился заночевать. Так как игра велась на мелок и не представляла совсем интереса, то скоро соскучились. Игру бросили, потом о чем-то заспорили, потом начали шуметь и стучать, наконец разошлись по углам, долго еще в сердцах перекликались и переговаривались, и так как вдруг все стали сердиты, то уж не захотели дежурить и заснули. Скоро в углах стало тихо, как в пустом погребе, тем более, что был холод ужаснейший. Из последних заснувших был Океанов, «и не то, — как говорил он потом, — во сне, не то было оно наяву, но привиделось мне, что близ меня, этак перед самым утренним часом, разговаривали два человека».

Океанов рассказывал, что он узнал Зимовейкина и что Зимовейкин стал возле него будить старого друга Ремнева, что они долго шепотом говорили; потом Зимовейкин вышел, и слышно было, как он пытался отпереть в кухне дверь ключом. Ключ же, — уверяла потом хозяйка, — лежал у нее под подушками и пропал в эту ночь. Наконец, — показывал Океанов, — слышалось ему, как будто оба они пошли к больному за ширмы и засветили там свечку. Более, говорит, ничего не знаю, глаза завело; а проснулся потом вместе со всеми, когда все, кто ни были в углах, разом повскочили с постелей, затем что за ширмами раздавался такой крик, что встрепенулся бы мертвый, — и тут многим показалось, что вдруг там же свечка потухла. Поднялась суматоха; у всех сердце упало; бросились как ни попало на крик, но в это время за ширмами поднялась возня, крик, брань и драка. Вздупи огонь и увидели, что дерутся друг с другом Зимовейкин и Ремнев, что оба друг друга корят и ругают; а как осветили их, то один закричал: «Не я, а разбойник!», а другой, именно Зимовейкин, закричал: «Не трожь, неповинен; сейчас присягну!» На обоих образа не было человеческого; но в первую минуту не до них было дело: больного не оказалось на прежнем месте за ширмами. Тотчас же разлучили бойцов, оттащили их и увидели, что господин Прохарчин лежит под кроватью, должно быть, в совершенном беспамятстве, стащив на себя и одеяло и подушку, так что на кровати оставался один только голый, ветхий и масляный тюфяк (простыни же на нем никогда не бывало). Вытащили Семена Ивановича, протянули его на тюфяк, но сразу заметили, что много хлопотать было нечего, что капут совершенный; руки его костенеют, а сам еле держится. Стали над ним: он все еще помаленьку дрожал и трепетал всем телом, что-то силился сделать руками, языком не шевелил, но моргал глазами совершенно подобным образом, как, говорят, моргает вся еще теплая залитая кровью и живущая голова, только что отскочившая от палачова топора.

Наконец все стало тише и тише; замерли и предсмертный трепет и судороги; господин Прохарчин протянул ноги и отправился по своим добрым делам и грехам. Испугался ли Семен Иванович чего, сон ли ему приснился такой, как потом Ремнев уверял, или был другой какой грех — неизвестно; дело только в том, что хотя бы теперь сам экзекутор явился в квартире и лично за вольнодумство, буянство и пьянство объявил бы абшид Семену Ивановичу, если б даже теперь в другую дверь вошла какая ни есть попрошайка-салоппница, под титулом зловки Семена Ивановича, если б даже Семен Иванович тотчас получил двести рублей награждения, или дом, наконец, загорелся и начала гореть голова на Семене Ивановиче, он, может быть, и пальцем не удостоил бы пошевелить теперь при подобных известиях. Покамест сошел первый столбняк, покамест присутствующие обрели дар слова и бросились в суматоху, предположения, сомнения и крики, покамест

Устинья Федоровна тащила из-под кровати сундук, обшаривала впопыхах под подушкой, под тюфяком и даже в сапогах Семена Ивановича, покамест принимали в допрос Ремнева с Зимовейкиным, жилец Океанов, бывший доселе самый недалкий, смиреннейший и тихий жилец, вдруг обрел все присутствие духа, попал на свой дар и талант, схватил шапку и под шумок ускользнул из квартиры. И когда все ужасы безначалия достигли своего последнего периода в взволнованных и доселе смиренных углах, дверь отворилась, и внезапно, как снег на голову, появились сперва один господин благородной наружности с строгим, но недовольным лицом, за ним Ярослав Ильич, за Ярославом Ильичом его причт и все кто следует, и сзади всех — смущенный господин Океанов.

Господин строгий, но благородной наружности подошел прямо к Семену Ивановичу, пощупал его, сделал гримасу, вскинул плечами и объявил весьма известное, именно, что покойник уже умер, прибавив только от себя, что то же со сна случилось на днях с одним весьма почтенным и большим господином, который тоже взял, да и умер. Тут господин с благородной, но недовольной осанкой отошел от кровати, сказал, что напрасно его беспокоили, и вышел. Тотчас же заместил его Ярослав Ильич (причем Ремнева и Зимовейкина сдали кому следует на руки), расспросил кой-кого, ловко овладел сундуком, который хозяйка уже пыталась вскрывать, поставил сапоги на прежнее место, заметив, что они все в дырках и совсем не годятся, потребовал назад подушку, подозвал Океанова, спросил ключ от сундука, который нашелся в кармане пьянчужки-приятеля, и торжественно, при ком следует, вскрыл добро Семена Ивановича. Все было налицо: две тряпки, одна пара носков, полуплаток, старая шляпа, несколько пуговиц, старые подошвы и сапожные голенища, — одним словом, шильцо, мыльцо, белое белильцо, то есть дрянь, ветошь, сор, мелюзга, от которой пахло залавком; хорош был один только немецкий замок. Позвали Океанова, сурово переговорили с ним; но Океанов был готов под присягу идти. Потребовали подушку, осмотрели ее: она была только грязна, но во всех других отношениях совершенно походила на подушку. Принялись за тюфяк, хотели было его приподнять, остановились было немножко подумать, но вдруг, совсем неожиданно, что-то тяжелое, звонкое хлопнулось об пол. Нагнулись, обшарили и увидели сверток бумажный, а в свертке с десятков целковиков. «Эге-ге-ге!» — сказал Ярослав Ильич, показывая в тюфяке одно худое место, из которого торчали волосы и хлопья. Осмотрели худое место и уверились, что оно сейчас только сделано ножом, а было в пол-аршина длиною; засунули руку в изъян и вытащили, вероятно, впопыхах брошенный там хозяйский кухонный нож, которым взрезан был тюфяк. Не успел Ярослав Ильич вытащить нож из изъянного места и опять сказать «эге-ге!» — как тотчас же выпал другой сверток, а за ним поодиночке

выкатились два полтинника, один четвертак, потом какая-то мелочь и один старинный здоровенный пятак. Все это тотчас же переловили руками. Тут увидели, что недурно бы было вспороть совсем тюфяк ножницами. Потребовали ножницы...

Между тем нагоревший сальный огарок освещал чрезвычайно любопытную для наблюдателя сцену. Около десятка жильцов группировалось у кровати в самых живописных костюмах, все неприглаженные, небритые, немытые, заспанные, так, как были, отходя на грядущий сон. Иные были совершенно бледны, у других на лбу пот показывался, иных дрожь пронимала, других жар. Хозяйка, совсем оглупевшая, тихо стояла, сложив руки и ожидая милостей Ярослава Ильича. Сверху, с печки, с испуганным любопытством глядели головы Авдотьи-работницы и хозяйкиной кошки-фаворитки; кругом были разбросаны изорванные и разбитые ширмы; раскрытый сундук показывал свою неблагородную внутренность; валялись одеяло и подушка, покрытые хлопьями из тюфяка, и, наконец, на деревянном трехногом столе заблистала постепенно возрастающая куча серебра и всяких монет. Один только Семен Иванович сохранил вполне свое хладнокровие, смиренно лежал на кровати и, казалось, совсем не предчувствовал своего разорения. Когда же принесены были ножницы и помощник Ярослава Ильича, желая подслужиться, немного нетерпеливо тряхнул тюфяк, чтоб удобнее высвободить его из-под спины обладателя, то Семен Иванович, зная учтивость, сначала уступил немножко места, скатившись на бочок, спиною к искателям; потом, при втором толчке, поместился ничком, наконец еще уступил, и так как недоставало последней боковой доски в кровати, то вдруг совсем неожиданно бултыхнулся вниз головою, оставив на вид только две костлявые, худые, синие ноги, торчавшие кверху, как два сучка обгоревшего дерева.

Так как господин Прохарчин уже второй раз в это утро наведывался под свою кровать, то немедленно возбудил подозрение, и кое-кто из жильцов, под предводительством Зиновия Прокофьевича, полезли туда же с намерением посмотреть, не скрыто ли и там кой-чего. Но искатели только напрасно перестукались лбами, и так как Ярослав Ильич тут же прикрикнул на них и велел немедленно освободить Семена Ивановича из скверного места, то двое из благоразумнейших взяли каждый в обе руки по ноге, вытащили неожиданного капиталиста на свет божий и положили его поперек кровати. Между тем волосья и хлопья летели кругом, серебряная куча росла — и боже! чего, чего не было тут... Благородные целковики, солидные, крепкие полторарублевики, хорошенькая монета полтинник, плебеи-четвертачки, двугривеннички, даже малообещающая, старушечья мелюзга гривенники и пятаки серебром — все в особых бумажках, в самом методическом и солидном порядке. Были и редкости: два какие-то жетона, один наполеондор, одна неизвестно какая, но только очень редкая мо-

нетка... Некоторые из рублевиков относились тоже к глубокой древности; истертые и изрубленные елизаветинские, немецкие крестовики, петровские монеты, екатерининские; были, например, теперь весьма редкие монетки, старые пятиалтынные, проколотые для ношения в ушах, все совершенно истертые, но с законным количеством точек; даже медь была, но вся уже зеленая, ржавая... Нашли одну красную бумажку — но более не было.

Наконец, когда кончилась вся анатомия и, неоднократно встряхнув тюфячий чехол, нашли, что ничего не гремит, сложили все деньги на стол и принялись считать. С первого взгляда можно было даже совсем обмануться и смекнуть прямо на миллион — такая была огромная куча! Но миллиона не было, хотя и вышла, впрочем, сумма чрезвычайно значительная, — ровно две тысячи четыреста девяносто семь рублей с полтиною, так что если бы осуществилась вчера подписка у Зиновия Прокофьевича, то, может быть, было бы всего ровно две тысячи пятьсот рублей ассигнациями. Денежки забрали, к сундуку покойного приложили печать, хозяйкины жалобы выслушали и указали ей, когда и куда следует представить свидетельство насчет долгишка покойного. С кого следовало, взяли подписку; заикнулись было тут о золовке; но, уверившись, что золовка была в некотором смысле миф, то есть произведение недостаточности воображения Семена Ивановича, в чем, по справкам, не раз упрекали покойного, — то тут же идею оставили как бесполезную, вредную и в ущерб доброго имени его, господина Прохарчина, относящуюся; тем дело и кончилось. Когда же первый страх пропал, когда схватились за ум и узнали, что был такое покойник, то присмирели, притихнули все и стали как-то с недоверчивостью друг на друга поглядывать. Некоторые приняли чрезвычайно близко к сердцу поступок Семена Ивановича и даже как будто обиделись... Такой капитал! Этак натаскал человек! Марк Иванович, не теряя присутствия духа, пустился было объяснять, почему так вдруг заробелось Семену Ивановичу; но его уж не слушали. Зиновий Прокофьевич что-то был очень задумчив, Океанов подпил немножко, остальные как-то прижались, а маленький человечек Кантарев, отличавшийся воробыным носом, к вечеру съехал с квартиры, весьма тщательно заклеив и завязав все свои сундучки, узелки и холодно объясняя любопытствующим, что время тяжелое, а что приходится здесь не по карману платить. Хозяйка же без умолку выла, и причитая и кляня Семена Ивановича за то, что он обидел ее сиротство. Осведомились у Марка Ивановича, зачем же это покойник свои деньги в ломбард не носил?

— Прост, матушка, был; воображения на то не хватило, — отвечал Марк Иванович.

— Ну да и вы просты, матушка, — включал Океанов, — двадцать лет крепился у вас человек, с одного щелчка покачнулся, а у вас щи варились, некогда было!.. Э-эх, матушка!..

— Ох, уж ты мне млад-млад! — продолжала хозяйка. — Да что ломбард! принеси-ка он мне свою горсточку да скажи мне: возьми, млад-Устиньюшка, вот тебе благодостыня, а держи ты молодого меня на своих харчах, поколе мать сыра земля меня носит, — то вот тебе образ, кормила б его, поила б его, ходила б за ним. Ах, греховодник, обманщик такой! Обманул, надул сироту!..

Приблизились снова к постели Семена Ивановича. Теперь он лежал как следует, в лучшем, хотя, впрочем, и единственном своем одеянии, запрятав окостенелый подбородок за галстук, который навязан был немножко неловко, обмытый, приглаженный и не совсем лишь выбритый, затем что бритвы в углах не нашлось: единственная, принадлежавшая Зиновию Прокофьевичу, иззубрилась еще прошлого года и выгодно была продана на Толкучем; другие ж ходили в цирюльню. Беспорядок все еще не успели прибрать. Разбитые ширмы лежали по-прежнему и, обнажая уединение Семена Ивановича, словно были эмблемы того, что смерть срывает завесу со всех наших тайн, интриг, проволочек. Начинка из тюфяка, тоже не прибранная, густыми кучами лежала кругом. Весь этот внезапно остывший угол можно было бы весьма удобно сравнить поэту с разоренным гнездом «домовитой» ласточки: все разбито и истерзано бурей, убиты птенчики с матерью, и развеяна кругом их теплая постелька из пуха, перышек, хлопков... Впрочем, Семен Иванович смотрел скорее как старый самолюбец и вор-воробей. Он теперь притихнул, казалось, совсем притаился, как будто и не он виноват, как будто не он пускался на штуки, чтоб надуть и провести всех добрых людей, без стыда и без совести, неприличнейшим образом. Он теперь уж не слушал рыданий и плача осиротевшей и разобиженной хозяйки своей. Напротив, как опытный, тертый капиталист, который и в гробу не желал бы потерять минуты в бездействии, казалось, весь был предан каким-то спекулятивным расчетам. В лице его появилась какая-то глубокая дума, а губы были стиснуты с таким значительным видом, которого никак нельзя было бы подозревать при жизни принадлежностью Семена Ивановича. Он как будто бы поумнел. Правый глазок его был как-то плутовски прищурен; казалось, Семен Иванович хотел что-то сказать, что-то сообщить весьма нужное, объясниться, да и не теряя времени, а поскорее, затем, что дела навязались, а некогда было... И как будто бы слышалось: «Что, дескать, ты? перестань, слышь ты, баба ты глупая! не хнычь! ты, мать, проспись, слышь ты! Я, дескать, умер; теперь уж не нужно; что, заправду! Хорошо лежать-то... Я, то есть, слышь, и не про то говорю; ты, баба, туз, тузовая ты, понимай; оно вот умер теперь; а ну, как этак того, то есть оно, пожалуй, и не может так быть, а ну как этак того, и не умер — слышь ты, встану, так что-то будет, а?»

Хозяйка

Повесть

Часть первая

I

Ордынцов решился, наконец, переменить квартиру. Хозяйка его, очень бедная пожилая вдова и чиновница, у которой он нанимал помещение, по непредвиденным обстоятельствам уехала из Петербурга куда-то в глушь, к родственникам, не дождавшись первого числа — срока найма своего. Молодой человек, доживая срочное время, с сожалением думал о старом угле и досадовал на то, что приходилось оставить его: он был беден, а квартира была дорога. На другой же день после отъезда хозяйки он взял фуражку и пошел бродить по петербургским переулкам, высматривая все ярлычки, прибитые к воротам домов, и выбирая дом почернее, полюднее и *капитальнее*, в котором всего удобнее было найти требуемый угол у каких-нибудь бедных жильцов.

Он уже долго искал, весьма прилежно, но скоро новые, почти незнакомые ощущения посетили его. Сначала рассеяннo и небрежно, потом со вниманием, наконец, с сильным любопытством стал он смотреть кругом себя. Толпа и уличная жизнь, шум, движение, новостные предметы, новостные положения — вся эта мелочная жизнь и обыденная дребедень, так давно наскучившая деловому и занятому петербургскому человеку, бесплодно, но хлопотливо всю жизнь свою отыскивавшему средств умириться, стихнуть и успокоиться где-нибудь в теплом гнезде, добытом трудом, потом и разными другими средствами, — вся эта пошлая *проза* и скука возбудила в нем, напротив, какое-то тихорадостное, светлое ощущение. Бледные щеки его стали покрываться легким румянцем, глаза заблестели как будто новой надеждой, и он с жадностью, широко стал вдыхать в себя холодный, свежий воздух. Ему сделалось необыкновенно легко.

Он всегда вел жизнь тихую, совершенно уединенную. Года три назад, получив свою ученую степень и став по возможности свободным, он пошел к одному старичку, которого доселе знал понаслышке, и долго ждал, покамест ливрейный камердинер согласился доложить

о нем в другой раз. Потом он вошел в высокую, темную и пустынную залу, крайне скучную, как еще бывает в старинных, уцелевших от времени фамильных, барских домах, и увидел в ней старичка, увешанного орденами и украшенного сединой, друга и сослуживца его отца и опекуна своего. Старичок вручил ему щепоточку денег. Сумма оказалась очень ничтожною; это был остаток проданного с молотка за долги прадедовского наследия. Ордынов равнодушно вступил во владение, навсегда откланялся опекуну своему и вышел на улицу. Вечер был осенний, холодный и мрачный; молодой человек был задумчив, и какая-то бессознательная грусть надрывала его сердце. В глазах его был огонь; он чувствовал лихорадку, озноб и жар попеременно. Он рассчитал дороною, что может прожить своими средствами года два-три, даже с голодом пополам и четыре. Смерклось, накрапывал дождь. Он сторговал первый встречный угол и через час переехал. Там он как будто заперся в монастырь, как будто отрешился от света. Через два года он одичал совершенно.

Он одичал, не замечая того; ему покамест и в голову не приходило, что есть другая жизнь — шумная, гремящая, вечно волнующаяся, вечно меняющаяся, вечно зовущая и всегда, рано ли, поздно ли, неизбежная. Он, правда, не мог не слышать о ней, но не знал и не искал ее никогда. С самого детства он жил исключительно; теперь эта исключительность определилась. Его пожирала страсть самая глубокая, самая ненасытимая, истощающая всю жизнь человека и не выделяющая таким существам, как Ордынов, ни одного угла в сфере другой, практической, житейской деятельности. Эта страсть была — наука. Она снала покамест его молодость, медленным, упоительным ядом отравляла ночной покой, отнимала у него здоровую пищу и свежий воздух, которого никогда не бывало в его душном углу, и Ордынов в упоении страсти своей не хотел замечать того. Он был молод и покамест не требовал большего. Страсть сделала его младенцем для внешней жизни и уже навсегда неспособным заставить посторониться иных добрых людей, когда придет к тому надобность, чтоб отмежевать себе между них хоть какой-нибудь угол. Наука иных ловких людей — капитал в руках; страсть Ордынова была обращенным на него же оружием.

В нем было более бессознательного влечения, нежели логически отчетливой причины учиться и знать, как и во всякой другой, даже самой мелкой деятельности, доселе его занимавшей. Еще в детских летах он прослыл чудаком и был непохож на товарищей. Родителей он не знал; от товарищей за свой странный, нелюдимый характер терпел он бесчеловечность и грубость, отчего сделался действительно нелюдим и угрюм и мало-помалу ударился в исключительность. Но в уединенных занятиях его никогда, даже и теперь, не было порядка и определенной системы; теперь был один только первый восторг,

первый жар, первая горячка художника. Он сам создавал себе систему; она выживалась в нем годами, и в душе его уже мало-помалу восставал еще темный, неясный, но как-то дивно-отрадный образ идеи, воплощенной в новую, просветленную форму, и эта форма просилась из души его, терзая эту душу; он еще робко чувствовал оригинальность, истину и самобытность ее: творчество уже сказывалось силам его; оно формировалось и крепло. Но срок воплощения и создания был еще далек, может быть, очень далек, может быть, совсем невозможен!

Теперь он ходил по улицам, как отчужденный, как отшельник, внезапно вышедший из своей немой пустыни в шумный и гремящий город. Все ему казалось ново и странно. Но он до того был чужд тому миру, который кипел и грохотал кругом него, что даже не подумал удивиться своему странному ощущению. Он как будто не замечал своего дикарства; напротив, в нем родилось какое-то радостное чувство, какое-то охмеление, как у голодного, которому после долгого поста дали пить и есть; хотя, конечно, странно было, что такая мелочная новость положения, как перемена квартиры, могла отуманить и взволновать петербургского жителя, хотя б и Ордынова; но правда и то, что ему до сих пор почти ни разу не случалось выходить *по делам*.

Все более и более ему нравилось бродить по улицам. Он глазел на все, как *фланер*¹.

Но и теперь, верный своей всегдашней настроенности, он читал в ярко раскрывавшейся перед ним картине, как в книге между строк. Все поражало его; он не терял ни одного впечатления и мыслящим взглядом смотрел на лица ходящих людей, всматривался в физиономию всего окружающего, любовно вслушивался в речь народную, как будто поверяя на всем свои заключения, родившиеся в тиши уединенных ночей. Часто какая-нибудь мелочь поражала его, рождала идею, и ему впервые стало досадно за то, что он так заживо погреб себя в своей келье. Здесь все шло скорее; пульс его был полон и быстр, ум, подавленный одиночеством, изощряемый и возвышаемый лишь напряженной, экзальтированной деятельностью, работал теперь скоро, покойно и смело. К тому же ему как-то бессознательно хотелось втеснить как-нибудь и себя в эту для него чуждую жизнь, которую он доселе знал, или, лучше сказать, только верно предчувствовал инстинктом художника. Сердце его невольно забилося тоскою любви и сочувствия. Он внимательнее вглядывался в людей, мимо него проходивших; но люди были чужие, озабоченные и задумчивые... И мало-помалу беспечность Ордынова стала невольно упадать; действительность уже подавляла его, вселяла в него какой-то невольный страх уважения. Он стал уставать от наплыва новых впечатлений, доселе ему неведомых, как больной, который радостно встал в первый раз с болезненного одра своего и упал, изнеможенный светом, блеском, вихрем жизни,

¹ Фланер (*франц.* flaneur) — праздношатающийся.

шумом и пестротой пролетавшей мимо него толпы, отуманенный, окруженный движением. Ему стало тоскливо и грустно. Он начал бояться за всю свою жизнь, за всю свою деятельность и даже за будущность. Новая мысль убивала покой его. Ему вдруг пришло в голову, что всю жизнь свою он был одинок, что никто не любил его, да и ему никого не удавалось любить. Иные из прохожих, с которыми он случайно вступал в разговоры в начале прогулки, смотрели на него грубо и странно. Он видел, что его принимали за сумасшедшего или за оригинальнейшего чудака, что, впрочем, было совсем справедливо. Он вспомнил, что и всегда всем было как-то тяжело в его присутствии, что еще и в детстве все бежало его за его задумчивый, упорный характер, что тяжело, подавленно и неприметно другим проявлялось его сочувствие, которое было в нем, но в котором как-то никогда не было приметно нравственного равенства, что мучило его еще ребенком, когда он никак не походил на других детей, своих сверстников. Теперь он вспомнил и сообразил, что и всегда, во всякое время, все оставляли и обходили его.

Неприметно зашел он в один отдаленный от центра города конец Петербурга. Кое-как пообедав в уединенном трактире, он вышел опять бродить. Опять прошел он много улиц и площадей. За ними потянулись длинные желтые и серые заборы, стали встречаться совсем ветхие избенки вместо богатых домов и вместе с тем колоссальные здания под фабриками, уродливые, почерневшие, красные, с длинными трубами. Всюду было безлюдно и пусто; все смотрело как-то угрюмо и неприязненно: по крайней мере так казалось Ордынову. Был уже вечер. Одним длинным переулком он вышел на площадку, где стояла приходская церковь.

Он вошел в нее рассеянно. Служба только что кончилась; церковь была почти совсем пуста, и только две старухи стояли еще на коленях у входа. Служитель, седой старичок, тушил свечи. Лучи заходящего солнца широкою струею лились сверху сквозь узкое окно купола и освещали морем блеска один из приделов; но они слабели все более и более, и чем чернее становилась мгла, густевшая под сводами храма, тем ярче блистали местами раззолоченные иконы, озаренные трепетным заревом лампад и свечей. В припадке глубоко волнующей тоски и какого-то подавленного чувства Ордынов прислонился к стене в самом темном углу церкви и забылся на мгновение. Он очнулся, когда мерный, глухой звук двух вошедших прихожан раздался под сводами храма. Он поднял глаза, и какое-то невыразимое любопытство овладело им при взгляде на двух пришельцев. Это были старик и молодая женщина. Старик был высокого роста, еще прямой и бодрый, но худой и болезненно бледный. С вида его можно было принять за заезжего откуда-нибудь издалека купца. На нем был длинный, черный, очевидно праздничный кафтан на меху, надетый нараспашку. Из-под

кафтана виднелась какая-то другая длиннополая русская одежда, плотно застегнутая снизу до верха. Голая шея была небрежно повязана ярким красным платком; в руках меховая шапка. Длинная тонкая полуседая борода падала ему на грудь, и из-под нависших хмурых бровей сверкал взгляд огневой, лихорадочно воспаленный, надменный и долгий. Женщина была лет двадцати и чудно прекрасна. На ней была богатая голубая подбитая мехом шубейка, а голова покрыта белым атласным платком, завязанным у подбородка. Она шла, потупив глаза, и какая-то задумчивая важность, разлитая во всей фигуре ее, резко и печально отражалась на сладостном контуре детски-нежных и кротких линий лица ее. Что-то странное было в этой неожиданной паре.

Старик остановился посреди церкви и поклонился на все четыре стороны, хотя церковь была совершенно пуста; то же сделала и его спутница. Потом он взял ее за руку и повел к большому местному образу Богородицы, во имя которой была построена церковь, снявшему у алтаря ослепительным блеском огней, отражавшихся на горевшей золотом и драгоценными камнями ризе. Церковнослужитель, последний оставшийся в церкви, поклонился старику с уважением; тот кивнул ему головою. Женщина упала ниц перед иконой. Старик взял конец покрывала, висевшего у подножия иконы, и накрыл ее голову. Глухое рыдание раздалось в церкви.

Ордын был поражен торжественностью всей этой сцены и с нетерпением ждал ее окончания. Минуты через две женщина подняла голову, и опять яркий свет лампы озарил прелестное лицо ее. Ордын вздрогнул и ступил шаг вперед. Она уже подала руку старику, и оба тихо пошли из церкви. Слезы кипели в ее темных синих глазах, опущенных длинными, сверкавшими на млечной белизне лица ресницами, и катились по побледневшим щекам. На губах ее мелькала улыбка; но в лице заметны были следы какого-то детского страха и таинственного ужаса. Она робко прижималась к старику, и видно было, что она вся дрожала от волнения.

Пораженный, бичуемый каким-то неведомо сладостным и упорным чувством, Ордын быстро пошел вслед за ними и на церковной паперти перешел им дорогу. Старик поглядел на него неприязненно и сурово; она тоже взглянула на него, но без любопытства и рассеянно, как будто другая, отдаленная мысль занимала ее. Ордын пошел вслед за ними, сам не понимая своего движения. Уже совершенно смеркло; он шел поодаль. Старик и молодая женщина вошли в большую, широкую улицу, грязную, полную разного промышленного народа, мучных лабазов и постоялых дворов, которая вела прямо к заставе, и повернули из нее в узкий, длинный переулочек с длинными заборами по обеим сторонам его, упиравшийся в огромную почерневшую стену четырехэтажного капитального дома, сквозными воротами которого можно было выйти на другую, тоже большую и людную

улицу. Они уже подходили к дому; вдруг старик оборотился и с нетерпением взглянул на Ордынова. Молодой человек остановился как вкопанный; ему самому показалось странным его увлечение. Старик оглянулся другой раз, как будто желая увериться, произвела ли действие угроза его, и потом оба, он и молодая женщина, вошли через узкие ворота во двор дома. Ордынов вернулся назад.

Он был в самом неприятном расположении духа и досадовал на самого себя, соображая, что потерял день напрасно, напрасно устал и вдобавок кончил глупостью, придав смысл целого приключения путешествию более чем обыкновенному.

Как ни досадовал он на себя поутру за свою одичалость, но в инстинкте его было бежать от всего, что могло развлечь, поразить и потрясти его во внешнем, не внутреннем, художественном мире его. Теперь с грустью и с каким-то раскаянием подумал он о своем безмятежном угле; потом напала на него тоска и забота о неразрешенном положении его, о предстоявших хлопотах, и вместе с тем стало досадно, что такая мелочь могла его занимать. Наконец, усталый и не в состоянии связать двух идей, добрал он уже поздно до квартиры своей и с изумлением спохватился, что прошел было, не замечая того, мимо дома, в котором жил. Ошеломленный и покачивая головою на свою рассеянность, он приписал ее усталости и, подымаясь на лестницу, вошел, наконец, на чердак в свою комнату. Там он зажег свечу — и через минуту образ плачущей женщины ярко поразил его воображение. Так пламенно, так сильно было впечатление, так любовно воспроизвело его сердце эти кроткие, тихие черты лица, потрясенного таинственным умилением и ужасом, облитого слезами восторга или младенческого покаяния, что глаза его помутились и как будто огонь пробежал по всем его членам. Но видение продолжалось недолго. После восторга настало размышление, потом досада, потом какая-то бессильная злость; не раздеваясь, завернулся он в одеяло и бросился на жесткую постель свою...

Ордынов проснулся уже довольно поздно утром в раздраженном, робком и подавленном состоянии духа, собрался наскоро, почти насильно стараясь думать о насущных заботах своих, и отправился в сторону, противоположную вчерашнему своему путешествию; наконец он отыскал себе квартиру где-то в светелке у бедного немца, по прозвищу Шпис, жившего с дочерью Тинхен. Шпис, получив задаток, тотчас же снял ярлык, прибитый на воротах и приглашавший наемщиков, похвалил Ордынова за любовь к наукам и обещал сам усердно познаться с ним. Ордынов сказал, что переедет к вечеру. Оттуда он пошел было домой, но раздумал и поворотил в другую сторону; бодрость воротилась к нему, и он сам мысленно улыбнулся своему любопытству. Дорога в нетерпении показалась ему чрезвычайно длинною; наконец он дошел до церкви, в которой был вчера вечером.

Служили обедню. Он выбрал место, с которого мог видеть почти всех молящихся; но тех, которых он искал, не было. После долгого ожидания он вышел, краснея. Упорно подавляя в себе какое-то невольное чувство, упрямо и насильно старался он переменить ход мыслей своих. Раздумывая об обыденном, житейском, он вспомнил, что ему пора обедать, и, почувствовав, что действительно голоден, зашел в тот же самый трактир, в котором обедал вчера. Он уже и не помнил после, как вышел оттуда. Долго и бессознательно бродил он по улицам, по людным и безлюдным переулкам и, наконец, зашел в глушь, где уже не было города и где расстиралось пожелтевшее поле; он очнулся, когда мертвая тишина поразила его новым, давно неведомым ему впечатлением. День был сухой и морозный, какой нередко бывает в петербургском октябре. Неподалеку была изба; возле нее два стога сена; маленькая круторебрая лошаденка, понуря голову, с отвислой губой, стояла без упряжи подле двуколенной таратайки, казалось, об чем-то раздумывая. Дворная собака, ворча, грызла кость вблизи разбитого колеса, и трехлетний ребенок в одной рубашонке, почесывая свою белую мохнатую голову, с удивлением глядел на зашедшего одинокого горожанина. За избой тянулись поля и огороды. На краю синих небес чернелись леса, а с противоположной стороны находили мутные снежные облака, как будто гоня перед собою стаю перелетных птиц, без крика, одна за другою, пробиравшихся по небу. Все было тихо и как-то торжественно-грустно, полно какого-то замедленного, притаившегося ожидания... Ордынов пошел было дальше и дальше; но пустыня только тяготила его. Он повернул назад, в город, из которого вдруг понесся густой гул колоколов, сзывавших к вечернему богослужению. Удвоил шаги и через несколько времени опять вошел в храм, так знакомый ему со вчерашнего дня.

Незнакомка его была уже там.

Она стояла на коленях у самого входа между толпой молившихся. Ордынов протеснился сквозь густую массу нищих, старух в лохмотьях, больных и калек, ожидавших у церковных дверей милостыни, и стал на колени возле незнакомки. Одежда его касалась ее одежды, и он слышал порывистое дыхание, вылетавшее из ее уст, шептавших горячую молитву. Черты лица ее по-прежнему были потрясены чувством беспредельной набожности, и слезы опять катились и сохли на горячих щеках ее, как будто омывая какое-нибудь страшное преступление. В том месте, где стояли они оба, было совершенно темно, и только по временам тусклое пламя лампы, колеблемое ветром, врывающимся через отворенное узкое стекло окна, озаряло трепетным блеском лицо ее, которого каждая черта врезалась в память юноши, мучила зрение его и глухою, нестерпимою болью надрывала его сердце. Но в этом мучении было свое исступленное упоение. Наконец он не мог выдержать; вся грудь его задрожала и изныла в одно мгновение в неведомом

сладостном стремлении, и он, зарыдав, склонился воспаленной головой своей на холодный помост церкви. Он не слышал и не чувствовал ничего, кроме боли в сердце своем, замиравшем в сладостных муках.

Одиночеством ли развилась эта крайняя впечатлительность, обнаженность и незащищенность чувства; приготовлялась ли в томительном, душном и безвыходном безмолвии долгих, бессонных ночей, среди бессознательных стремлений и нетерпеливых потрясений духа, эта порывчатость сердца, готовая, наконец, разорваться или найти излияние; и так должно было быть ей, как внезапно в знойный, душный день вдруг зачернеет все небо, и гроза разольется дождем и огнем на взалкавшую землю, повиснет перлами дождя на изумрудных ветвях, сомнет траву, поля, прильнет к земле нежные чашечки цветов, чтоб потом, при первых лучах солнца, все, опять оживая, устремилось, поднялось навстречу ему и торжественно, до неба послало ему свой роскошный, сладостный фимиам, веселясь и радуясь обновленной своей жизни... Но Ордынов не мог бы теперь и подумать, что с ним делается: он едва сознавал себя...

Он почти не заметил, как кончилось богослужение, и очнулся, продираясь за своей незнакомкой сквозь сплотившуюся у входа толпу. Порой он встречал ее удивленный и светлый взгляд. Останавливаемая поминутно выходящим народом, она не раз оборачивалась к нему; видно было, как все сильнее и сильнее росло ее удивление, и вдруг она вся вспыхнула, будто заревом. В эту минуту вдруг из толпы явился опять вчерашний старик и взял ее за руку. Ордынов опять встретил желчный и насмешливый взгляд его, и какая-то странная злоба вдруг стеснила ему сердце. Наконец он потерял их в темноте из виду; тогда, в неестественном усилии, он рванулся вперед и вышел из церкви. Но свежий вечерний воздух не мог освежить его: дыхание спиралось и сдавливалось в его груди, и сердце стало биться медленно и крепко, как будто хотело пробить ему грудь. Наконец он увидел, что действительно потерял своих знакомцев; ни в улице, ни в переулке их уже не было. Но в голове Ордынова уже явилась мысль, сложился один из тех решительных, странных планов, которые хотя и всегда сумасбродны, но зато почти всегда успевают и выполняются в подобных случаях; на завтра в восемь часов утра он подошел к дому со стороны переулка и вошел на узенький, грязный и нечистый задний дворик, нечто вроде помойной ямы в доме. Дворник, что-то делавший на дворе, приостановился, уперся подбородком на ручку своей лопаты, оглядел Ордынова с ног до головы и спросил его, что ему надо.

Дворник был молодой малый, лет двадцати пяти, с чрезвычайно старообразным лицом, сморщенный, маленький, татарин пороною.

— Ищу квартиру, — отвечал с нетерпением Ордынов.

— Которая? — спросил дворник с усмешкою. — Он смотрел на Ордынова так, как будто знал все его дело.

— Нужно от жильцов, — отвечал Ордынов.

— На том дворе нет, — отвечал загадочно дворник.

— А здесь?

— И здесь нет. — Тут дворник принялся за лопату.

— А может быть, и уступят, — сказал Ордынов, давая дворнику гривенник.

Татарин взглянул на Ордынова, взял гривенник, потом опять взялся за лопату и после некоторого молчания объявил, что «нет, нету квартира». Но молодой человек уж не слушал его; он шел по гнилым, трясучим доскам, лежавшим в луже, к единственному выходу на этот двор из флигеля дома, черному, нечистому, грязному, казалось, захлебнувшемуся в луже. В нижнем этаже жил бедный гробовщик. Минував его остроумную мастерскую, Ордынов по полуразломанной, скользкой, винтообразной лестнице поднялся в верхний этаж, ощупал в темноте толстую, неуклюжую дверь, покрытую рогожными лохмотьями, нашел замок и приотворил ее. Он не ошибся. Перед ним стоял ему знакомый старик и пристально, с крайним удивлением смотрел на него.

— Что тебе? — спросил он отрывисто и почти шепотом.

— Есть квартира?.. — спросил Ордынов, почти забыв все, что хотел оказать. Он увидал из-за плеча старика свою незнакомку.

Старик молча стал затворять дверь, вытесняя ею Ордынова.

— Есть квартира, — раздался вдруг ласковый голос молодой женщины.

Старик освободил дверь.

— Мне нужен угол, — сказал Ордынов, поспешно входя в комнату и обращаясь к красавице.

Но он остановился в изумлении как вкопанный, взглянув на будущих хозяев своих; в глазах его произошла немая, поразительная сцена. Старик был бледен как смерть, как будто готовый лишиться чувств. Он смотрел свинцовым, неподвижным, пронзающим взглядом на женщину. Она тоже побледнела сначала; но потом вся кровь бросилась ей в лицо, и глаза ее как-то странно сверкнули. Она повела Ордынова в другую каморку.

Вся квартира состояла из одной довольно обширной комнаты, разделенной двумя перегородками на три части; из сеней прямо входили в узенькую, темную прихожую; прямо была дверь за перегородку, очевидно в спальню хозяев. Направо, через прихожую, проходили в комнату, которая отдавалась внаймы. Она была узенькая и тесная, приплюснутая перегородкою к двум низеньким окнам. Все было загромождено и заставлено необходимыми во всяком житье предметами; было бедно, тесно, но по возможности чисто. Мебель состояла из простого белого стола, двух простых стульев и залавка по обеим сторонам стен. Большой старинный образ с позолоченным венчиком

стоял над полкой в углу, и перед ним горела лампада. В отдаваемой комнате, и частью в прихожей, помещалась огромная, неуклюжая русская печь. Ясно было, что троем в такой квартире нельзя было жить.

Они стали уговариваться, но бессвязно и едва понимая друг друга. Ордынов за два шага от нее слышал, как стучало ее сердце; он видел, что она вся дрожала от волнения и как будто от страха. Наконец кое-как сговорились. Молодой человек объявил, что он сейчас переедет, и взглянул на хозяина. Старик стоял в дверях все еще бледный; но тихая, даже задумчивая улыбка прокрадывалась на губах его. Встретив взгляд Ордынова, он опять нахмурил брови.

— Есть паспорт? — спросил он вдруг громким, отрывистым голосом, отворяя ему дверь в сени.

— Да! — отвечал Ордынов, немного озадаченный.

— Кто ты таков?

— Василий Ордынов, дворянин, не служу, по своим делам, — отвечал он, подделываясь под тон старика.

— И я тоже, — отвечал старик. — Я Илья Мурин, мещанин; довольно с тебя? Ступай...

Через час Ордынов уже был на новой квартире, к удивлению своему и своего немца, который уже начинал подозревать, вместе с покорною Тинхен, что навернувшийся жилец обманул его. Ордынов же сам не понимал, как все это сделалось, да и не хотел понимать...

II

Сердце его так билось, что в глазах зеленело и голова шла кругом. Машинально занялся он размещением своего скудного имущества в новой квартире, развязал узел с разным необходимым добром, отпер сундук с книгами и стал укладывать их на стол; но скоро вся эта работа выпала из рук его. Поминутно сиял в его глазах образ женщины, встреча с которою взволновала и потрясла все его существование, который наполнял его сердце таким неудержимым, судорожным восторгом, — столько счастья прихлынуло разом в скудную жизнь его, что мысли его темнели и дух замирал в тоске и смятении. Он взял свой паспорт и понес к хозяину в надежде взглянуть на нее. Но Мурин едва приотворил дверь, взял у него бумагу, сказал ему: «Хорошо, живи с миром», — и снова заперся в своей комнате. Какое-то неприятное чувство овладело Ордыновым. Неизвестно почему, ему стало тяжело глядеть на этого старика. В его взгляде было что-то презрительное и злобное. Но неприятное впечатление скоро рассеялось. Уж третий день, как Ордынов жил в каком-то вихре в сравнении с прежним затишьем его жизни; но рассуждать он не мог и даже боялся. Все сбилось и перемешалось в его существовании; он глухо чувствовал, что вся

его жизнь как будто переломлена пополам; одно стремление, одно ожидание овладело им, и другая мысль его не смущала.

В недоумении воротился он в свою комнату. Там, у печки, в которой стряпалось кушанье, хлопотала маленькая сторбленная старушка, такая грязная и в таком отвратительном отребье, что жалко было смотреть на нее. Она, казалось, была очень зла и по временам что-то ворчала, шамкая губами себе под нос. Это была хозяйская работница. Ордынов попробовал было заговорить с нею, но она промолчала, очевидно со зла. Наконец настал час обеда; старуха вынула из печи щи, пироги и говядину и понесла к хозяевам. Того же подала и Ордынову. После обеда в квартире настала мертвая тишина.

Ордынов взял в руки книгу и долго переворачивал листы, стараясь доискаться смысла в том, что читал уже несколько раз. В нетерпении он отбросил книгу и опять попробовал было прибирать свои пожитки; наконец взял фуражку, надел шинель и вышел на улицу. Идя наудачу, не видя дороги, он все старался, по возможности, сосредоточиться духом, свести свои разбитые мысли и хоть немного рассудить о своем положении. Но усилие только повергало его в страдание, в пытку. Озноб и жар овладевали им попеременно, и по временам сердце начинало вдруг стучать так, что приходилось прислониться к стене. «Нет, лучше смерть, — думал он, — лучше смерть», — шептал он воспаленными, дрожащими губами, мало думая о том, что говорит. Он ходил очень долго; наконец, почувствовав, что промок до костей, и заметив в первый раз, что дождь идет ливнем, воротился домой. Неподалеку от дома он увидел своего дворника. Ему показалось, что татарин несколько времени пристально и с любопытством смотрел на него и потом пошел своего дорогою, когда заметил, что его увидали.

— Здравствуй, — сказал Ордынов, нагнав его. — Как тебя зовут?

— Дворник зовут, — отвечал тот, скаля зубы.

— Ты давно здесь дворником?

— Давно.

— Хозяин мой мещанин?

— Мещанин, коли сказывал.

— Что ж он делает?

— Больна; живет, Бога молит, — вот.

— Это жена его?

— Какая жена?

— Что с ним живет?

— Же-на, коли сказывал. Прощай, барин.

Татарин тронул шапку и вошел в конуру свою.

Ордынов вошел в свою квартиру. Старуха, шамкая и что-то ворча про себя, отворила ему дверь, опять заперла ее на щеколду и полезла на печь, на которой доживала свой век. Уже смеркалось. Ордынов пошел достать огня и увидел, что дверь к хозяевам заперта на замок.

Он кликнул старуху, которая, приподнявшись на локоть, зорко смотрела на него с печки, казалось, раздумывая, что бы ему нужно было у хозяйского замка; она молча сбросила ему пачку спичек. Он воротился в комнату и принялся опять, в сотый раз, за свои вещи и книги. Но малу-помалу, недоумевая, что с ним делается, присел на лавку, и ему показалось, что он заснул. По временам приходил он в себя и догадывался, что сон его был не сон, а какое-то мучительное, болезненное забытие. Он слышал, как стукнула дверь, как отворилась она, и догадался, что это воротились хозяева от вечерни. Тут ему пришло в голову, что нужно было пойти к ним за чем-то. Он привстал, и показалось ему, что он уже идет к ним, но оступился и упал на кучу дров, брошенных старухой среди комнаты. Тут он совершенно забылся и, раскрыв глаза после долгого-долгого времени, с удивлением заметил, что лежит на той же лавке, так, как был, одетый, и что над ним с нежною заботливостью склонялось лицо женщины, дивно прекрасное и как будто все омоченное тихими, материнскими слезами. Он слышал, как положили ему под голову подушку и одели чем-то теплым и как чья-то нежная рука легла на горячий лоб его. Он хотел поблагодарить, он хотел взять эту руку, поднести к запекшимся губам своим, омочить ее слезами и целовать, целовать целую вечность. Ему хотелось что-то много сказать, но что такое — он сам не знал того; ему захотелось умереть в эту минуту. Но руки его были как свинцовые и не двигались; он как будто онемел и слышал только, как разлетается кровь его по всем жилам, как будто приподымая его на постели. Кто-то дал ему воды... Наконец он впал в беспамятство.

Он проснулся поутру часов в восемь. Солнце сыпало золотым снопом лучи свои сквозь зеленые, заплесневелые окна его комнаты; какое-то отрадное ощущение нежилось все члены больного. Он был спокоен и тих, бесконечно счастлив. Ему казалось, что кто-то был сейчас у его изголовья. Он проснулся, заботливо ища вокруг себя это невидимое существо; ему так хотелось обнять своего друга и сказать первый раз в жизни: «Здравствуй, добрый день тебе, мой милый».

— Как же ты долго спишь! — сказал нежный женский голос. Ордынов оглянулся, и к нему склонилось с приветливою и светлою, как солнце, улыбкою лицо красавицы хозяйки его.

— Как ты долго был болен, — говорила она, — полно, вставай; что неволишь себя? Волюшка хлеба слаще, солнца краше. Вставай, голубь мой, вставай.

Ордынов схватил и крепко сжал ее руку. Ему казалось, что он все еще видит сон.

— Подожди, я тебе чаю готовила; хочешь чаю? Захоти; тебе лучше будет. Я сама хворала и знаю.

— Да, дай мне пить, — сказал Ордынов слабым голосом и стал на ноги. Он еще был очень слаб. Озноб пробежал по спине его, все чле-

ны его болели и как будто были разбиты. Но на сердце его было ясно, и лучи солнца, казалось, согревали его какою-то торжественною, светлою радостью. Он чувствовал, что новая, сильная, невидимая жизнь началась для него. Голова его слегка закружилась.

— Ведь тебя зовут Васильем? — спросила она. — Я иль ослышалась, иль, сдается, тебя хозяин так вчера назвал.

— Да, Василий. А тебя как зовут? — сказал Ордынов, приближаясь к ней и едва устояв на ногах. Он покачнулся. Она схватила его за руки и засмеялась.

— Меня Катериной, — сказала она, смотря ему в глаза своими большими ясными голубыми глазами. Оба держали друг друга за руки.

— Ты мне хочешь что-то сказать? — проговорила она, наконец.

— Не знаю, — отвечал Ордынов — у него помутилось зрение.

— Видишь какой. Полно, голубь мой, полно; не горюй, не тужи; садись сюда к солнцу за стол; сиди смирно, а за мной не ходи, — прибавила она, видя, что молодой человек сделал движение, как будто удерживая ее, — я сейчас сама к тебе буду; успеешь на меня наглядеться. — Через минуту она принесла чаю, поставила на стол и села напротив его.

— На, напейся, — сказала она. — Что, болит твоя голова?

— Нет, теперь не болит, — сказал он. — Не знаю, может быть, и болит... я не хочу... полно, полно!.. Я и не знаю, что со мною, — говорил он, задыхаясь и отыскав, наконец, ее руку, — будь здесь, не уходи от меня; дай, дай мне опять твою руку... У меня в глазах темнеет; я на тебя как на солнце смотрю, — сказал он, как будто отрывая от сердца слова свои, замирая от восторга, когда их говорил. Рывания сдавливали ему горло.

— Бедный какой! Знать, не жил ты с человеком хорошим. Ты один-одинешенек; нет у тебя родичей?

— Нет никого; я один... ничего, пусть! теперь лучше... хорошо мне теперь! — говорил Ордынов, будто в бреду. Комната как будто ходила кругом него.

— Я сама много лет людей не видала. Ты так глядишь на меня... — проговорила она после минутного молчания.

— Ну... что же?

— Как будто греют тебя мои очи! Знаешь, когда любишь кого... Я тебя с первых слов в сердце мое приняла. Заболеешь, опять буду ходить за тобой. Только ты не болей, нет. Встанешь, будем жить, как брат и сестра. Хочешь? Ведь сестру трудно нажить, как Бог родив не дал.

— Кто ты? откуда ты? — проговорил Ордынов слабым голосом.

— Я не здешняя... что тебе! Знаешь, люди рассказывают, как жили двенадцать братьев в темном лесу и как заблудилась в том лесу красная девица. Зашла она к ним и прибрала им все в доме, любовь

свою на всем положила. Пришли братья и опознали, что сестрица у них день прогостила. Стали ее выкликать, она к ним вышла. Нарекли ее все сестрой, дали ей волошку, и всем она была ровня. Знаешь ли сказку?

— Знаю, — прошептал Ордынов.

— Жить хорошо; любо ль тебе на свете жить?

— Да, да; век жить, долго жить, — отвечал Ордынов.

— Не знаю, — сказала задумчиво Катерина, — я бы и смерти хотела. Хорошо жизнь любить и добрых людей любить, да... Смотри, ты опять, как мука, побелел!

— Да, голова кругом ходит...

— Постой, я тебе мою постель принесу и подушку — другую; здесь и постелю. Заснешь, обо мне приснится; недуг отойдет. Наша старуха тоже больна...

Она еще говорила, как уже начала готовить постель, по временам с улыбкой смотря через плечо на Ордынова.

— Сколько у тебя книг! — сказала она, сдвигая сундук.

Она подошла к нему, схватила его правой рукой, подвела к постели, уложила и одела одеялом.

— Говорят, книги человека портят, — говорила она, задумчиво покачивая головою. — Ты любишь в книгах читать?

— Да, — отвечал Ордынов, не зная, спит он или нет, и крепче сжимая руку Катерины, чтоб уверить себя, что не спит.

— У хозяина моего много книг; видишь какие! он говорит, что божественные. Он мне все читает из них. Я потом тебе покажу; ты мне расскажешь после, что он мне в них все читает?

— Расскажу, — прошептал Ордынов, неотступно смотря на нее.

— Ты любишь молиться? — спросила она после минутного молчания. — Знаешь что? Я все боюсь, все боюсь...

Она не договорила, казалось размышляя о чем-то. Ордынов поднес, наконец, ее руку к губам своим.

— Что ты мою руку целуешь? (И щеки ее слегка заалели.) На, целуй ее, — продолжала она, смеясь и подавая ему обе руки; потом высвободила одну и приложила ее к горячему лбу его, потом стала расправлять и приглаживать его волосы. Она краснела более и более, наконец присела на полу у постели его и приложила свою щеку к его щеке; теплое, влажное дыхание ее шелестило по его лицу... Вдруг Ордынов почувствовал, что горячие слезы градом полились из ее глаз и падали, как растопленный свинец, на его щеки. Он слабел более и более; он уже не мог двинуть рукою. В это время раздался стук в дверь и загремела задвижка. Ордынов еще мог слышать, как старик, его хозяин, вошел за перегородку. Он слышал потом, что Катерина привстала, не спеша и не смущаясь, взяла свои книги, слышал, как она перекрестила его, уходя; он закрыл глаза. Вдруг горячий, долгий поце-

луй загорелся на воспаленных губах его, как будто ножом его ударили в сердце. Он слабо вскрикнул и лишился чувств...

Потом началась для него какая-то странная жизнь.

Порой, в минуту неясного сознания, мелькало в уме его, что он осужден жить в каком-то длинном, нескончаемом сне, полном странных, бесплодных тревог, борьбы и страданий. В ужасе он старался восстать против рокового фатализма, его гнетущего, и в минуту напряженной, самой отчаянной борьбы какая-то неведомая сила опять поражала его, и он слышал, чувствовал ясно, как он снова теряет память, как вновь непроходимая, бездонная темень разверзается перед ним и он бросается в нее с воплем тоски и отчаяния. Порой мелькали мгновения невыносимого, уничтожающего счастья, когда жизненность судорожно усиливается во всем составе человеческом, яснеет прошедшее, звучит торжеством, весельем настоящий светлый миг и снится наяву неведомое грядущее; когда невыразимая надежда падает живительной росой на душу; когда хочешь вскрикнуть от восторга; когда чувствуешь, что неможна плоть пред таким гнетом впечатлений, что разрывается вся нить бытия, и когда вместе с тем поздравляешь всю жизнь свою с обновлением и воскресением. Порой он опять впадал в усыпление, и тогда все, что случилось с ним в последние дни, снова повторялось и смутным, мятеным роем проходило в уме его; но видение представлялось ему в странном, загадочном виде.

Порой больной забывал, что с ним было, и удивлялся, что он не на старой квартире, не у старой хозяйки своей. Он недоумевал, отчего старушка не подходила, как бывало всегда в поздний сумеречный час, к потухавшей печке, обливавшей по временам слабым, мерцающим заревом весь темный угол комнаты, и в ожидании, как погаснет огонь, не грела, по привычке, своих костлявых, дрожащих рук на замиравшем огне, всегда болтая и шепча про себя и изредка в недоумении поглядывая на него, чудного жильца своего, которого считала помешанным от долгого сидения за книгами. Другой раз он вспоминал, что переехал на другую квартиру; но как это сделалось, что с ним было и зачем пришлось переехать, он не знал того, хотя замирал весь дух его в непрерывном, неудержимом стремлении... Но куда, что звало и мучило его и кто бросил этот невыносимый пламень, душивший, пожиравший всю кровь его? — он опять не знал и не помнил. Часто жадно ловил он руками какую-то тень, часто слышались ему шелест близких, легких шагов около постели его и сладкий, как музыка, шепот чьих-то ласковых, нежных речей; чье-то влажное, порывистое дыхание скользило по лицу его, и любовью потрясилось все его существо; чьи-то горячие слезы жгли его воспаленные щеки, и вдруг чей-то поцелуй, долгий, нежный, впивался в его губы; тогда жизнь его изнывала в неутасимой муке; казалось, все бытие, весь мир останавли-

вался, умирал на целые века кругом него, и долгая, тысячелетняя ночь простиралась над всем...

То как будто наступали для него опять его нежные, безмятежно прошедшие годы первого детства, с их светлою радостно, с неугасимым счастьем, с первым сладостным удивлением к жизни, с роями светлых духов, вылетающих из-под каждого цветка, который срывал он, игравших с ним на тучном зеленом лугу перед маленьким домиком, окруженным акациями, улыбающихся ему из хрустального необозримого озера, возле которого просиживал он по целым часам, прислушиваясь, как бьется волна о волну, и шелестивших кругом него крыльями, любовно усыпая светлыми, радужными сновидениями маленькую его колыбельку, когда его мать, склоняясь над него, крестила, целовала и баюкала его тихою колыбельною песенкой в долгие, безмятежные ночи. Но тут вдруг стало являться одно существо, которое смущало его каким-то недетским ужасом, которое вливало первый медленный яд горя и слез в его жизнь; он смутно чувствовал, как неведомый старик держит во власти своей все его грядущие годы, и, трепеща, не мог он отвести от него глаз своих. Злой старик за ним следовал всюду. Он выглядывал и обманчиво кивал ему головою из-под каждого куста в роще, смеялся и дразнил его, воплощался в каждую куклу ребенка, гримасничая и хохоча в руках его, как злой, скверный гном; он подбивал на него каждого из его бесчеловечных школьных товарищей или, садясь с малютками на школьную скамью, гримасничая, выглядывал из-под каждой буквы его грамматики. Потом, во время сна, злой старик садился у его изголовья... Он отогнал рой светлых духов, шелестивших своими золотыми и сапфирными крыльями кругом его колыбели, отвел от него навсегда его бедную мать и стал по целым ночам нашептывать ему длинную, дивную сказку, невнятную для сердца дитяти, но терзавшую, волновавшую его ужасом и недетскою страстью.

Но злой старик не слушал его рыданий и просьб и все продолжал ему говорить, покамест он не впадал в оцепенение, в беспмятство. Потом малютка просыпался вдруг человеком; невидимо и неслышно пронеслись над ним целые годы. Он вдруг сознавал свое настоящее положение, вдруг стал понимать, что он одинок и чужд всему миру, один в чужом углу, меж таинственных, подозрительных людей, между врагов, которые все собираются и шепчутся по углам его темной комнаты и кивают старухе, сидевшей у огня на корточках, нагревавшей свои дряхлые, старые руки и указывавшей им на него. Он впадал в смятение, в тревогу; ему все хотелось узнать, кто таковы эти люди, зачем они здесь, зачем он сам в этой комнате, и догадывался, что забрел в какой-то темный, злодейский притон, будучи увлечен чем-то могучим, но неведомым, не рассмотрев прежде, кто и каковы жильцы и кто именно его хозяева. Его начинало мучить подозрение, — и вдруг среди ночной темноты опять началась шепотливая, длинная сказка,

и начала ее тихо, чуть внятно, про себя, какая-то старуха, печально качая перед потухавшим огнем своей белой, седой головой. Но — и опять ужас напал на него: сказка воплощалась перед ним в лица и формы. Он видел, как все, начиная с детских, неясных грез его, все мысли и мечты его, все, что он выжил жизнью, все, что вычитал в книгах, все, об чем уже и забыл давно, все одушевлялось, все складывалось, воплощалось, вставало перед ним в колоссальных формах и образах, ходило, роилось крутом него; видел, как раскидывались перед ним волшебные, роскошные сады, как слагались и разрушались в глазах его целые города, как целые кладбища высылали ему своих мертвецов, которые начинали жить сызнова, как приходили, рождались и отживали в глазах его целые племена и народы, как воплощалась, наконец, теперь, вокруг болезненного одра его, каждая мысль его, каждая бесплотная греза, воплощалась почти в миг зарождения; как, наконец, он мыслил не бесплотными идеями, а целыми мирами, целыми созданиями, как он носился, подобно пылинке, во всем этом бесконечном, странном, невыходимом мире и как вся эта жизнь, своею мятежною независимостью, давит, гнетет его и преследует его вечной, бесконечной иронией; он слышал, как он умирает, разрушается в пыль и прах, без воскресения, на веки веков; он хотел бежать, но не было угла во всей вселенной, чтоб укрыть его. Наконец, в припадке отчаяния, он напряг свои силы, вскрикнул и проснулся...

Он проснулся, весь облитый холодным, ледяным потом. Кругом него стояла мертвая тишина; была глубокая ночь. Но все ему казалось, что где-то продолжается его дивная сказка, что чей-то хриплый голос действительно заводит долгий рассказ о чем-то как будто ему знакомом. Он слышал, что говорят про темные леса, про каких-то лихих разбойников, про какого-то удалого молодца, чуть-чуть не про самого Стеньку Разина, про веселых пьяниц бурлаков, про одну красную девицу и про Волгу-матушку. Не сказка ли это? наяву ли он слышит ее? Целый час пролежал он, открыв глаза, не шевеля ни одним членом, в мучительном оцепенении. Наконец он привстал осторожно и с веселием ощутил в себе силу, не истощившуюся в лютой болезни. Бред прошел, начиналась действительность. Он заметил, что еще был одет так, как был во время разговора с Катериной, и что, следовательно, немного времени прошло с того утра, как она ушла от него. Огонь решимости пробежал по его жилам. Машинально отыскал он руками большой гвоздь, вбитый для чего-то вверху перегородки, возле которой постлали постель его, схватился за него и, повиснув на нем всем телом, кое-как добрался до щели, из которой выходил едва заметный свет в его комнату. Он приложил глаз к отверстию и стал глядеть, едва переводя дух от волнения.

В углу хозяйской каморки стояла постель, перед постелью стол, покрытый ковром, заваленный книгами большой старинной формы,

в переплетах, напоминавших священные книги. В углу стоял образ, такой же старинный, как и в его комнате; перед образом горела лампада. На постели лежал старик Мурин, больной, изможденный страданием и бледный, как полотно, закрытый меховым одеялом. На коленях его была раскрытая книга. На скамье возле постели лежала Катерина, охватив рукою грудь старика и склонившись к нему на плечо головою. Она смотрела на него внимательными, детски-удивленными глазами и, казалось, с неистощимым любопытством, замирая от ожидания, слушала то, что ей рассказывал Мурин. По временам голос рассказчика возвышался, одушевление отражалось на бледном лице его; он хмурил брови, глаза его начинали сверкать, и Катерина, казалось, бледнела от страха и волнения. Тогда что-то похожее на улыбку являлось на лице старика, и Катерина начинала тихо смеяться. Порой слезы загорались в глазах ее; тогда старик нежно гладил ее по голове, как ребенка, и она еще крепче обнимала его своею обнаженным, сверкающего, как снег, рукою и еще любовнее припадала к груди его.

По временам Ордынов думал, что все это еще сон, даже был в этом уверен; но кровь ему бросилась в голову, и жилы напряженно, с болью, билась на висках его. Он выпустил гвоздь, встал с постели и, качаясь, пробираясь, как лунатик, сам не понимая своего побуждения, вспыхнувшего целым пожаром в крови его, подошел к хозяйским дверям и с силой толкнулся в них; ржавая задвижка отлетела разом, и он вдруг с шумом и треском очутился среди хозяйской спальни. Он видел, как вся вспорхнула и вздрогнула Катерина, как злобно засверкали глаза старика из-под тяжело сдавленных вместе бровей и как внезапно ярость исказила все лицо его. Он видел, как старик, не спуская с него своих глаз, блуждающей рукою наскоро ищет ружье, висевшее на стене; видел потом, как сверкнуло дуло ружья, направленное неверной, дрожащей от бешенства рукою прямо в грудь его... Раздался выстрел, раздался потом дикий, почти нечеловеческий крик, и когда разлетелся дым, страшное зрелище поразило Ордынова. Дрожа всем телом, он нагнулся над стариком. Мурин лежал на полу; его коробило в судорогах, лицо его было искажено в муках, и пена показывалась на искривленных губах его. Ордынов догадался, что несчастный был в жесточайшем припадке падучей болезни. Вместе с Катериной он бросился помогать ему...

III

Вся ночь прошла в тревоге. На другой день Ордынов вышел рано поутру, несмотря на свою слабость и на лихорадку, которая все еще не оставляла его. На дворе он опять встретил дворника. В этот раз татарин еще издали приподнял фуражку и с любопытством поглядел на него. Потом, как будто опомнясь, принялся за свою метлу, искоса взглядывая на медленно приближавшегося Ордынова.

— Что? ты ничего не слышал ночью? — спросил Ордынов.

— Да, слышал.

— Что это за человек? кто он такой?

— Сама нанимала, сама и знай; а моя чужая.

— Да будешь ли ты когда говорить! — закричал Ордынов вне себя от припадка какой-то болезненной раздражительности.

— А моя что сделала? Виновата твоя, — твоя жильцов пугала. Внизу гробовщик жил: он глух, а все слышал, и баба его глухая, и та слышала. А на другом дворе, хоть и далеко, а тоже слышала — вот. Я к надзирателю пойду.

— Я сам туда же пойду, — отвечал Ордынов и пошел к воротам.

— А хоть как хошь; сама нанимала... Барин, барин, стой!

Ордынов оглянулся; дворник из учтивости тронул за шапку.

— Ну!

— Коль пойдешь, я к хозяину пойду.

— Что ж?

— Лучше съезжай.

— Ты глуп, — проговорил Ордынов и опять пошел было прочь.

— Барин, барин, стой! — Дворник опять тронул за шапку и осканил зубы.

— Слушай, барин: ты сердце держи; за что бедного гнать? Бедного гонять — грех. Бог не велит — слышь?

— Слушай же и ты: вот возьми это. Ну, кто ж он таков?

— Кто таков?

— Да.

— Я и без денег скажу.

Тут дворник взял метлу, махнул раз-два, потом остановился, внимательно и важно посмотрев на Ордынова.

— Ты барин хороший. А не хошь жить с человеком хорошим, как хошь; моя вот как сказала.

Тут татарин посмотрел еще выразительнее и, как будто осердясь, опять принялся за метлу. Показав, наконец, вид, что кончил какое-то дело, он таинственно подошел к Ордынову и, сделав какой-то очень выразительный жест, произнес:

— Она вот что!

— Чего? Как?

— Ума нет.

— Что?

— Улетела. Да! улетела! — повторил он еще более таинственным тоном. — Она больна. У него барка была, большая была, и другая была, и третья была, по Волге ходила, а я сам из Волги; еще завод была, да сгорела, и он без башка.

— Он помешанный?

— Ни!.. Ни! — отвечал с расстановкой татарин. — Не мешана. Он умный человек. Она все знает, книжка много читала, читала, читала, все читала и другим правда сказывала. Так, пришла кто: два рубля, три рубля, сорок рубля, а не хошь как хошь; книжка посмотрит, увидит и всю правду скажет. А деньга на стол, тотчас на стол — без деньга ни!

Тут татарин, с излишком сердца входивший в интересы Мурина, даже засмеялся от радости.

— Что ж, он колдовал, гадал кому-нибудь?

— Гм... — промычал дворник, скоро кивнув головою, — она правду сказывала. Она Бога молит, много молит. А то так, находит на него.

Тут татарин опять повторил свой выразительный жест.

В эту минуту кто-то кликнул дворника с другого двора, а вслед за тем показался какой-то маленький, согбенный, седенький человек в тулупе. Он шел кряхтя, спотыкаясь, смотрел в землю и что-то нашептывал про себя. Можно было подумать, что он от старости выжил из ума.

— Хозяева, хозяева! — прошептал впопыхах дворник, наскоро кивнув головою Ордынову и, сорвав шапку, бросился бегом к старичку, которого лицо было как-то знакомо Ордынову; по крайней мере он где-то встретил его очень недавно. Сообразив, впрочем, что тут нет ничего удивительного, он пошел со двора. Дворник показался ему мошенником и наглецом первой руки. «Бездельник точно торговался со мной! — думал он. — Бог знает что тут такое!»

Он уже произнес это на улице.

Мало-помалу его начали одолевать другие мысли. Впечатление было неприятное: день серый и холодный, порхал снег. Молодой человек чувствовал, как озноб снова начинает ломать его; он чувствовал тоже, что как будто земля начинала под ним колыхаться. Вдруг один знакомый голос неприятно-сладеньким, дребезжащим тенором пожелал ему доброго утра.

— Ярослав Ильич! — сказал Ордынов.

Перед ним стоял бодрый, краснощекий человек, с виду лет тридцати, невысокого роста, с серенькими масляными глазками, с улыбочкой, одетый... как и всегда бывает одет Ярослав Ильич, и приятнейшим образом протягивал ему руку. Ордынов познакомился с Ярославом Ильичом тому назад ровно год, совершенно случайным образом, почти на улице. Очень легкому знакомству способствовала, кроме случайности, необыкновенная склонность Ярослава Ильича отыскивать всюду добрых, благородных людей, прежде всего образованных и по крайней мере талантом и красотою обращения достойных принадлежать высшему обществу. Хотя Ярослав Ильич имел чрезвычайно сладенький тенор, но даже в разговорах с искреннейшими друзьями, в настрое его голоса проглядывало что-то необыкновенно светлое, мо-

гучее и повелительное, не терпящее никаких отлагательств, что было, может быть, следствием привычки.

— Каким образом? — вскрикнул Ярослав Ильич с выражением искреннейшей, восторженной радости.

— Я здесь живу.

— Давно ли? — продолжал Ярослав Ильич, подымая ноту все выше и выше. — И я не знал этого! Но я с вами сосед! Я теперь уже в здешней части. Я уже месяц как воротился из Рязанской губернии. Поймал же вас, старинный и благороднейший друг! — И Ярослав Ильич рассмеялся добродушнейшим образом.

— Сергеев! — закричал он вдохновенно. — Жди меня у Тарасова; да чтоб без меня не шевелили кулей. Да турни олсуфьевского дворника; скажи, чтоб тот же час явился в контору. Я приду через час...

Наскоро отдавая кому-то этот приказ, деликатный Ярослав Ильич взял Ордынова под руку и повел в ближайший трактир.

— Не успокоюсь без того, пока не перебросим двух слов наедине после такой долгой разлуки. Ну, что ваши занятия? — прибавил он почти благоговейно и таинственно понизив голос. — Всегда в науках?

— Да, я по-прежнему, — отвечал Ордынов, у которого мелькнула одна светлая мысль.

— Благородно, Василий Михайлович, благородно! — Тут Ярослав Ильич крепко пожал руку Ордынова. — Вы будете украшением нашего общества. Подай вам Господь счастливого пути на вашем поприще... Боже! Как я рад, что вас встретил! Сколько раз я вспоминал об вас, сколько раз говорил: где-то он, наш добрый, великодушный, остроумный Василий Михайлович?

Они заняли особую комнату. Ярослав Ильич заказал закуску, велел подать водки и с чувством взглянул на Ордынова.

— Я много читал без вас, — начал он робким, немного вкрадчивым голосом. — Я прочел всего Пупкина...

Ордынов рассеянно посмотрел на него.

— Удивительно изображение человеческой страсти-с. Но прежде всего позвольте мне быть вам благодарным. Вы так много сделали для меня благородством внушений справедливого образа мыслей...

— Помилуйте!

— Нет, позвольте-с. Я всегда люблю воздать справедливость и горжусь, что по крайней мере хоть это чувство не замолкло во мне.

— Помилуйте, вы несправедливы к себе, и я, право...

— Нет, совершенно справедлив-с, — возразил с необыкновенным жаром Ярослав Ильич. — Что я такое в сравнении с вами-с? Не правда ли?

— Ах, боже мой!

— Да-с...

Тут последовало молчание.

— Следуя вашим советам, я прервал много грубых знакомств и смягчил отчасти грубость привычек, — начал опять Ярослав Ильич несколько робким и вкрадчивым голосом. — В свободное от должности время большею частию сижу дома; по вечерам читаю какую-нибудь полезную книгу и... у меня одно желание, Василий Михайлович, приносить хоть посильную пользу отечеству...

— Я всегда считал вас за благороднейшего человека, Ярослав Ильич.

— Вы всегда приносите бальзам... благородный молодой человек...

Ярослав Ильич горячо пожал руку Ордынову.

— Вы не пьете? — заметил он, немного утишив свое волнение.

— Не могу; я болен.

— Больны? да, в самом деле! Давно ли, как, каким образом вы изволили заболеть? Угодно, я скажу... какой медик вас лечит? Угодно, я сейчас скажу нашему частному доктору. Я сам, лично, к нему побегу. Искуснейший человек!

Ярослав Ильич уже брался за шляпу.

— Покорно благодарю. Я не лечусь и не люблю лекарей...

— Что вы? можно ли этак? Но это искуснейший человек, — продолжал Ярослав Ильич, умоляя, — намерен, — но позвольте вам это рассказать, дорогой Василий Михайлович, — намерен приходит один бедный слесарь: «Я вот, говорит, наколол себе руку моим орудием; излечите меня...» Семен Пафнутьич, видя, что несчастному угрожает антонов огонь, принял меру отрезать зараженный член. Он сделал это при мне. Но это было так сделано, таким благо... то есть таким восхитительным образом, что, признаюсь, если б не сострадание к страждущему человечеству, то было бы приятно посмотреть так просто, из любопытства-с. Но где и как изволили заболеть?

— Переезжая на квартиру... Я только что встал.

— Но вы еще очень нездоровы, и вам бы не следовало выходить. Стало быть, вы уже не там, где прежде, живете? Но что побудило вас?

— Моя хозяйка уехала из Петербурга.

— Домна Савишна? Неужели?.. Добрая, истинно благородная старушка! Знаете ли? Я чувствовал к ней почти сыновнее уважение. Что-то возвышенное прадедовских лет светилось в этой почти отжившей жизни; и, глядя на нее, как будто видишь перед собой воплощение нашей седой, величавой старинушки... то есть из этого... что-то тут, знаете, этак поэтическое!.. — заключил Ярослав Ильич, совершенно оробев и покраснев до ушей.

— Да, она была добрая женщина.

— Но позвольте узнать, где вы теперь изволили поселиться?

— Здесь, недалеко, в доме Кошмарова.

— Я с ним знаком. Величавый старик! Я с ним, смею сказать, почти искренний друг. Благородная старость!

Уста Ярослава Ильича почти дрожали от радости умиления. Он спросил еще рюмку водки и трубку.

— Сами по себе нанимаете?

— Нет, у жильца.

— Кто таков? Может быть, я тоже знаком.

— У Мурина, мещанина; старик высокого роста...

— Мурин, Мурин; да, позвольте-с, это на заднем дворе, над гробовщиком?

— Да, да, на самом заднем дворе.

— Гм... вам покойно жить-с?

— Да я только что переехал.

— Гм... я только хотел сказать, гм... Впрочем, но вы не заметили ли чего особенного?

— Право...

— То есть я уверен, что вам будет жить у него хорошо, если вы останетесь довольны помещением... я и не к тому говорю, готов предупредить; но, зная ваш характер... Как вам показался этот старик мещанин?

— Он, кажется, совсем больной человек.

— Да, он очень страждущ... Но вы такого ничего не заметили? Вы говорили с ним?

— Очень мало; он такой нелюдимый и желчный...

— Гм... — Ярослав Ильич задумался.

— Несчастный человек! — сказал он, помолчав.

— Он?

— Да, несчастный и вместе с тем до невероятности странный и занимательный человек. Впрочем, если он вас не беспокоит... Извините, что я обратил внимание на такой предмет, но я любопытствовал...

— И, право, возбудили и мое любопытство... Я бы очень желал знать, кто он таков. К тому же я с ним живу...

— Видите ли-с: говорят, этот человек был прежде очень богат. Он торговал, как вам, вероятно, удавалось слышать. По разным несчастным обстоятельствам он обеднел; у него в бурю разбило несколько барок с грузом. Завод, вверенный, кажется, управлению близкого и любимого родственника, тоже подвергся несчастной участи и сгорел, причем в пламени пожара погиб и сам его родственник. Согласитесь, потеря ужасная! Тогда Мурин, рассказывают, впал в плачевное уныние; стали опасаться за его рассудок, и действительно, в одной ссоре с другим купцом, тоже владельцем барок, ходивших по Волге, он вдруг выказал себя с такой странной и неожиданной точки зрения, что все происшедшее не иначе отнесли, как к сильному его помешательству,

чему и я готов верить. Я подробно слышал о некоторых его странностях; наконец вдруг случилось одно очень странное, так сказать, роковое обстоятельство, которое уж никак нельзя объяснить иначе, как враждебным влиянием прогневанной судьбы.

— Какое? — спросил Ордынов.

— Говорят, что в болезненном припадке сумасшествия он посягнул на жизнь одного молодого купца, которого прежде чрезвычайно любил. Он был так поражен, когда очнулся после припадка, что готов был лишиться себя жизни: так по крайней мере рассказывают. Не знаю наверно, что произошло за этим, но известно то, что он находился несколько лет под покаянием... Но что с вами, Василий Михайлович, не утомляет ли вас мой простой рассказ?

— О нет, ради бога... Вы говорите, что он был под покаянием; но он не один.

— Не знаю-с. Говорят, что был один. По крайней мере никто другой не замешан в том деле. А впрочем, не слыхал о дальнейшем; знаю только...

— Ну-с.

— Знаю только, — то есть я собственно ничего особенного не имел в мыслях прибавить... я хочу только сказать, если вы находите в нем что-то необыкновенное и выходящее из обыкновенного уровня вещей, то все это произошло не иначе, как следствием бед, обрушившихся на него одна за другою...

— Да, он такой богомольный, большой святоша.

— Не думаю, Василий Михайлович; он столько пострадал; мне кажется, он чист своим сердцем.

— Но ведь теперь он не сумасшедший; он здоров.

— О нет, нет; в этом я вам могу поручиться, готов присягнуть; он в полном владении всех своих умственных способностей. Он только, как вы справедливо заметили мельком, чрезвычайно чудной и богомольный. Очень даже разумный человек. Говорит бойко, смело и очень хитро-с. Еще виден след прошлой, бурной жизни на лице его-с. Любопытный человек-с и чрезвычайно начитанный.

— Он, кажется, читает всё священные книги?

— Да-с, он мистик-с.

— Что?

— Мистик. Но я вам говорю это по секрету. По секрету скажу вам еще, что за ним был некоторое время сильный присмотр. Этот человек имел ужасное влияние на приходивших к нему.

— Какое же?

— Но вы не поверите; видите ли-с: тогда еще он не жил в здешнем квартале; Александр Игнатьич, почетный гражданин, человек сановитый и пользующийся общим уважением, ездили к нему с каким-то поручиком из любопытства. Приезжают они к нему; их принимают,

и странный человек начинает им вглядываться в лица. Он обыкновенно вглядывался в лица, если соглашался быть полезным; в противном случае отсылал приходящих назад, и даже, говорят, весьма неучтиво. Спрашивает он их: что вам угодно, господа? Так и так, отвечает Александр Игнатьич: дар ваш может сказать вам это и без нас. Пожалуйте ж, говорит, со мной в другую комнату; тут он назначил именно того из них, который до него имел надобность. Александр Игнатьич не рассказывал, что с ним было потом, но он вышел от него бледный, как платок. То же самое случилось и с одной знатной дамой высшего общества: она тоже вышла от него бледна, как платок, вся в слезах и в изумлении от его предсказания и красноречия.

— Странно. Но теперь он не занимается этим?

— Строжайше запрещено-с. Были чудные примеры-с. Один молодой корнет, цвет и надежда высшего семейства, глядя на него, усмехнулся. «Что ты смеешься? — сказал, рассердившись, старик. — Через три дня ты сам будешь вот что!» — и он сложил накрест руки, означая таким знаком труп мертвеца.

— Ну?

— Не смею верить, но, говорят, предсказание сбылось. Он имеет дар, Василий Михайлович... Вы изволили улыбнуться на мой простодушный рассказ. Знаю, что вы далеко упредали меня в просвещении; но я верю ему: он не шарлатан. Сам Пушкин упоминает о чем-то подобном в своих сочинениях.

— Гм. Не хочу вам противоречить. Вы, кажется, сказали, что он живет не один.

— Я не знаю... с ним, кажется, дочь его.

— Дочь?

— Да-с, или, кажется, жена его; я знаю, что живет с ним какая-то женщина. Я видел мельком и внимания не обратил.

— Гм. Странно...

Молодой человек впал в задумчивость, Ярослав Ильич — в нежное созерцание. Он был растроган и тем, что видел старого друга, и тем, что удовлетворительно рассказал интереснейшую вещь. Он сидел, не спуская глаз с Василья Михайловича и потягивая из трубки; но вдруг вскочил и засуетился.

— Целый час прошел, а я и забыл! Дорогой Василий Михайлович, еще раз благодарю судьбу за то, что свела нас вместе, но мне пора. Дозволите ли мне посетить вас в вашем ученом жилище?

— Сделайте одолжение, буду вам очень рад. Навещу и сам вас, когда выпадет время.

— Верить ли приятному известию? Обяжете, несказанно обяжете! Не поверите, в какой восторг вы меня привели!

Они вышли из трактира. Сергеев уже летел им навстречу и скороговоркой рапортовал Ярославу Ильичу, что Вильм Емельянович

изволят проезжать. Действительно, в перспективе показалась пара лихих саврасок, впряженных в лихие пролетки. Особенно замечательная была необыкновенная пристяжная. Ярослав Ильич сжал, словно в тисках, руку лучшего из друзей своих, приложился к шляпе и пустился встречать налетавшие дрожки. Дорогою он раза два обернулся и прощальным образом кивнул головою Ордынову.

Ордынов чувствовал такую усталость, такое изнеможение во всех членах, что едва волочил ноги. Кое-как добрался он до дому. В воротах его опять встретил дворник, прилежно наблюдавший все его прощание с Ярославом Ильичом, и еще издали сделал ему какой-то пригласительный знак. Но молодой человек прошел мимо. В дверях квартиры он плотно столкнулся с маленькой седенькой фигуркой, выходившей, потупив очи, от Мурина.

— Господи, прости мои прегрешения! — прошептала фигурка, отскочив в сторону с упрямостью пробки.

— Не ушиб ли я вас?

— Нет-с, низжайше благодарю за внимание... О, господи, господи!

Тихий человек, кряхтя, охая и нашептывая что-то назидательное себе под нос, бережно пустился по лестнице. Это был хозяин дома, которого так испугался дворник. Тут только Ордынов вспомнил, что видел его в первый раз здесь же, у Мурина, когда переезжал на квартиру.

Он чувствовал, что был раздражен и потрясен; он знал, что фантазия и впечатлительность его напряжены до крайности, и решил не доверять себе. Мало-помалу он впал в какое-то оцепенение. В грудь его залегло какое-то тяжелое, гнетущее чувство. Сердце его ныло, как будто все изъязвленное, и вся душа была полна глухих, неиссякаемых слез.

Он опять припал на постель, которую она постлала ему, и стал снова слушать. Он слышал два дыхания: одно тяжелое, болезненное, прерывистое, другое тихое, но неровное и как будто тоже взволнованное, как будто там билось сердце одним и тем же стремлением, одною и тою же страстью. Он слышал порою шум ее платья, легкий шелест ее тихих, мягких шагов, и даже этот шелест ноги ее отдавался глухою, но мучительно-сладостною болью в его сердце. Наконец, он как будто расслушал рыдания, мятежный вздох и, наконец, опять ее молитву. Он знал, что она стоит на коленях перед образом, ломая руки в каком-то иступленном отчаянии!.. Кто же она? За кого она просит? Какою безвыходною страстью смущено ее сердце? Отчего оно так болит и тоскует и выливается в таких жарких и безнадежных слезах?..

Он начал припоминать ее слова. Все, что она говорила ему, еще звучало в ушах его, как музыка, и сердце любовно отдавалось глухим, тяжелым ударом на каждое воспоминание, на каждое набожно повторенное ее слово... На миг мелькнуло в уме его, что он видел все это

во сне. Но в тот же миг весь состав его изныл в замирающей тоске, когда впечатление ее горячего дыхания, ее слов, ее поцелуя наклеилось снова в его воображении. Он закрыл глаза и забылся. Где-то пробили часы; становилось поздно; падали сумерки.

Ему вдруг показалось, что она опять склонилась над ним, что глядит в его глаза своими чудно-ясными глазами, влажными от сверкающих слез безмятежной, светлой радости, тихими и ясными, как бирюзовый нескончаемый купол неба в жаркий полдень. Таким торжественным спокойствием сияло лицо ее, таким обетованием нескончаемого блаженства теплилась ее улыбка, с таким сочувствием, с таким младенческим увлечением преклонилась она на плечо его, что стон вырвался из его обессиленной груди от радости. Она хотела ему что-то сказать; она ласково что-то проверяла ему. Опять как будто сердце пронзающая музыка поразила слух его. Он жадно впивал в себя воздух, нагретый, наэлектризованный ее близким дыханием. В тоске он простер свои руки, вздохнул, открыл глаза... Она стояла перед ним, нагнувшись к лицу его, вся бледная, как от испуга, вся в слезах, вся дрожа от волнения. Она что-то говорила ему, об чем-то молила его, складывая и ломая свои полюбленные руки. Он обвинил ее в своих объятиях, она вся трепетала на его груди...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Что ты? что с тобою? — говорил Ордынов, очнувшись совсем, все еще сжимая ее в своих крепких и горячих объятиях. — Что с тобой, Катерина? что с тобою, любовь моя?

Она тихо рыдала, потупив глаза и пряча разгоревшееся лицо у него на груди. Долго еще она не могла говорить и вся дрожала, как будто в испуге.

— Не знаю, не знаю, — проговорила она, наконец, едва слышным голосом, задыхаясь и почти не выговаривая слов, — не помню, как и к тебе зашла я сюда... — Тут она еще крепче, еще с большим стремлением прижалась к нему и в неудержимом, судорожном чувстве целовала ему плечо, руки, грудь; наконец, как будто в отчаянье, закрылась руками, припала на колени и скрыла в его коленях свою голову. Когда же Ордынов, в невыразимой тоске, нетерпеливо приподнял и посадил ее возле себя, то целым заревом стыда горело лицо ее, глаза ее плакали о помиловании, и насильно пробивавшаяся на губе ее улыбка едва силилась подавить неудержимую силу нового ощущения. Теперь она была как будто снова чем-то испугана, недоверчиво отталкивала его рукой, едва взглядывала на него и отвечала на его ускоренные вопросы, потупив голову, боязливо и шепотом.

— Ты, может быть, видела страшный сон, — говорил Ордынов, — может быть, тебе привиделось что-нибудь... да? Может быть, *он* испугал тебя... Он в бреду и без памяти... Может быть, он что-нибудь говорил, что не тебе было слушать?.. Ты слышала что-нибудь? да?

— Нет, я не спала, — отвечала Катерина, с усилием подавляя свое волнение. — Сон и не шел ко мне. Он все молчал и только раз позвал меня. Я подходила, окликала его, говорила ему; мне стало страшно; он не просыпался и не слышал меня. Он в тяжелом недуге, подай Господь ему помощи! Тогда мне на сердце стала тоска западать, горькая тоска! Я ж все молилась, все молилась, и вот это и нашло на меня.

— Полно, Катерина, полно, жизнь моя, полно! Это ты вчера испугалась...

— Нет, я не пугалась вчера!..

— Бывает это с тобою другой раз?

— Да, бывает. — И она вся задрожала и опять в испуге стала прижиматься к нему, как дитя. — Видишь, — сказала она, прерывая рыдания, — я не напрасно пришла к тебе, не напрасно, тяжело было одной, — повторяла она, благодарно сжимая его руки. — Полно же, полно о чужом горе слезы ронять! Прибереги их на черный день, когда самому одинокому тяжело будет и не будет с тобой никого!.. Слушай, была у тебя твоя любя?

— Нет... до тебя я не знал ни одной...

— До меня... ты меня своей любовью зовешь?

Она вдруг посмотрела на него, как будто с удивлением, что-то хотела сказать, но потом утихла и потупилась. Мало-помалу все лицо ее снова зарделось внезапно запыхавшим румянцем; ярче, сквозь забытые, еще не остывшие на ресницах слезы, блеснули глаза, и видно было, что какой-то вопрос шевелился на губах ее. С стыдливой лукавством взглянула она раза два на него и потом вдруг снова потупилась.

— Нет, не бывать мне твоей первой любовью, — сказала она, — нет, нет, — повторяла она, покачивая головою, задумавшись, тогда как улыбка опять тихо прокрадывалась по лицу ее, — нет, — сказала она, наконец, рассмеявшись, — не мне, родной, быть твоей любушкой.

Тут она взглянула на него; но столько грусти отразилось вдруг на лице ее, такая безвыходная печаль поразила разом все черты ее, так неожиданно закипело изнутри, из сердца ее отчаяние, что непонятное, болезненное чувство сострадания к горю неведомому захватило дух Ордынова, и он с невыразимым мучением глядел на нее.

— Слушай, что я скажу тебе, — говорила она голосом, пронзающим сердце, сжав его руки в своих руках, усиливаясь подавить свои рыдания. — Слушай меня хорошо, слушай, радость моя! Ты укроти свое сердце и не люби меня так, как теперь полюбил. Тебе легче будет, сердцу станет легче и радостнее, и от лютого врага себя сбережешь, и любя-сестрицу себе наживешь. Буду к тебе приходить, коль захочешь, миловать тебя буду и стыда на себя не возьму, что спозналась с тобой. Была же с тобою два дня, как лежал ты в злом недуге! Спознай сестрицу! Недаром же мы братались с тобой, недаром же я за тебя Богородицу слезно молила! другой такой не нажить тебе! Мир изойдешь кругом, поднебесную узнаешь — не найти тебе другой такой любви, коли любви твое сердце просит. Горячо тебя полюблю, все, как теперь, любить буду, и за то полюблю, что душа твоя чистая, светлая, насквозь видна; за то, что как я взглянула впервой на тебя, так тотчас опознала, что ты моего дома гость, желанный гость и недаром к нам напросился; за то полюблю, что, когда глядишь, твои

глаза любят и про сердце твое говорят, и когда скажут что, так я тотчас же обо всем, что ни есть в тебе, знаю, и за то тебе жизнь отдать хочется на твою любовь, добрую волюшку, затем, что сладко быть и рабыней тому, чье сердце нашла... да жизнь-то моя не моя, а чужая, и волюшка связана! Сестрицу ж возьми и сам будь мне брат, и меня в свое сердце прими, когда опять тоска, злая немочь нападет на меня; только сам сделай так, чтоб мне стыда не было к тебе приходить и с тобой долгую ночь, как теперь, просидеть. Слышал меня? Открыл ли мне сердце свое? Взял ли в разум, что я тебе говорила?.. — Она хотела еще что-то сказать, взглянула на него, положила на плечо ему свою руку и, наконец, в бессилии припала к груди его. Голос ее замер в судорожном, страстном рыдании, грудь волновалась глубоко, и лицо вспыхнуло, как заря вечерняя.

— Жизнь моя! — прошептал Ордынов, у которого зрение помутилось и дух занялся. — Радость моя! — говорил он, не зная слов своих, не помня их, не понимая себя, трепеща, чтоб одним дуновением не разрушить обаяния, не разрушить всего, что было с ним и что скорее он принимал за видение, чем за действительность: так отуманилось все перед ним! — Я не знаю, не понимаю тебя, я не помню, что ты мне теперь говорила, разум тускнеет мой, сердце ноет в груди, владычица моя!..

Тут голос его опять пресекся от волнения. Она все крепче, все теплее, горячее прижималась к нему. Он привстал с места и, уже не сдерживая себя более, разбитый, обессиленный восторгом, упал на колени. Рыдания судорожно, с болью прорвались, наконец, из груди его, и пробившийся прямо из сердца голос задрожал, как струна, от всей полноты неведомого восторга и блаженства.

— Кто ты, кто ты, родная моя? откуда ты, моя голубушка? — говорил он, силясь подавить свои рыдания. — Из какого неба ты в мои небеса залетела? Точно сон кругом меня; я верить в тебя не могу. Не укоряй меня... дай мне говорить, дай мне все, все сказать тебе!.. Я долго хотел говорить... Кто ты, кто ты, радость моя?.. Как ты нашла мое сердце? Расскажи мне, давно ли ты сестрица моя?.. Расскажи мне все про себя, где ты была до сих пор, — расскажи, как звали место, где ты жила, что ты там полюбила сначала, чем рада была и о чем тосковала?.. Был ли там тепел воздух, чисто ли небо было?.. кто тебе были милые, кто любили тебя до меня, к кому там впервые твоя душа запросялась?.. Была ль у тебя мать родная, и она ль тебя дитятей лелеяла, или, как я, одинокая, ты на жизнь оглянулась? Скажи мне, всегда ль ты была такова? Что снилось, о чем гадала ты вперед, что сбылось и что не сбылось у тебя — все скажи... По ком заняло первый раз твое девичье сердце и за что ты его отдала? Скажи, что же мне отдать тебе за него, что мне отдать тебе за тебя?.. Скажи мне, любушка, свет мой, сестрица моя, скажи мне, чем же мне твое сердце нажить?..

Тут голос его снова иссяк, и он склонил голову. Но когда поднял глаза, то немой ужас оледенил его всего разом и волосы встали дыбом на голове его.

Катерина сидела бледная, как полотно. Она неподвижно смотрела в воздух, губы ее были сини, как у мертвой, и глаза заволоклись немой, мучительной мукой. Она медленно привстала, ступила два шага и с пронзительным воплем упала пред образом... Отрывистые несвязные слова вырывались из груди ее. Она лишилась чувств. Ордынов, весь потрясенный страхом, поднял ее и донес до своей кровати; он стоял над нею, не помня себя. Спустя минуту она открыла глаза, приподнялась на постели, осмотрелась кругом и схватила его руку. Она привлекла его к себе, силилась что-то прошептать все еще бледными губами, но голос все еще изменял ей. Наконец она разразилась градом слез; горячие капли жгли похолодевшую руку Ордынова.

— Тяжело, тяжело мне теперь, час мой приходит последний! — проговорила она, наконец, тоскуя в безвыходной муке.

Она силилась еще что-то проговорить, но костенелый язык ее не мог произнести ни одного слова. С отчаянием глядела она на Ордынова, не понимавшего ее. Он нагнулся к ней ближе и вслушивался... Наконец он услышал, как она прошептала явственно:

— Я испорчена, меня испортили, погубили меня!

Ордынов поднял голову и с диким изумлением взглянул на нее. Какая-то безобразная мысль мелькнула в уме его. Катерина видела судорожное, болезненное сжатие его лица.

— Да! испортили, — продолжала она, — меня испортил злой человек, — *он*, погубитель мой!.. Я душу ему продала... Зачем, зачем об родной ты помянул? что тебе было мучить меня? Бог тебе, бог тебе судья!..

Через минуту она заплакала; сердце Ордынова билось и ныло в смертной тоске.

— Он говорит, — шептала она сдерживаемым, таинственным голосом, — что когда умрет, то придет за моей грешной душой... Я его, я ему душой продалась... Он мучил меня, он мне в книгах читал... На, смотри, смотри его книгу! вот его книга. Он говорит, что я сделала смертный грех... Смотри, смотри...

И она показывала ему книгу; Ордынов не заметил, откуда взялась она. Он машинально взял ее, всю писанную, как древние раскольничьи книги, которые ему удавалось прежде видеть. Но теперь он был не в силах смотреть и сосредоточить внимание свое на чем-нибудь другом. Книга выпала из рук его. Он тихо обнимал Катерину, стараясь привести ее в разум.

— Полно, полно! — говорил он. — Тебя испугали; я с тобою; отдохни со мною, родная, любовь моя, свет мой!

— Ты не знаешь ничего, ничего! — говорила она, крепко сжимая его руки. — Я такая всегда!.. Я все боюсь... Полно, полно тебе меня мучить!..

— Я тогда к нему иду, — начала она через минуту, переводя дух. — Иной раз он просто своими словами меня заговаривает, другой раз берет свою книгу, самую большую, и читает надо мной. Он все грозное, суровое такое читает! Я не знаю, что, и понимаю не всякое слово; но меня берет страх, и когда я вслушиваюсь в его голос, то словно это не он говорит, а кто-то другой, недобрый, кого ничем не умягчишь, ничем не замолишь, и тяжело-тяжело станет на сердце, горит оно... Тяжелей, чем когда начиналась тоска!

— Не ходи к нему! Зачем же ты ходишь к нему? — говорил Ордынов, едва сознавая слова свои.

— Зачем я к тебе пришла? Спроси — тоже не знаю... А он мне все говорит: молись, молись! Иной раз я встаю в темную ночь и молюсь долго, по целым часам; часто и сон меня клонит; но страх все будит, все будит меня, и мне все чудится тогда, что гроза кругом меня собирается, что худо мне будет, что разорвут и затерзают меня недобрые, что не замолить мне угодников и что не спасут они меня от лютого горя. Вся душа разрывается, словно распяться все тело хочет от слез... Тут я опять стану молиться, и молюсь, и молюсь до той поры, пока Владычица не посмотрит на меня с иконы любовнее. Тогда я встаю и отхожу на сон, как убитая; иной раз и засну на полу, на коленях пред иконой. Тогда, случится, он проснется, подзовет меня, начнет меня голубить, ласкать, утешать, и тогда уж мне и легче становится, и приди хоть какая беда, я уж с ним не боюсь. Он властен! Велико его слово!

— Но какая же беда, какая ж беда у тебя?.. — И Ордынов ломал руки в отчаянии.

Катерина страшно побледнела. Она смотрела на него, как приговоренная к смерти, не чая помилования.

— Меня?.. я дочь проклятая, я душегубка; меня мать прокляла! Я родную мать загубила!..

Ордынов безмолвно обнял ее. Она трепетно прижалась к нему. Он чувствовал, как судорожная дрожь пробежала по всему ее телу, и, казалось, душа ее расставалась с телом.

— Я ее в сырую землю зарыла, — говорила она вся в тревоге своих воспоминаний, вся в видениях своего безвозвратно пропавшего, — я давно хотела говорить, он все заказывал мне молением, укором и словом гневливым, а порой сам на меня же подымет тоску мою, точно мой враг и супостат. А мне все — как и теперь ночью — все приходит на ум... Слушай, слушай! Это давно уже было, очень давно, я и не помню когда, а все как будто вчера передо мною, словно сон вчерашний, что сосал мне сердце всю ночь. Тоска надвое время длиннит. Сядь, сядь здесь возле меня: я все мое горе тебе расскажу; разрази меня, проклятую, проклятием матерним... Я тебе жизнь мою предаю...

Ордынов хотел остановить ее, но она сложила руки, моля его любовью на внимание, и потом снова, еще с большей тревогой начала

говорить. Рассказ ее был бессвязен, в словах слышалась буря душевная, но Ордынов все понимал, затем что жизнь ее стала его жизнью, горе ее — его горем, и затем что враг его уже въявь стоял перед ним, воплощался и рос перед ним в каждом ее слове и как будто с неистощимой силой давил его сердце и ругался над его злобой. Кровь его волновалась, заливала сердце и путала мысли. Злой старик его сна (в это верил Ордынов) был въявь перед ним.

— Вот такая же ночь была, — начала говорить Катерина, — только грознее, и ветер выл по нашему лесу, как никогда еще не удавалось мне слышать... или уж в эту ночь началась погибель моя! Под нашим окном дуб сломило, а к нам приходит старый, седой старик нищий, и он говорит, что еще малым дитей помнил этот дуб и что он был такой же, как и тогда, когда ветер осилил его... В эту же ночь — как теперь все помню! — у отца барки на реке бурей разбило, и он, хоть и немочь ломала его, поехал на место, как только прибежали к нам на завод рыбаки. Мы с матушкой сидели одни, я дремала, она об чем-то грустила и горько плакала... да, я знала о чем! Она только что хворала, была бледна и все говорила мне, чтоб я ей саван готовила... Вдруг слышен в полночь стук у ворот; я вскочила, кровь залила мне сердце; матушка вскрикнула... я не взглянула на нее, я боялась, взяла фонарь, пошла сама отпирать ворота... Это был он! Мне стало страшно, затем что мне всегда страшно было, как он приходил, и с самого детства так было, как только память во мне родилась! У него тогда еще не было белого волоса; борода его была, как смоль, черна, глаза горели, словно угли, и ни разу до той поры он ласково на меня не взглянул. Он спросил: «Дома ли мать?» Я затворяю калитку, говорю, что «отца нету дома». Он сказал: «знаю» и вдруг глянул на меня, так глянул... первый раз он так глядел на меня. Я шла, а он все стоит. «Что ты не идешь?» — «Думу думаю». Мы уж в светелку всходим. «А зачем ты сказала, что отца нету дома, когда я спрашивал, дома ли мать?» Я молчу... Матушка обмерла — к нему бросилась... он чуть взглянул, — я все видела. Он был весь мокрый, издрогший: буря гнала его двадцать верст, — а откуда и где он бывает, ни я, ни матушка никогда не знали; мы его уж девять недель не видали... бросил шапку, скинул рукавицы — образам не молится, хозяевам не кланяется — сел у огня...

Катерина провела рукою по лицу, как будто что-то гнело и давило ее, но через минуту опять подняла голову и опять начала:

— Он стал с матерью говорить по-татарски. Мать умела, я не понимала ни слова. Другой раз, как он приходил, меня отсылали; а теперь мать родному детищу слова сказать не посмела. Нечистый купил мою душу, и я, сама себе хвалясь, смотрела на матушку. Вижу, на меня смотрят, обо мне говорят; она стала плакать; вижу, он за нож хватается, а уж не один раз, с недавнего времени, он при мне за нож хватался, когда с матерью говорил. Я встала и схватилась за его пояс, хотела у него нож его вырвать

нечистый. Он скрипнул зубами, вскрикнул и хотел меня отбить — в грудь ударил, да не оттолкнул. Я думала, тут и умру, глаза заволокло, падаю на-земь — да не вскрикнула. Смотрю, сколько сил было видеть, снимает он пояс, засучивает руку, которой ударил меня, нож вынимает, мне дает: «На, режь ее прочь, натешься над ней, во сколько обиды моей к тебе было, а я, гордый, зато до земли тебе поклонюсь». Я нож отложила: кровь меня душишь начала, на него не глянула, помню, усмехнулась, губ не разжимая, да прямо матушке в печальные очи смотрю, грозно смотрю, а у самой смех с губ не сходит бесстыдный; а мать сидит бледная, мертвая...

Ордынов с напряженным вниманием слушал несвязный рассказ; но мало-помалу тревога ее стихла на первом порыве; речь стала покойнее; воспоминания увлекли совсем бедную женщину и разбили тоску ее по всему своему безбрежному морю.

— Он взял шапку не кланяясь. Я опять взяла фонарь его провожать, вместо матушки, которая, хоть больная сидела, а хотела за ним идти. Дошли мы с ним до ворот: я молчу, калитку ему отворила, собак прогнала. Смотрю — снимает он шапку и мне поклон. Вижу, идет к себе за пазуху, вынимает коробок красный, сафьянный, задвижку отводит; смотрю: бурмицкие зерна — мне на поклон. «Есть, говорит, у меня в пригороде красавица, ей вез на поклон, да не к ней завез; возьми, красная девица, полелей свою красоту, хоть ногой растопчи, да возьми». Я взяла, а ногой топтать не хотела, чести много не хотела давать, а взяла, как ехидна, не сказала ни слова на что. Пришла и поставила на стол перед матерью — для того и брала. Родимая с минуту молчала, вся, как платок, бела, говорить со мной словно боится. «Что ж это, Катя?» А я отвечаю: «Тебе, родная, купец приносил, я не ведаю». Смотрю, у ней слезы выдавились, дух захватило. «Не мне, Катя; не мне, дочка злая, не мне». Помню, так горько, так горько сказала, словно всю душу выплакала. Я глаза подняла, хотела ей в ноги броситься, да вдруг окаянный подсказал: «Ну, не тебе, верно батюшке; ему передам, коль воротится; скажу: купцы были, товар позабыли...» Тут как всплечет она, родная моя... «Я сама скажу, что за купцы приезжали и за каким товаром приехали... Уж я скажу ему, чья ты дочь, беззаконница! Ты же не дочь мне теперь, ты мне змея подколодная! Ты детище мое проклятое!» Я молчу, слезы не идут у меня... ах! словно все во мне вымерло... Пошла я к себе в светлицу и всю-то ноченьку бурю прослушала да под бурей свои мысли слагала.

А между тем пять дён прошло. Вот ввечеру приезжает через пять дён батюшка, хмурый и грозный, да немочь-то дорогой сломила его. Смотрю, рука у него подвязана; смекнула я, что дорогу ему враг его перешел; а враг тогда утомил его и немочь наслал на него. Знала я тоже, кто его враг, все знала. С матушкой слова не молвил, про меня не спросил, всех людей созвал, завод остановить приказал и дом от худого глаза беречь. Я почуяла сердцем в тот час, что дома у нас не-

здорово. Вот ждем, прошла ночь, тоже бурная, вьюжная, и тревога мне в душу запала. Отворила я окно — горит лицо, плачут очи, жжет сердце неутомонное; сама как в огне: так и хочется мне вон из светлицы, дальше, на край света, где молонья и буря рождаются. Грудь моя девичья ходенем ходит... вдруг, уж поздно — я как будто вздремнула, иль туман мне на душу запал, разум смутил, — слышу, стучат в окно: «Отвори!» Смотрю, человек в окно по веревке вскарабкался. Я тотчас узнала, кто в гости пожаловал, отворила окно и впустила его в светлицу свою одинокую. А был *от!* Шапки не снял, сел на лавку, запыхался, еле дух переводит, словно погоня была. Я стала в угол и сама знаю, как вся побледнела. «Дома отец?» — «Дома». — «А мать?» — «Дома и мать». — «Молчи же теперь; слышишь!» — «Слышу». — «Что?» — «Свист под окном!» — «Ну, хочешь теперь, красная девица, с недруга голову снять, батюшку родимого кликнуть, душу мою загубить? Из твоей девичьей воли не выйду; вот и веревка, вяжи, коли сердце велит за обиду свою заступиться». Я молчу. «Что ж? промолви, радость моя?» — «Чего тебе нужно?» — «А нужно мне врага уходить, с старой любой подобру-поздорову проститься, а новой, молодой, как ты, красной девице, душой поклониться...» Я засмеялась; и сама не знаю, как его нечистая речь в мое сердце дошла. «Пусти ж меня, красная девица, прогуляться вниз, свое сердце изведать, хозяевам поклон отнести». Я вся дрожу, стучу зубом об зуб, а сердце словно железо каленое. Пошла, дверь ему отворила, впустила в дом, только на пороге через силу промолвила: «На вот! возьми свои зерна и не дари меня другой раз никогда», — и сама ему коробок вослед бросила.

Тут Катерина остановилась перевести дух; она то вздрагивала, как лист, и бледнела, то кровь всходила ей в голову, и теперь, когда она остановилась, щеки ее пылали огнем, глаза блистали сквозь слезы, и тяжелое, прерывистое дыхание колебало грудь ее. Но вдруг она опять побледнела, и голос ее упал, задрожав тревожно и грустно.

— Тогда я осталась одна, и будто буря меня кругом обхватила. Вдруг слышу крик, слышу, по двору люди до завода бегут, слышу говор: «Завод горит». Я притаилась, из дома все убежали; осталась я с матушкой. Знала я, что она с жизнью расстается, третьи сутки на смертной постели лежит, знала я, окаянная дочь!.. Вдруг слышу крик под моей светлицей, слабый, словно ребенок вскрикнул, когда во сне испугается, и потом все затихло. Я задула свечу, сама леденела, закрылась руками, глянуть боюсь. Вдруг слышу крик подле меня, слышу, с завода люди бегут. Я в окно свесилась: вижу, несут батюшку мертвого, слышу, говорят меж собою: «Оступился, с лестницы в котел раскаленный упал; знать, нечистый его туда подтолкнул». Я припала, на постель; жду, сама вся замерла и не знаю, чего и кого ждала; только тяжело у меня было в этот час. Не помню, сколько ждала; помню, что меня вдруг всю колыхать начало, голове тяжело стало, глаза выедало

дымом; и рада была я, что близка моя гибель! Вдруг, слышу, кто-то меня за плечи подымает. Смотрю, сколько глядеть могу: он весь опаленный, и кафтан его, горячий на ощупь, дымится.

«За тобой пришел, красная девица; уводи ж меня от беды, как прежде на беду наводила; душу свою я за тебя сгубил. Не отмолишь мне этой ночи проклятой! Разве вместе будем молиться!» Смеялся он, злой человек! «Покажи, говорит, как пройти, чтоб не мимо людей!» Я взяла его за руку и повела за собой. Прошли мы коридор — со мной ключи были — отворила я дверь в кладовую и показала ему на окно. А окно наше в сад выходило. Он схватил меня на могучие руки, обнял и выпрыгнул со мною вон из окна. Мы побежали с ним рука в руку, долго бежали. Смотрим, густой, темный лес. Он стал слушать: «Погоня, Катя, за нами! погоня за нами, красная девица, да не в этот час нам животы свои положить! Поцелуй меня, красная девица, на любовь да на вечное счастье!» — «А отчего у тебя руки в крови?» — «Руки в крови, моя родимая? а ваших собак порезал; разлаялись больно на позднего гостя. Пойдем!» Мы опять побежали; видим, на тропинке батюшкин конь, узду перервал, из конюшни выбежал; знать, ему гореть не хотелось! «Садись, Катя, со мной! Бог наш нам помочь послал!» Я молчу. «Аль не хочешь? я ведь не нехристь какой, не нечистый; вот перекрещусь, коли хочешь», и тут он крест положил. Я села, прижалась к нему и забылась совсем у него на груди, словно сон какой нашел на меня, а как очнулась, вижу, стоим у широкой-широкой реки. Он слез, меня с лошади снял и пошел в тростник: там он лодку свою затаил. Мы уж садились. «Ну, прощай, добрый конь, ступай до нового хозяина, а старые все тебя покидают!» Я бросилась к коню батюшкину и крепко на разлуку обняла его. Потом мы сели, он весла взял, и мигом стало нам берегов не видать. И когда стало нам берегов не видать, смотрю, он весла сложил, и крутом, по всей воде осмотрелся.

«Здравствуй, промовил, матушка, бурная реченька, божьему люду поилица, а моя кормилица! Скажи-ка, берегла ль ты мое добро без меня, целы ль товары мои!» Я молчу, очи на грудь опустила; лицо стыдом, как полымем, пышет. А он: «Уж и все б ты взяла, бурная, ненасытная, а дала б мне обет беречь и лелеять жемчужину мою многоценную! Урони ж хоть словечко, красная девица, просияй в бурю солнцем, разгони светом темную ночь!» Говорит, а сам усмехается; жгло его сердце по мне, да усмешки его, со стыда, мне стерпеть не хотелось; хотелось слово сказать, да сробела, смолчала. «Ну, ин быть так!» — отвечает он на мою думу робкую, говорит будто с горя, самого будто горе берет. «Знать, с силы ничего не возьмешь. Бог же с тобой, спесивая, голубица моя, красная девица! Видно, сильна ко мне твоя ненависть, иль уж так не люблю я твоим светлым очам приглянулся». Слушала я, и зло меня взяло, зло с любви взяло; я сердце оспилила, промовила: «Люб иль не люб ты припшелся мне, знать, не

мне про то знать, а, верно, другой какой неразумной, бесстыжей, что светлицу свою девичью в темную ночь опозорила, за смертный грех душу свою продала да сердца своего не сдержала безумного; да знать про то, верно, моим горячим слезам да тому, кто чужой бедой воровски похваляется, над девичьим сердцем насмехается!» Сказала, да не стерпела, заплакала... Он помолчал, поглядел на меня так, что я, как лист, задрожала. «Слушай же, — говорит мне, — красная девица, — а у самого чудно очи горят, — не праздное слово скажу, а дам тебе великое слово: на сколько счастья мне подарить, на столько буду и я тебе господин, а невзлюбить когда — и не говори, слов не роняй, не трудись, а двинь только бровью своей соболиною, поведи черным глазом, мизинцем одним шевельни, и отдам тебе назад любовь твою с золотою волюшкой; только будет тут, краса моя гордая, несносимая, и моей жизни конец!» И тут вся плоть моя на его слова усмехнулась...

Тут глубокое волнение прервало было рассказ Катерины; она перевела дух, усмехнулась новой думе своей и хотела было продолжать, но вдруг сверкающий взгляд ее встретил воспаленный, прикованный к ней взгляд Ордынова. Она вздрогнула, хотела было что-то сказать, но кровь залила ей лицо... Словно в беспмятстве закрылась она руками и бросилась лицом на подушки. Все потряслось в Ордынове! Какое-то мучительное чувство, смятение безотчетное, невыносимое, разливалось как яд по всем его жилам и росло с каждым словом рассказа Катерины: безвыходное стремление, страсть жадная и невыносимая захватила думы его, мучила его чувства. Но грусть тяжелая, бесконечная в то же время все более и более давила его сердце. Минутами он хотел кричать Катерине, чтоб она замолчала, хотел броситься к ногам ее и молить своими слезами, чтоб она возвратила ему его прежние муки любви, его прежнее, безотчетное, чистое стремление, и ему жаль стало давно уже высохших слез своих. Сердце его ныло, болезненно обливаясь кровью и не давая слез уязвленной душе его. Он не понял, что говорила ему Катерина, и любовь его пугалась чувства, волновавшего бедную женщину. Он проклял страсть свою в эту минуту: она душила, томил его, и он слышал, как растопленный свинец вместо крови потек в его жилах.

— Ах, не в том мое горе, — сказала Катерина, вдруг приподняв свою голову, — что я тебе говорила теперь; не в том мое горе, — продолжала она голосом, зазвеневшим, как медь, от нового неожиданного чувства, тогда как вся душа ее разрывалась от затаившихся, безвыходных слез, — не в том мое горе, не в том мука, забота моя! Что, что мне до родимой моей, хоть и не нажить мне на всем свете другой родной матушки! что мне до того, что прокляла она меня в час свой тяжелый, последний! что мне до золотой прежней жизни моей, до теплой светлицы, до девичьей волюшки! что мне до того, что продалась я нечистому и душу мою отдала погубителю, за счастье вечный грех понесла! ах, не в том мое горе, хоть и на этом велика погибель моя!

А то мне горько и рвет мне сердце, что я рабыня его опозоренная, что позор и стыд мой самой, бесстыдной, мне люб, что люблю жадному сердцу и вспоминать свое горе, словно радость и счастье, — в том мое горе, что нет силы в нем и нет гнева за обиду свою!..

Дух занялся в груди бедной женщины, и судорожное, истерическое рыдание пресекло слова ее. Горячее, порывистое дыхание палило ее губы, грудь подымалась и опускалась глубоко, и непонятным негодованием сверкнули глаза ее. Но столько очарования озолотило лицо ее в эту минуту, таким страстным потоком чувства, такой невыносимой, неслыханной красотой задрожала каждая линия, каждый мускул его, что разом угасла черная дума и замолкла чистая грусть в груди Ордынова. Сердце его рвалось прижаться к ее сердцу и страстно в безумном волнении забыться в нем вместе, застучать в лад тою же бурею, тем же порывом неведомой страсти и хоть замереть с ним вместе. Катерина встретила помутившийся взор Ордынова и улыбнулась так, что удвоенным потоком огня обдало его сердце. Он едва помнил себя.

— Пожалей меня, пощади меня! — шептал он ей, сдерживая дрожащий свой голос, наклоняясь к ней, опершись рукою на ее плечо, и близко, близко так, что дыхание их сливалось в одно, смотря ей в глаза. — Ты сгубила меня! Я твоего горя не знаю, и душа моя смутилась... Что мне до того, об чем плачет твое сердце! Скажи, что ты хочешь... я сделаю. Пойдем же со мной, пойдем, не убей меня, не мертви меня!..

Катерина смотрела на него неподвижно; слезы высохли на горячих щеках ее. Она хотела прервать его, взяла его за руку, хотела сама что-то говорить и как будто не находила слов. Какая-то странная улыбка медленно появилась на ее губах, словно смех пробивался сквозь эту улыбку.

— Не все ж я, знать, тебе рассказала, — проговорила она, наконец, прерывистым голосом. — Еще расскажу; только будешь ли, будешь ли слушать меня, горячее сердце? Послушай сестрицу свою! Знать, мало опознал ты ее лютого горя! Хотела б я рассказать, как я с ним год прожила, да не стану... А минул год, ушел он с товарищами вниз по реке, и осталась я у названной матушки его во пристани ждать. Жду его месяц, другой — и повстречалась я в пригороде с молодым купцом, взглянула на него и вспомнила про былые годы золотые. «Любушка-сестрица! — говорит он, как два слова перемолвил со мной. — Я Алеша, твой названный суженой, нас детьми старики на словах повенчали; забыла меня, вспомни-ка, я из вашего места...» — «А что говорят обо мне в вашем месте?» — «А говорит людской толк, что ты нечестно пошла, девичий стыд позабыла, с разбойником, душегубцем спозналась», — говорит мне Алеша смеясь. — «А ты что про меня говорил?» — «Много хотел говорить, как сюда подъезжал, — и смутилось в нем сердце, — много сказать захотелось, а теперь душа у меня помертвела, как завидел тебя; сгубила ты меня! — говорит. — Купи ж и мою душу, возьми ее, хоть насмейся

над сердцем, любовью моей, красная девица. Я теперь сиротинушка, хозяин свой, и душа-то моя своя, не чужая, не продавал ее никому, как иная, что память свою загасила, а сердце не покупать стать, даром отдам, да, видно, дело оно наживное!» Я засмеялась; и не раз и не два говорил — целый месяц в усадьбе живет, бросил товары, своих отпустил, один-одинешенек. Жаль мне стало его сиротских слез. Вот и сказала я ему раз поутру: «Жди меня, Алеша, как стемнеет ночь, пониже у пристани; поедем с тобой в твое место! опостылела мне жизнь моя горемычная!» Вот ночь пришла, я узелок навязала, и душа заняла, заиграла во мне. Смотрю, входит хозяин мой неожиданно, неведомо. «Здравствуй; пойдём; на реке будет буря, а время не ждёт». Я пошла за ним; к реке подошли, а до своих было далеко плыть; смотрим: лодка и знакомый в ней гребец сидит, словно поджидает кого. «Здравствуй, Алеша, Бог в помощь тебе! Что? аль на пристани запоздал, на суда свои поспешаешь? Довези-ка, добрый человек, вот меня, да с хозяйюшкой, к своим в наше место; лодку свою я отпустил, а вплавь пойти не умею». — «Садись, — сказал Алеша, а у меня вся душа изныла, как слышала я голос его. — Садись и с хозяйюшкой; ветер для всех, а в моем терему и для вас будет место». Сели; ночь была темная, звезды попрятались, ветер завыл, встала волна, а от берега мы с версту отъехали. Все трое молчим.

«Буря! — говорит мой хозяин. — И не к добру эта буря! Такой бури я сродясь еще на реке не видал, какая теперь разыграется! Тяжело нашей лодке! не сносить ей троих!» — «Да, не сносить, — отвечает Алеша, — и один из нас, зная, лишний выходит»; говорит, а у самого голос дрожит, как струна. «А что, Алеша? знал я тебя малым дитей, братался с твоим родным батюшкой, хлеб-соль вместе водили — скажи мне, Алеша, дойдешь ли без лодки до берега, иль сгинешь ни за что, душу погубишь свою?» — «Не дойду!» — «А ты, добрый человек, как случится, не ровен час, и тебе порой водицы испить, дойдешь или нет?» — «Не дойду; тут и конец моей душеньке, не сносить меня бурной реке!» — «Слушай же ты теперь, Катеринушка, жемчужина моя многоценная! помню я одну такую же ночь, только тогда не колыхалась волна, звезды сияли и месяц светил... Хочу тебя так, спроста, спросить, не забыла ли ты?» — «Помню», — я говорю... «А как не забыла ее, так и уговора не забыла, как учил один молодец одну красную девицу волюшку свою похитить назад у немилова — а?» — «Нет, и того не забыла», — говорю, а сама ни жива ни мертва. «А не забыла! так вот теперь в лодке нам тяжело. Уж не пришло ли чье время? Скажи, родная, скажи, голубица, проворкуй нам по-голубиному свое слово ласковое»...

— Я слова моего не сказала тогда! — прошептала Катерина, бледная... Она не закончила.

— Катерина! — раздался над ними глухой, хриплый голос.

Ордынов вздрогнул. В дверях стоял Мурин. Он был едва закрыт меховым одеялом, бледен, как смерть, и смотрел на них почти обезумевшим взглядом. Катерина бледнела больше и больше и тоже смотрела на него неподвижно, как будто очарованная.

— Иди ко мне, Катерина! — прошептал больной едва слышным голосом и вышел из комнаты. Катерина все еще смотрела неподвижно в воздух, все будто бы еще старик стоял перед нею. Но вдруг кровь мгновенно опалила ее бледные щеки, и она медленно приподнялась с постели. Ордынов вспомнил первую встречу.

— Так до завтра же, слезы мои! — сказала она, как-то странно усмехаясь. — До завтра! Помни ж, на чем перестала я: «Выбирай из двух: кто люб иль не люб тебе, красная девица!» Будешь помнить, подождешь одну ночьку? — повторила она, положив ему свои руки на плечи и нежно смотря на него.

— Катерина, не ходи, не губи себя! Он сумасшедший! — шептал Ордынов, дрожа за нее.

— Катерина! — раздался голос за перегородкой.

— Что ж? зарежет небось? — отвечала, смеясь, Катерина. — Доброй ночи тебе, сердце мое ненаглядное, голубь горячий мой, братец родной! — говорила она, нежно прижав его голову к груди своей, тогда как слезы оросили вдруг лицо ее. — Это последние слезы. Переспи ж свое горе, любезный мой, проснешься завтра на радость. — И она страстно поцеловала его.

— Катерина! Катерина! — шептал Ордынов, упав перед ней на колени и пытаясь остановить ее. — Катерина!

Она обернулась, улыбаясь, кивнула ему головою и вышла из комнаты. Ордынов слышал, как она вошла к Мурину; он затаил дыхание, прислушиваясь; но ни звука не услышал он более. Старик молчал или, может быть, опять был без памяти... Он хотел было идти к ней туда, но ноги его подкашивались... Он ослабел и присел на постели...

II

Долго не мог он узнать часа, когда очнулся. Были рассвет или сумерки: в комнате все еще было темно. Он не мог означить именно, сколько времени спал, но чувствовал, что сон его был сном болезненным. Опмясь, он провел рукой по лицу, как будто снимая с себя сон и ночные видения. Но когда он хотел ступить на пол, то почувствовал, что как будто все тело его было разбито и истомленные члены отказывались повиноваться. Голова его болела и кружилась, и все тело обдавало то мелкою дрожью, то пламенем. Вместе с сознанием воротилась и память, и сердце его дрогнуло, когда в один миг пережил он воспоминанием всю прошлую ночь. Сердце его так сильно билось в ответ на его раздумье, так горячи, свежи были его ощущения, что как будто не ночь, не долгие часы,

а одна минута прошла по уходе Катерины. Он чувствовал, что глаза его еще не обсохли от слез, — или новые, свежие слезы брызнули как родник из горячей души его? И, чудное дело! ему даже сладостны были муки его, хотя он глухо слышал всем составом своим, что не вынесет более такого насилия. Была минута, когда он почти чувствовал смерть и готов был встретить ее как светлую гостью: так напряглись его впечатления, таким могучим порывом закипела по пробуждении вновь его страсть, таким восторгом обдало душу его, что жизнь, ускоренная напряженным деятельностью, казалось, готова была перерваться, разрушиться, истлеть в один миг и угаснуть навеки. Почти в эту ж минуту, как бы в ответ на тоску его, в ответ его задрожавшему сердцу, зазвучал знакомый — как та внутренняя музыка, знакомая душе человека в час радости о жизни своей, в час безмятежного счастья, — густой, серебряный голос Катерины.

Близко, возле, почти над изголовьем его, началась песня, сначала тихо и заунывно... Голос то возвышался, то опадал, судорожно замирая, словно тая про себя и нежно лелея свою же мятежную муку ненасытного, сдавленного желания, безвыходно затаенного в тоскующем сердце; то снова разливался соловьиною трелью и, весь дрожа, пламеня уже несдержимою страстию, разливался в целое море восторгов, в море могучих, беспредельных, как первый миг блаженства любви, звуков. Ордынов отличал и слова: они были просты, задушевные, сложенные давно, прямым, спокойным, чистым и ясным самому себе чувством. Но он забывал их, он слышал лишь одни звуки. Сквозь простой, наивный склад песни ему сверкали другие слова, гремевшие всем стремлением, которое наполняло его же грудь, давшие отклик сокровеннейшим, ему же неизвестным, изгибам страсти его, прозвучавшим ему же ясно, целым сознанием, о ней. И то слышался ему последний стон безвыходно замершего в страсти сердца, то радость воли и духа, разбившего цепи свои и устремившегося светло и свободно в неисходное море невозбранной любви; то слышалась первая клятва любовницы с благоуханным стыдом за первую краску в лице, с мольбами, со слезами, с таинственным, робким шепотом; то желание вакханки, гордое и радостное силой своей, без покрова, без тайны, с сверкающим смехом обводящее кругом опьяневшие очи...

Ордынов не выдержал окончания песни и встал с постели. Песня тотчас затихла.

— Доброе утро с добрым днем прошли, мой желанный! — зазвучал голос Катерины. — Добрый вечер тебе! Встань, приходи к нам, пробудись на светлую радость; ждем тебя, я да хозяин, люди всё добрые, твоей воле покорные; загаси любовью ненависть, коли все еще сердце обидой болит. Скажи слово ласковое!..

Ордынов уже вышел из комнаты на первый оклик ее, и едва поняв он, что входит к хозяевам. Перед ним отворилась дверь, и, ясна как солнце, заблестела ему золотая улыбка чудной его хозяйки. В этот миг он

не видал, не слышал никого, кроме ее. Мгновенно вся жизнь, вся радость его слились в одно в его сердце — в светлый образ его Катерины.

— Две зари прошло, — сказала она, подавая ему свои руки, — как мы попрощались с тобой; вторая гаснет теперь, посмотри в окно. Словно две зари души красной девицы, — промолвила, смеясь, Катерина, — одна, что первым стыдом лицо разрумянит, как впервинки скажется в груди одинокое девичье сердце, а другая, как забудет первый стыд красная девица, горит словно полымем, давит девичью грудь и гонит в лицо румяную кровь... Ступай, ступай в наш дом, добрый молодец! Что стоишь на пороге? Честь тебе да любовь, да поклон от хозяина!

С звонким, как музыка, смехом взяла она руку Ордынова и ввела его в комнату. Робость вошла в его сердце. Все пламя, весь пожар, пламеневший в груди его, словно истлели и угасли в один миг и на один миг; он с смущением опустил глаза и боялся смотреть на нее. Он чувствовал, что она так чудно прекрасна, что не сносить его сердцу знойного ее взгляда. Никогда еще он не видал так своей Катерины. Смех и веселье в первый раз засверкали в лице ее и иссушили грустные слезы на ее черных ресницах. Его рука дрожала в ее руке. И если б он поднял глаза, то увидел бы, что Катерина с торжествующей улыбкой приковала светлые очи к лицу его, отуманенному смущением и страстью.

— Встань же, старый! — сказала она, наконец, как будто сама только опомнившись. — Скажи гостю слово приветливое. Гость что брат родной! Встань же, непоклонный, спесивый старинушка, встань, поклонись, гостя за белые руки возьми, посади за стол!

Ордынов поднял глаза и как будто теперь лишь опомнился. Он теперь только подумал о Мурине. Глаза старика, словно потухавшие в предсмертной тоске, смотрели на него неподвижно; и с болью в душе вспомнил он этот взгляд, сверкнувший ему в последний раз из-под нависших черных, сжатых, как и теперь, тоскою и гневом бровей. Голова его слегка закружилась. Он огляделся кругом и теперь только сообразил все ясно, отчетливо. Мурин все еще лежал на постели, но он был почти одет и как будто уже вставал и выходил в это утро. Шея была обвязана, как и прежде, красным платком, на ногах были туфли. Болезнь, очевидно, прошла, только лицо все еще было страшно бледно и желто. Катерина стояла возле постели, опершись рукою на стол, и внимательно смотрела на обоих. Но приветливая улыбка не сходила с лица ее. Казалось, все делалось по ее мановению.

— Да! это ты, — сказал Мурин, приподымаясь и садясь на постели. — Ты мой жилец. Виноват я перед тобою, барин, согрешил и обидел тебя незнамо-неведомо, пошалил намеренно с ружьем. Кто ж те знал, что на тебя тоже находит черная немочь? А со мною случается, — прибавил он хриплым, болезненным голосом, хмурия брови свои и невольно отводя глаза от Ордынова. — Беда идет — не стучит в ворота, как вор подползет! Я и ей чуть ножа ономясь в грудь не

всадил... — примолвил он, кивнув головой на Катерину. — Болен я, припадок находит, ну и довольно с тебя! Садись — будешь гость!

Ордынوف все еще пристально смотрел на него.

— Садись же, садись! — крикнул старик в нетерпении. — Садись, коли ей это любо! Ишь вы побратались, единоутробные! Слюбились, словно любовники!

Ордынوف сел.

— Видишь, сестрица какая, — продолжал старик, засмеявшись и показав два ряда своих белых, целых до единого зубов. — Милуйтесь, родные мои! Хороша ль у тебя сестрица, барин? скажи, отвечай! На, смотри-ка, как щеки ее полымем пышат. Да оглянись же, почествуй всему свету красавицу! Покажи, что болит по ней ретивое!

Ордынوف нахмурил брови и злобно посмотрел на старика. Тот вздрогнул от его взгляда. Слепое бешенство закипело в груди Ордынова. Он каким-то животным инстинктом чуял близ себя врага на смерть. Он сам не мог понять, что с ним делается, рассудок отказывался служить ему.

— Не смотри! — раздался голос сзади его. Ордынوف оглянулся.

— Не смотри же, не смотри, говорю, коли бес науцает, пожалей свою любовь, — говорила, смеясь, Катерина и вдруг сзади закрыла рукою глаза его; потом тотчас же отняла свои руки и закрылась сама. Но краска лица как будто пробивалась сквозь ее пальцы. Она отняла руки и, вся горя, как огонь, попробовала светло и нетрепетно встретить их смех и любопытные взгляды. Но оба молча глядели на нее — Ордынوف с каким-то изумлением любви, как будто в первый раз такая страшная красота пронзила сердце его; старик внимательно, холодно. Ничего не выражалось на его бледном лице; только губы синели и слегка трепетали.

Катерина подошла к столу, уже не смеясь более и стала убирать книги, бумаги, чернилицу, все, что было на столе, и сложила все на окно. Она дышала скоро, прерывисто, и по временам жадно впивала в себя воздух, как будто ей сердце теснило. Тяжело, словно волна прибрежная, опускалась и вновь подымалась ее полная грудь. Она потупила глаза, и черные, смолистые ресницы, как острые иглы, заблестали на светлых щеках ее...

— Царь-девица! — сказал старик.

— Владычица моя! — прошептал Ордынوف, дрогнув всем телом. Он опомнился, заслышав на себе взгляд старика: как молния, сверкнул этот взгляд на мгновение — жадный, злой, холодно-презрительный. Ордынوف привстал было с места, но как будто невидимая сила сковала ему ноги. Он снова уселся. Порой он сжимал свою руку, как будто не доверяя действительности. Ему казалось, что кошмар его душит и что на глазах его все еще лежит страдальческий, болезненный сон. Но чудное дело! Ему не хотелось проснуться...

Катерина сняла со стола старый ковер, потом открыла сундук, вынула из него драгоценную скатерть, всю расшитую яркими шелками и золотом, и накрыла ею стол; потом вынула из шкафа старинный, прадедовский, весь серебряный поставец, поставила его на середину стола и отделила от него три серебряные чарки — хозяину, гостю и чару себе; потом важным, почти задумчивым взглядом посмотрела на старика и на гостя.

— Кто ж из нас кому люб иль не люб? — сказала она. — Кто не люб кому, тот мне люб и со мной будет пить свою чару. А мне всяк из вас люб, всяк родной: так пить всем на любовь и согласие!

— Пить да черную думу в вине топить! — сказал старик изменившимся голосом. — Наливай, Катерина!

— А ты велишь наливать? — спросила Катерина, смотря на Ордынова.

Ордынов молча подвинул свою чарку.

— Стой! У кого какая загадка и думушка, пусть по его же хотенью и сбудется! — сказал старик, подняв свою чару.

Все стукнули чарками и выпили.

— Давай же мы теперь выпьем с тобой, старина! — сказала Катерина, обращаясь к хозяину. — Выпьем, коли ласково твое сердце ко мне! выпьем за прожитое счастье, ударим поклон прожитым годам, сердцем за счастье, да любовью поклонимся! Вели ж наливать, коли горячо твое сердце ко мне!

— Винцо твое крепко, голубица моя, а сама только губки помоchiшь! — сказал старик, смеясь и подставляя вновь свою чару.

— Ну, я отхлебну, а ты пей до дна!.. Что жить, старинушка, тяжелую думу за собой волочить; а только сердце ноет с думы тяжелой! Думушка с горя идет, думушка горе зовет, а при счастье живется без думушки! Пей, старина! Утопи свою думушку!

— Много ж, знать, горя у тебя накопело, коли так на него ополчаешься! Знать, разом хочешь покончить, белая голубка моя. Пью с тобой, Катя! А у тебя есть ли горе, барин, коль позволишь спросить?

— Что есть, то есть про себя, — прошептал Ордынов, не сводя глаз с Катерины.

— Слышал, старинушка? Я и сама себя долго не знала, не помнила, а пришло время, все опознала и вспомнила; все, что прошло, ненасытной душой опять прожила.

— Да, горько, коль на бывалом одном пробиваться начнешь, — сказал старик задумчиво. — Что прошло, как вино пропито! Что в прошлом счастье? Кафтан износил, и долой...

— Новый надо! — подхватила Катерина, засмеявшись с натуги, тогда как две крупные слезинки повисли, как алмазы, на сверкнувших ресницах. — Знать, веку минутой одной не прожить, да и девичье сердце живуче, не утонешься в лад! Опознал, старина? Смотри, я в твоей чаре слезинку мою схоронила!

— А за много ль счастья ты свое горе купила? — сказал Ордынов, и голос его задрожал от волнения.

— Знать, у тебя, барин, своего много продажного! — отвечал старик, — что суеться непрощеный. — И он злобно и неслышно захотал, нагло смотря на Ордынова.

— А за что продала, то и было, — отвечала Катерина, как будто недовольным, обиженным голосом. — Одному кажется много, другому мало. Один все отдать хочет, взять нечего, другой ничего не сулит, да за ним идет сердце послушное! А ты не кори человека, — примолвила она, грустно смотря на Ордынова, — один такой человек, другой не тот человек, а будто знаешь, зачем к кому душа просится! Наливай же свою чару, старик! Выпей за счастье твоей дочки, любезной, рабыни твоей тихой, покорной, как впервинки была, как с тобой спознавалась. Подымай свою чару!

— Ин быть так! Наливай же свою! — сказал старик, взяв вино.

— Стой, старина! подожди пить, дай прежде слово сказать!..

Катерина облокотилась руками на стол и пристально разгоревшимися, страстными очами смотрела в глаза старику. Какая-то странная решимость сияла в глазах ее. Но все движения ее были беспокойны, жесты отрывисты, неожиданны, скоры. Она была вся словно в огне, и чудно делалось это. Но как будто красота ее росла вместе с волнением, с одушевлением ее. Из полуоткрытых улыбною губ, выказывавших два ряда белых, ровных, как жемчуг, зубов, вылетало порывистое дыхание, слегка приподымая ее ноздри. Грудь волновалась; коса, три раза обернутая на затылке, небрежно слегка упала на левое ухо и прикрыла часть горячей щеки. Легкий пот пробивался у ней на висках.

— Загадай, старина! Загадай мне, родимый мой, загадай прежде, чем ум пропьешь; вот тебе ладонь моя белая! Ведь не даром тебя у нас колдуном люди прозвали. Ты же по книгам учился и всякую черную грамоту знаешь! Погляди же, старинушка, Расскажи мне всю долю мою горемычную; только, смотри, не солги! Ну, скажи, как сам знаешь — будет ли счастье дочке твоей, иль не простишь ты ее и накличешь ей на дорогу одну злую долю-кручинушку? Скажи, тепел ли будет мой угол, где обживусь, иль, как пташка перелетная, весь век сиротинушкой буду меж добрых людей своего места искать? Скажи, кто мне недруг, кто любовь мне готовит, кто зло про меня замышляет? Скажи, в одиночку ль моему сердцу, молодому, горячему, век прожить и до века заглохнуть, иль найдет оно ровно себе, да в лад с ним на радость забьется... до нового горя! Угадай уж за один раз, старинушка, в каком синем небе, за какими морями-лесами сокол мой ясный живет, где, да и зорко ль себе соколицу высматривает, да и любовно ль он ждет, крепко ль полюбит, скоро ль разлюбит, обманет иль не обманет меня? Да уж зараз все одно к одному, скажи мне в последний, старинушка, долго ль нам с тобой век коротать, в углу черством

сидеть, черные книги читать; да когда мне тебе, старина, низко кланяться, подобру-поздорову прощаться; за хлеб-соль благодарить, что поил, кормил, сказки сказывал?.. Да смотри же, всю правду скажи, не солги; пришло время, постой за себя!

Одушевление ее росло все более и более до последнего слова, как вдруг ее голос пресекся от волнения, будто какой-то вихрь увлекал ее сердце. Глаза ее сверкнули, и верхняя губа слегка задрожала. Слышно было, как злая насмешка змеилась и пряталась в каждом слове ее, но как будто плач звенел в ее смехе. Она наклонилась через стол к старику и пристально, с жадным вниманием смотрела в помутившиеся глаза его. Ордынов слышал, как вдруг застучало ее сердце, когда она кончила; он вскрикнул от восторга, когда взглянул на нее, и привстал было со скамьи. Но беглый, мгновенный взгляд старика опять приковал его к месту. Какая-то странная смесь презрения, насмешки, нетерпеливого, досадного беспокойства и вместе с тем злого, лукавого любопытства светилась в этом беглом, мгновенном взгляде, от которого каждый раз вздрагивал Ордынов и который каждый раз наполнял его сердце желчью, досадой и бессильною злобой.

Задумчиво и с каким-то грустным любопытством смотрел старик на свою Катерину. Сердце его было уязвлено, слова были сказаны. Но даже бровь не шевельнулась в лице его! Он только улыбнулся, когда она кончила.

— Много ж ты разом хотела узнать, птенчик мой оперившийся, пташка моя вострепелувшаяся! Наливай же мне скорее чару глубокую; выпьем сначала на размирье да на добрую волю; не то чьим-нибудь глазом черным, нечистым мое пожелание испорчу. Бес силен! далеко ль до греха!

Он поднял свою чару и выпил. Чем больше пил он вина, тем становился бледнее. Глаза его стали красны, как угли. Видно было, что лихорадочный блеск их и внезапная, мертвенная синева лица предвещала скоро новый припадок болезни. Вино ж было крепкое, так что с одной выпитой чарки все более и более мутились глаза Ордынова. Лихорадочно воспаленная кровь его не могла долее выдержать: она заливала его сердце, мутила и путала разум. Беспокойство его росло все сильнее и сильнее. Он налил и отхлебнул еще, сам не зная, что делает, чем помочь возраставшему волнению своему, и кровь еще быстрее полетела по его жилам. Он был как в бреду и едва мог следить, напрягая все внимание, за тем, что происходило между странных хо-зев его.

Старик звонко стукнул серебряной чаркой об стол.

— Наливай, Катерина! — вскричал он. — Наливай еще, злая дочка, наливай до упаду! Уложи старика на покой, да и полно с него! Вот так, наливай еще, наливай мне, красавица! Выпьем с тобой! Что ж ты мало пила? Али я не видал...

Катерина что-то отвечала ему, но Ордынцов не расслышал, что именно: старик не дал ей кончить; он схватил ее за руку, как бы не в силах более сдерживать всего, что теснилось в груди его. Лицо его было бледно; глаза то мутились, то вспыхивали ярким огнем; побелевшие губы дрожали, и неровным, смятанным голосом, в котором сверкала минутами какой-то странный восторг, он сказал ей:

— Давай ручку, красавица! давай загадаю, всю правду скажу. Я и впрямь колдун; знать, не ошиблась ты, Катерина! знать, правду сказало сердечко твое золотое, что один я ему колдун, и правды не по-таю от него простого, нехитрого! Да одного не опознала ты: не мне, колдуну, тебя учить уму-разуму! Разум не воля для девицы и слышит всю правду, да словно не знала, не ведала! У самой голова — змея хитрая, хоть и сердце слезой обливается! Сама путь найдет, меж бедой ползком проползет, собережет волю хитрую! Где умом возьмет, а где умом не возьмет, красой затуманит, черным глазом ум опьянит, — краса силу ломит; и железное сердце, да пополам распаяется! Уж и будет ли у тебя печаль со кручинушкой? Тяжела печаль человеческая! Да на слабое сердце не бывает беды! Беда с крепким сердцем знакомится, втихомолку кровавой слезой отливается, да на сладкий позор к добрым людям не просится: твое ж горе, девица, словно след на песке, дождем вымоет, солнцем высушит, буйным ветром снесет, заметет! Пусть и еще скажу, поколдую: кто полюбит тебя, тому ты в рабыни пойдешь, сама волюшку свяжешь, в заклад отдашь, да уж и назад не возьмешь; в пору вовремя разлюбить не сумеешь; положишь зерно, а губитель твой возьмет назад целым колосом! Дитя мое нежное, золотая головушка, схоронила ты в чарке моей свою слезинку-жемчужинку, да по ней не стерпела, тут же сто пролила, словцо красное потеряла, да горем-головушкой своей похвалилась! Да по ней, по слезинке, небесной росинке, тебе тужить-горевать не приходится! Отольется она тебе с лихвою, твоя слезинка жемчужная, в долгую ночь, в горемычную ночь, когда станет грызть тебя злая кручинушка, нечистая думушка — тогда на твое сердце горячее, все за ту же слезинку капнет тебе чья-то иная слеза, да кровавая, да не теплая, а словно топлёный свинец; до крови белу грудь разожжет, и до утра, тоскливого, хмурого, что приходит в ненастные дни, ты в постельке своей прометаешься, алу кровь точка, и не залечишь своей раны свежей до другого утра! Налей еще, Катерина, налей, голубица моя, налей мне за мудрый совет; а дальше, знать, слов терять нечего...

Голос его ослабел и задрожал: казалось, рыдание готово было прорваться из груди его... Он налил вина и жадно выпил новую чару; потом снова стукнул чаркой об стол. Мутный взгляд его еще раз вспыхнул пламенем.

— А! живи, как живется! — вскричал он. — Что прошло, то уж с плеч долой! Наливай мне, еще наливай, все подноси тяжелую чару,

чтобы резала головушку буйную с плеч, чтоб вся душа от нее замертвела! Уложи на долгую ночь, да без утра, да чтобы память совсем отошла. Что пропито, то прожито! Знать, заглох у купца товар, залежался, даром с рук отдает! А не продал бы своей волей-вольною его тот купец ниже своей цены; отлилась бы и вражья кровь, пролилась бы и кровь неповинная, да в придачу положил бы тот покупатель свою погибшую душеньку! Наливай, наливай мне еще, Катерина!..

Но рука его, державшая чару, как будто замерла и не двигалась; он дышал тяжело и трудно, голова его невольно склонилась. В последний раз он вперил тусклый взгляд на Ордынова, но и этот взгляд потух, наконец, и веки его упали, словно свинцовые. Смертная бледность разлилась по лицу его... Еще несколько времени губы его шевелились и вздрагивали, как бы сияясь еще что-то промолвить, — и вдруг слеза, горячая, крупная, нависла с ресниц его, порвалась и медленно покатилась по бледной щеке... Ордынов был не в силах выдержать более. Он привстал и, пошатнувшись, ступил шаг вперед, подошел к Катерине и схватил ее за руку; но она и не взглянула на него, как будто его не заметила, как будто не признала его...

Она как будто тоже теряла сознание, как будто одна мысль, одна неподвижная идея увлекла ее всю. Она припала к груди спящего старика, обвила своей белой рукой его шею и пристально, словно приковалась к нему, смотрела на него огненным, воспаленным взглядом. Она будто не слыхала, как Ордынов взял ее за руку. Наконец она повернула к нему свою голову и посмотрела на него долгим, пронзающим взглядом. Казалось, что она поняла, наконец, его, и тяжелая, удивленная улыбка, тягостно, как будто с болью, выдавилась на губах ее...

— Поди, поди прочь, — прошептала она, — ты пьяный и злой! Ты не гость мне!.. — Тут она снова обратилась к старику и опять приковалась к нему своими очами.

Она как будто стерегла каждое дыхание его и взглядом своим лелеяла его сон. Она как будто боялась самадохнуть, сдерживая вскипевшее сердце. И столько иступленного любования было в сердце ее, что разом отчаяние, бешенство и неистощимая злоба захватили дух Ордынова...

— Катерина! Катерина! — звал он, сжимая, как в тисках, ее руку.

Чувство боли прошло по лицу ее; она опять подняла свою голову и посмотрела на него с такою насмешкой, так презрительно-нагло, что он едва устоял на ногах. Потом она указала ему на спящего старика и — как будто вся насмешка врага его перешла ей в глаза — терзающим, леденящим взглядом опять взглянула на Ордынова.

— Что? зарежет небось? — проговорил Ордынов, не помня себя от бешенства.

Словно демон его шепнул ему на ухо, что он ее понял... И все сердце его засмеялось на неподвижную мысль Катерины...

— Куплю ж я тебя, красота моя, у купца твоего, коль тебе души моей надобно! Небось не зарезать ему!..

Неподвижный смех, мертвивший все существо Ордынова, не сходил с лица Катерины. Неистощимая насмешка разорвала на части его сердце. Не помня, почти не сознавая себя, он облокотился рукою об стену и снял с гвоздя дорогой, старинный нож старика. Как будто изумление отразилось на лице Катерины; но как будто в то же время злость и презрение впервые с такой силой отразились в глазах ее. Ордынову дурно становилось, смотря на нее... Он чувствовал, что как будто кто-то вырывал, подмывал потерявшуюся руку его на безумство; он вынул нож... Катерина неподвижно, словно не дыша более, следила за ним...

Он взглянул на старика...

В эту минуту ему показалось, что один глаз старика медленно открывался и, смеясь, смотрел на него. Глаза их встретились. Несколько минут Ордынов смотрел на него неподвижно... Вдруг ему показалось, что все лицо старика засмеялось и что дьявольский, убивающий, леденящий хохот раздался, наконец, по комнате. Безобразная, черная мысль, как змея, проползла в голове его. Он задрожал; нож выпал из рук его и зазвенел на полу. Катерина вскрикнула, как будто очнувшись от забытья, от кошмара, от тяжелого, неподвижного виденья... Старик, бледный, медленно поднялся с постели и злобно оттолкнул ногой нож в угол комнаты. Катерина стояла бледная, помертвевшая, неподвижная; глаза ее закрывались; глухая, невыносимая боль судорожно выдавилась на лице ее; она закрылась руками и с криком, раздражающим душу, почти бездыханная, упала к ногам старика...

— Алеша! Алеша! — вывалось из стесненной груди ее...

Старик обхватил ее могучими руками и почти сдавил на груди своей. Но когда она спрятала у сердца его свою голову, таким обнаженным, бесстыдным смехом засмеялась каждая черточка на лице старика, что ужасом обдало весь состав Ордынова. Обман, расчет, холодное, ревнивое тиранство и ужас над бедным, разорванным сердцем — вот что понял он в этом бесстыдно не таившемся более смехе...

III

Когда Ордынов, бледный, встревоженный, еще не опомнившийся от вчерашней тревоги, отворил на другой день, часов в восемь утра, дверь к Ярославу Ильичу, к которому пришел, впрочем, сам не зная зачем, то отшатнулся от изумления и как вкопанный стал на пороге, увидя в комнате Мурина. Старик был еще бледнее Ордынова и, казалось, едва стоял на ногах от болезни; впрочем, сестр не хотел, несмотря ни на какие приглашения вполне счастливого таким посещением Ярослава Ильича. Ярослав Ильич тоже вскрикнул, заведев Ордынова, но почти в ту же минуту радость его прошла, и какое-то замешатель-

ство застигло его вдруг, совершенно врасплох, на полдороге от стола к соседнему стулу. Очевидно было, что он не знал, что сказать, что сделать, и вполне сознавал всю неприличность — сосать в такую хлопотливую минуту, оставив гостя в стороне, одного как он есть, свой чубучок, а между тем (так сильно было смущение его) все-таки тянул из чубучка что было силы и даже почти с некоторым вдохновением. Ордынов вошел, наконец, в комнату. Он бросил беглый взгляд на Мурина. Что-то похожее на вчерашнюю злую улыбку, от которой и теперь бросило в дрожь и в негодование Ордынова, проскользнуло по лицу старика. Впрочем, все враждебное тотчас же скрылось и сгладилось, и выражение лица его приняло вид самый неприступный и замкнутый. Он отвесил пренизкий поклон жильцу своему... Вся эта сцена воскресила, наконец, сознание Ордынова. Он пристально посмотрел на Ярослава Ильича, желая вникнуть в положение дела. Ярослав Ильич затрепетал и замялся.

— Войдите ж, войдите, — примолвил он, наконец, — войдите, драгоценнейший Василий Михайлович, осените прибытием и положите печать... на все эти обыкновенные предметы... — проговорил Ярослав Ильич, показав рукой в один угол комнаты, покраснев, как махровая роза, сбившись, запутавшись в сердцах на то, что самая благородная фраза завязла и лопнула даром, и с громом подвинул стул на самую средину комнаты.

— Я вам не мешаю, Ярослав Ильич, я хотел... на две минуты.

— Помилуйте! возможно ли вам мне помешать-с... Василий Михайлович! Но — позвольте чайку-с! Эй! служба!.. Я уверен, что и вы не откажетесь еще одну чашечку!

Мурин кивнул головою, дав знать таким образом, что совсем не откажется.

Ярослав Ильич закричал на вошедшую службу и наистрожайшим образом потребовал еще три стакана, затем сел возле Ордынова. Несколько времени он вертел свою голову, как гипсовый котенок, то вправо, то влево, от Мурина к Ордынову и от Ордынова к Муруну. Положение его было весьма неприятное. Ему, очевидно, что-то хотелось сказать, по идеям его весьма щекотливое, по крайней мере для одной стороны. Но при всех усилиях своих он решительно не мог вымолвить слова... Ордынов тоже как будто находился в недоумении. Была минута, когда оба они разом вдруг принялись говорить... Молчаливый Мурин, наблюдавший их с любопытством, медленно расправил рот и показал зубы свои все до единого...

— Я пришел объявить вам, — вдруг начал Ордынов, — что по самому неприятному случаю принужден оставить квартиру, и...

— Представьте себе, какой странный случай! — перебил вдруг Ярослав Ильич. — Я, признаюсь, был вне себя от изумления, когда этот почтенный старик объявил мне сегодня поутру ваше решение. Но...

— Он объявил вам? — спросил с изумлением Ордынов, смотря на Мурина.

Мурин погладил свою бороду и засмеялся в рукав.

— Да-с, — подхватил Ярослав Ильич, — впрочем, я могу еще ошибаться. Но, смело скажу, для вас — честью моею могу вам ручаться, что для вас в словах этого почтенного старика не было ни тени обидного!..

Тут Ярослав Ильич покраснел и через силу подавил свое волнение. Мурин, как будто натепись, наконец, вдоволь замешательством хозяина и гостя, ступил шаг вперед.

— Я вот про то, ваше благородие, — начал он, с вежливостию поклонившись Ордынову, — их благородие на ваш счет маленько утрудить посмел... Оно того, сударь, выходит — сами знаете — я и хозяйка то есть рады бы душою и волею и слова бы сказать не посмели... да житье-то мое какое, сами знаете, сами видите, сударь! А, право, только что животы Господь бережет, за то и молим святую волю его; а то сами видите, сударь, взвыть мне, что ли, приходится? — Тут Мурин опять утер рукавом свою бороду.

Ордынову почти делалось дурно.

— Да, да, я вам сам про него говорил: больной, то есть это malheur... то есть я было хотел выразиться по-французски, но, извините, я по-французски не так свободно, то есть...

— Да-с...

— Да-с, то есть...

Ордынов и Ярослав Ильич сделали друг другу по полупоклону, каждый с своего стула и несколько набок, и оба прикрыли возникшее недоумение извинительным смехом. Деловой Ярослав Ильич тотчас поправился.

— Я, впрочем, подробно расспрашивал этого честного человека, — начал он, — он мне говорил, что болезнь той женщины...

Тут щекотливый Ярослав Ильич, вероятно желая скрыть маленькое недоумение, опять возникшее на лице его, быстро, вопросительным взглядом устремился на Мурина.

— Да, хозяйки-то нашей...

Деликатный Ярослав Ильич не настаивал.

— Хозяйки, то есть бывшей хозяйки вашей, я как-то, право... ну, да! Она, видите ли, больная женщина. Он говорит, что она вам мешает... в ваших занятиях, да и он сам... вы от меня скрыли одно важное обстоятельство, Василий Михайлович!

— Какое?

— Насчет ружья-с, — промолвил почти шепотом самым снисходительным голосом Ярослав Ильич, с одной мильонной долей упрёка, нежно зазвеневшего в его дружеском теноре. — Но, — прибавил он поспешно, — я все знаю, он мне все рассказал, и вы благородно

сделали, отпустив ему его невольную вину перед вами. Клянусь, я видел слезы на глазах его!

Ярослав Ильич снова покраснел; глаза его засияли, и он с чувством повернулся на стуле.

— Я, то есть мы, сударь, ваше благородие, то есть я, примером сказать, да и хозяйка моя уж и как за вас Бога молим, — начал Мурин, обращаясь к Ордынову, покамест Ярослав Ильич подавлял обычное волнение свое, и пристально смотря на него, — да сами знаете, сударь, она баба хвора, глупая; меня самого еле ноги несут...

— Да я готов, — сказал в нетерпенье Ордынов, — полноте, пожалуйста; я хоть сейчас!..

— Нет, то есть, сударь, многим вашей милости довольны (Мурин пренизко поклонился). Я, сударь, вам не про то; я вот хотел слово вымолвить, — ведь она, сударь, мне-то почти из родни, то есть из дальней, примером, как говорится, седьмая вода, то есть уж не побрезгуйте словом нашим, сударь, люди мы темные — да сызмалетства такая! Головенка больная, задорная, в лесу росла, мужичкой росла все меж бурлаков да заводчиков; а тут их дом сгорел; мать, сударь, ейная погорела; отец свою душу опали — подика-сь, она и невеста что расскажет вам... Я только так не мешаюсь, а ее хи-хир-ругичкой совет на Москве смотрел... то есть, сударь, совсем повредила, вот что! Я только у ней и остался, со мной и живет. Живем, Бога молим, на всевышнюю силу надеемся; уж я ей и не поперечу совсем...

Ордынов изменился в лице. Ярослав Ильич смотрел то на того, то на другого.

— Да я не про то, сударь... нет! — поправился Мурин, важно покачивая головою. — Она, примером сказать, такой ветер, вихорь такой, голова такая любовная, буйная, все милого дружка, — если извинительно будет сказать, — да зазнобушку в сердце ей подавай: на том и помешана. Я уж ее сказками улещаю, то есть как улещаю. А я ведь, сударь, видел, как она — уж простите, сударь, мое глупое слово, — продолжал Мурин, кланяясь и утирая рукавом бороду, — примерно, спознавалась-то с вами; вы, то есть, примером сказать, ваше сиятельство, относительно любви к ней польнуть пожелаали...

Ярослав Ильич вспыхнул и с упрёком взглянул на Мурина. Ордынов едва усидел на стуле.

— Нет... то есть я, сударь, не про то... я, сударь, спроста, мужик, я из вашей воли... конечно, мы люди темные, мы, сударь, ваши слуги, — примолвил он, низко кланяясь, — а уж как с женой про вашу милость Бога будем молить!.. Что нам? Были бы сыты, здоровы, роптать не *роптаем*; да мне-то, сударь, что ж делать, в петлю лезть, что ли? Сами знаете, сударь, дело житейское, нас пожалейте, а это уж что ж, сударь, будет, как еще с полюбовником!.. Грубое-то, сударь, вы слово простите... мужик, сударь, а вы, барин... вы, сударь, ваше сиятельство,